

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

7-8 (439)

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Виталий Лехциер. Футляр для Клио. *Стихи* *3*
Марина Бувайло. Тридцать шесть страниц. *Повесть* *7*
Алексей Колчев. «другая россия...» *и др. стихи* *22*
Валерий Бочков. Монтекристо. *Рассказ* *26*
Александр Титов. Анонимус. *Повесть*..... *41*
Михаил Квадратов. «персефона» *и др. стихи* *72*
Наталия Азарова. «мир зримый зимородок...» *и др. стихи* *77*
Вера Кобец. «Кино и книги» *и др. рассказы* *82*
Борис Лихтенфельд. «Рассеянный ум лоботряса с Бассейной...» *и др. стихи* *98*
Владимир Иванов. «Аналогия» *и др. стихи* *102*
Леонид Левинзон. Дождь. В Тель-Авиве. *Рассказы* *104*

ДЕБЮТ

Алексей Григорович. Пыльная буря. *Повесть* *110*
Олег Демидов. Жидовочка. *Рассказ* *164*

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Александр Романовский. «После пожара» *и др.* *167*
Маргарита Голубева. «Красное платье надену...» *и др.* *170*
Антон Помелов. «Все влияет на все...» *и др.* *172*

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Зиновий Зиник. Беженец из собственной эпохи. *О современных попытках комментирования прозы Павла Улитина* *174*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Николай Аржанов. Полет и поиск *186*
Андрей Пермяков. Чтобы тьма не смогла переступить *187*
Олег Рогов. Вторая книга *190*
Андрей Пермяков. Иная мелодия *192*
Сергей Трунев. Эпос Старого Оскола *195*

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Наше *198*

© «Волга», 2012

Виталий ЛЕХЦИЕР

ФУТЛЯР ДЛЯ КЛИО

1. (XVI век, англичане)

Огуречник аптечный, шафран, базилик, полынь,
золототысячник, щавель и портулак,
это сейчас мобильник и кадиллак,
а тогда скорпионами, жабами полны котлы.

Ртуть омертвевшую принимай против вшей,
омертвляй ее только постящегося слюной,
и тогда уберутся вши, улизнут взашей,
но чума и оспа еще придут за тобой.

Опоясывающий лишай, скарлатина, зубная боль,
к вам добавятся камни в почках, подагра, туберкулез,
но окопник с девятисилом, кровь зайца прогонят хворь,
амулеты и камни растрогают вас до слез.

Если ты прикован к постели, соверши ритуал,
говори только о благочестивых вещах,
королева – сиделка тем, кого наповал
старость и смерть свалила, чье дело – швах.

Темно-рыжий парик, как мигрень Тюдоров, – имперский знак,
вдыхай приятные ароматы, не злоупотребляй вином,
это сейчас наука и новизна,
а тогда прописали бы плакать, петь и кричать «привет» в окно.

Жар и сухость дают холерика, жидкость – желчь,
но не черную, черная – в воздухе и воде,
мы сангвиники, мы бодры, воду можем поджечь,
но коровьего вымени нет на нашем столе.

«Господи, смилуйся над нами», – напишем мы на двери,
все соседи убежали к себе в деревню,

Виталий Лехциер родился в 1970 году в Ташаузе (Туркмения). Окончил филологический факультет Самарского госуниверситета, доктор философских наук. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», «Цирк Олимп», «Дети Ра», «НЛО», «Золотой векъ», в антологиях «Нестоличная литература», «Девять измерений», «Поэтический путеводитель» и др. Автор поэтических сборников «Обратное плавание» (1995), «Книга просьб, жалоб и предложений» (2002), «Побочные действия» (2009), четырех философских монографий и более ста статей и эссе в различных периодических изданиях. Участник и лауреат ряда международных и российских литературных фестивалей. Соредактор электронного литературно-аналитического портала «Цирк Олимп+TV».

это сейчас бомбы смешивают в летальное попурри,
а тогда бубонная била в каждый дом и харчевни.

Попади в оленя из арбалета, сыграй в футбол,
в кости, в палки, в шахматы, верховой ездой
с трещиной в черепе развлекись – потом на танцпол –
ястребиной охотой, балладой, травлей медведя, пьесой пустой.

2. (сер. XVIII в., венецианцы)

мало маску надеть, нужно петь на любом перекрестке,
нужно шутку шутить и кричать, как разносчик-жестянщик,
как старьевщик и булочник, лох, проигравший в наперстки

ты родился мужчиной, твой долг – переспать с куртизанкой,
«мягкий город, покладистый, кроткий, спокойный»
с лицевой стороны, танцовщица-оторва – с изнанки

европейская пресса о сельском хозяйстве – нарезка,
пополаны, патриции, женщины, читтадини –
«как морская торговля? а штофа и кожи развеска?»

португальцы, французы фырчат на систему протекций,
хором сахар пытаются втюрить свободно, без пошлин,
как лечиться от прошлого без самосуда инъекций?

городские публичные шоу, толпятся пеоты,
приветствия витиеваты, парадны, послы в восторге,
все отмечают наличье регаты, но не пехоты

обручи меня с морем, родившегося в пустыне,
чтоб в каюту нырнуть и почувствовать ток прилива,
Монтескье удивляется вслух: родниковой воды нет

скотобойни и доки в периферийных сестьере,
камень нужно огранить, табак насушить, ткань раскрасить,
виных лавок, кофеен всю ночь не закрыты двери

в этот жирный четверг мы взлетим на дворцовую крышу,
пирамиду живую приходами соорудим на Пьяцетте,
но попробуй из памяти вырезать зависть, как грыжу

водный праздник объявлен перед Святым Николаем –
мыловары, ткачи, стеклодувы, аптекари, хлебопеки –
цеховую судьбу проклинай хоть собачьим лаем

можешь класть на закон, есть поленту, торчать на таможне,
солевар и красильщик, паяц, трубочист и цветочник,
в театральном мирке сам себе сценарист и помощник

3. (вакхический танец в древней Этрурии)

силены, менады – ты хочешь стращать
и прыгать по вазам и по канделябрам?
ломайся, брыкайся, пущать – не пущать

я так не люблю дискотеки, а тут
в тунике ворсистой – и даже не думай,
что руки мои не оттуда растут

пускай хирономия круче, чем хер,
трипудий чем, блуд, но в разгаре тиаза
инстинкты как воины прут а ля гер

этруск без трусов не труслив и не раб,
двуствольный авлос не поет, а плутует,
этруску давно оголиться пора б

мы кони, кентавры, мы брызжем слюной,
но день в Апеннинах закончится славно –
супружеским ложем, гробницей одной

4. (Стамбул, XIV век)

...масляная лампа, факел, свеча
света отсутствие возместят,
что мусульмане хотеть хотят?
долгое бодрствование сгоряча

ну ты и турок! нетороплив,
не янычар, что спешит прицельно,
день начинается, как прилив
сил, не оставшихся за неделю

на долиман надевай кафтан,
голову лысую прячь в тюрбане,
думай о том, как девичий стан...
нет, не о том – об османской бане

ты – перевозчик, пастух, рыбак,
грек, армянин, молдаванин, перс
на толерантности съел собак
восемь и потроха на развес

dolce мирок, как рахат лукум?
ты не султан и не дервиш, ну же,
бдителен будь, у тебя в соку
женушек три при разбитом муже

все это шалости, муэдзин
лично тебя позовет к молитве,
лично тебя, как и всех мужчин

буду бороться, как тот верблюд,
певчая птица, напой сюжетец,
пойман в силок разношерстный люд

Земляк

парень из Ташауза привез мне мохнатую шапку
из овчины – черный телпек – и тахью национальную
в коричневых тонах, с богатым декором –
будет защищать меня от злых духов,
электрического освещения
и украшать мою лысеющую голову –
я и сейчас сижу в тахье в собственном кабинете,
еще он привез фотографии и видео,
снятые на мобильник с почтением и вниманием:
фотографии *балазавода* – первого роддома городского,
где меня не могли отличить от смуглого туркменчика,
нового отпрыска коренного населения,
и фотографии единственной русской школы, где училась моя мама,
дочь врага народа, дочь жены врага народа,
бежавшей под бомбежками из фашизирующейся Румынии
прямо в логово ссыльной коммунистической Туркмении,
на видео – улица Гагарина (и там тоже!), мелькают дома,
камера из окна машины ищет только один дом,
тот самый дом, тот самый дом, который очень хотелось найти –
трехэтажный обкомовский, возвышающийся над остальными –
о котором я только слышал, поскольку
был увезен из него в два месяца совсем в другие земли,
парень из Ташауза, наш студент, вернул мне с каникул Родину,
теперь я защищаю его, как тахья национальная,
от бюрократов вузовских, устраиваю ему жилье,
готовый порвать злопыхателей-аборигенов и
латентных ксенофобов, костюмированных под приличных людей –
никогда не думал, что и меня коснется чувство землячества...

***

Политика, поэтика, наука –
какая скука их чередованье,
стрельба из лука, чехарда названий

призвание не ищется под мухой,
под пыткой и под радиозаставку –
шепни на ухо, замурлычь, загавкай

ты очень вздрюченный, сосредоточься,
как за рулем и за головоломкой –
байдой не тешься, на лету не комкай

Марина БУВАЙЛО

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ СТРАНИЦ

Повесть

Миродержцы возвращались с патрулирования. Последнего официального патрулирования. Решение было принято, бумаги подписаны, охрана населения полностью переходила к местной милиции. Городок был маленький, смешанный из многоэтажных домов и коттеджей, старых и только что построенных, но во многих местах сохранялись груды полуобгоревших кирпичей. Мария протянула руку к кустарнику, заменяющему забор, осторожно, стараясь не раздавить, открутила плод – по форме груша, но с тремя в треугольник слепленными плоскими косточками, разломленные, они оставляли густо-вишнёвые несмываемые пятна на коже и одежде. Груша была маленькая и липкая. Местные люди относились к этим фруктам презрительно, и шлепки на плитах тротуаров постепенно превращались в маленькие компотные сугробы. Весь город был заполонен запахами различных степеней брожения, и объевшиеся, пьяные осы засыпали где попало. Каждый вечер Мария вытряхивала из своей одежды за окно недовольно жужжащих, сонных насекомых, и всё равно под утро её будил скандал, устраиваемый непрошеными гостями, рвущимися на волю. В комнате на рассвете бывало так же душно, как и днём, несмотря на то, что Мария в нарушение правил оставляла форточку приоткрытой. Мария надкусила плотную кожицу, удерживающую сладкую массу в надлежащей форме. Сок заполнил рот. Груша сразу безвольно опала в ладони. «Эй, чего гадость есть, подожди, хороших принесу, – окликнул с крыльца хозяин, – а то зайдите, вином угощу, хорошее вино, вчера от брата привёз. Заходите, вам же теперь можно». Мария взглянула на Димитроса. Он, улыбаясь, то есть это только Мария знала, что он улыбается, покачал головой, и Мария крикнула: «Нет, спасибо, в другой раз». Они по привычке ещё ходили тесной группой, но теперь это было только по привычке. Не было необходимости держаться середины мостовой и настороженно оглядываться на заборы, подъезды, проезжающие машины. Несмотря ни на что, они были оккупантами и как к оккупантам к ним и относились, даже те, ради кого они и были здесь. Но теперь всё закончилось, наладилась нормальная жизнь, дети ходили в школы, а не ползали в пыли, принося взрослым патроны, старики вылезли из подвалов и сидели на лавочках. Еду привозили на телегах, машинах с надписями «мясо», «молоко», а не на броневиках. Им стали улыбаться, простив объективность, помощь обеим сторонам – они могли позволить себе быть равнодушными, это не их город, это не их родственников убивали, им не надо было мстить убийцам. В конце концов, они старались, доставляли продукты, медикаменты, охраняли больницу, правда, помните, они разоружили наших ребят, и потом на них, на безоружных, те, с другой стороны...

Всё, можно уезжать. Их было триста человек, осталось сорок восемь – разъехались по своим странам, четверо убиты, двое погибли – несчастный случай, перевернулась машина, один покончил с собой. Я поеду домой и попробую жить, как жила раньше, муж, друзья, большой город, для которого этот городок, эта территория – только редкие крошечные отчёты в международных новостях, «продолжается гражданская война в...». Приведу в порядок свои записи, дневники, по-

Марина Бувайло родилась в Баку. По образованию врач. С 1981 года живет в Лондоне, где работает психиатром. Прозу пишет много лет. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. Автор книг «Эх, дороги» (М.: НЛО, 2006), «Игры» (М.: НЛО, 2009). В «Волге» публикуется впервые.

пробую вспомнить не только то, что лежит на поверхности потрясённой памяти, буду ходить в гости, в театр, на выставки. Попробую жить, не видя Димитроса. Липкий грушевый сок капнул с подбородка на голубую форму миродержца. У ворот миссии их остановил часовой – итальянцы уезжают завтра, приглашают к девяти. Вода в душе вяло свивалась в неровную тягучую струю. Как всегда, в это время дня хотелось спать, но духота мешала. Мария встала, раскрыла окно. И словно дождавшись официального разрешения, в других комнатах стали тоже раскрываться окна. Окно Димитроса оставалось закрытым. Человек, который никогда не нарушает правил. Или уже заснул. Мария представила, как спит Димитрос, – она много раз видела его спящим – охраняя больницу, их группе по несколько суток приходилось оставаться без смены, и они спали по очереди.

Через открытую дверь вечеринка массивной каплей вытекла в коридор. Сидели на полу. Мария, переступая чужие ноги, вошла в комнату. Ей протянули стакан с прозрачной жидкостью, Мария осторожно понюхала – граппа. В отряде был сухой закон, который понемногу нарушали все, кроме Димитроса. Мария нашла его глазами. «Пей, Мария, теперь можно, – сказал он, улыбаясь, почему никто, кроме неё, не понимает, что это он так улыбается, – наше дело сделано». Он подвинулся, уступая ей место, Мария села рядом с ним у стенки, почувствовала спиной горячее место, к которому он только что прислонялся. «Димитрос, что ты будешь делать, когда вернешься домой?» Он пожал плечами: «Ну, как обычно, пару месяцев отдохну в офисе, отчёты, бумаги, всякое такое. Потом пошлют куда-нибудь. Недели три-четыре на интенсивное изучение истории, обычаев, и вперёд, я ведь профессиональный миродержец». «Почему ты стал миродержцем?» – спросила Мария в свой первый приезд. «Так вышло». Интервью у Димитроса не получишь, это она поняла ещё тогда. Во второй раз она приехала уже в голубой форме, для того, чтобы разобраться самой. Он был её командиром. К командирам с расспросами не пристают. «Пей, Мария, скоро будешь дома». Он, кажется, слегка пьяноват. Судя по скорости, с которой бутыли граппы возникали из-под кровати и возвращались назад уже пустыми, все должны быть уже пьяноватыми. Наконец притащили котёл спагетти, спагетти вместо надоевшего риса. Марии как даме передали первую тарелку. Увертливые шнурки теста сваливались с вилки. Димитрос показал, как придавливать, чтобы держались. Со следующей порцией Мария справилась уже сама и протянула вилку ко рту Димитроса, он качнул головой – ешь сама, мне сейчас передадут, – но рот раскрыл. Музыку включали всё громче и разговаривали всё громче, чтобы музыку перекричать. Удвоенный перекомом шум становился непереносимым. Мария нажала кнопку и сидела, просто слушая голоса. Димитрос что-то сказал. Мария включила переком. «Пойдём погуляем», – сказал Димитрос, и Мария встала. Димитрос повернул не к выходу во двор, из соображений безопасности не по-местному голому – только маленький фонтан посредине, а в холл, откуда под углом расходились коридоры, ведущие к их комнатам. Ему скучно со мной, подумала Мария. Димитрос не задержался на развилке коридора, пошёл к себе, не прощаясь. Мария остановилась. «Спокойной ночи, Димитрос». Димитрос оглянулся. На лице удивление. Как все эмоции на лице Димитроса, скорее намечено, чем обозначено. Он взял её за руку, она пошла за ним, больше из любопытства – она ни разу не была в комнате Димитроса. Димитрос распахнул дверь, пропустил вперед – сигнал других отношений, раньше он всюду шел первым. В комнате... «Нет, Димитрос, – сказала Мария, ей было грустно своей решительности, – нет». «Почему?! Теперь уже можно», – не разжимая рук, сказал он. «Теперь уже поздно», – освобождаясь как можно деликатней, ей не хотелось, чтобы это выглядело, будто она вырывалась из хватки насильника, сказала Мария. Димитрос пожал плечами: «Раньше было нельзя». Он включил свет. Мария пыталась разглядеть хотя бы сожаление, но даже ей лицо Димитроса не сказало ничего. Мария подошла к окну, распахнула. Пусто хрустнули выстрелы, где-то там, в темноте. Она попыталась определить где. «Девятый квадрат, – сказал Димитрос, – всё! это нас больше не касается». – «Нелепо оставлять город, пока ещё стреляют. Мы так многого добились». – «Если мы останемся, они никогда не перестанут стрелять. Теперь им надо разбираться самим». – «Тогда почему мы вообще были здесь? Для чего существуют миродержцы?» – «Ты видела когда-нибудь, как дерутся мальчишки? В какой-то момент они теряют головы,

и тогда их надо удержать, они остынут и выяснят отношения сами. К тому же мы помогали в первую очередь тем, кто страдал от этой драки». – «Они продолжают стрелять!» – «Теперь стреляют только фанатики, оголтелые. Население разберется с ними без нас». – «У них оружие, мы разоружили население». – «Перестань, это дамские эмоции. Всё это время ты была миродержцем. Теперь ты превратилась в ту дамочку-журналистку, какой ты появилась здесь в первый раз. Я думал, ты чему-то научилась за это время». – «Чему я, по-твоему, должна была научиться?» – «Не расходовать свои эмоции там, где ты не можешь ничего изменить». – «Поэтому...» – начала Мария, она хотела сказать, поэтому я не хочу, чтобы мы сейчас разрешили себе постель. Димитрос перебил её: «Миродержцы не миссионеры, они не занимаются обращением людей, они дают время людям образумиться, инстинкты жизни сильнее инстинктов смерти. По крайней мере, у большинства». Мария по тону, по жестикуляции поняла, что Димитрос всё-таки раздражен. Только из-за того, что... или он тоже считает, что нас отозвали преждевременно, хотела бы я знать, о чём он думает. «Димитрос, почему ты стал миродержцем?» – Мария повторила вопрос, с которого началось их знакомство. «Ты пришла сюда задавать вопросы? – уже открыто разозлился он, – я думал, что нравлюсь тебе. Какого черта ты вела себя таким образом? Чтобы дразнить меня? Ты взрослая женщина, не девчонка, к чему это кокетство». Мария пошла к двери – объяснять было слишком сложно, она и сама не вполне понимала, она не пуританка, случались у неё...

У перекрёстка коридоров она остановилась в нерешительности, назад на вечеринку? к себе? повернулась в сторону вечеринки... Взрыв был очень сильный. Заломило уши. На несколько секунд наступила абсолютная тишина, как будто для того, чтобы враз обрушиться шумом – треском, ударами, звоном осыпающегося стёкла, выкриками, топотом ног. ещё взрыв. Коридор заполнился людьми. Мария повернула назад. Димитрос уже бежал ей навстречу. «Быстро, всем в убежище! стреляют с той горы, похоже специально по зданию. Кто живёт в восточном крыле – прямо в подвал! Остальным собраться по форме!» Мария жила в восточном крыле. Погас свет, голос снизу запоздало прокричал «выключаем электричество». Документы, компьютер, записи – год работы, всё осталось в комнате. Мария оглянулась, паника затихала, свет фонариков больше не метался, двигался осмысленно. Мария свернула в восточный коридор. Здесь, прямо за углом, она оказалась в пыльном водовороте, Мария выскочила назад, натянула, как учил Димитрос, майку на нос, прищурила глаза, защищая от пыли ресницами, и вернулась, двинулась, нашаривая дорогу, какие-то неожиданные вещи попадались ей на пути, как будто шкаф, раньше его не было, и что-то мягкое, противно обволакивающее ноги. Движение воздуха подсказало: окно, её комната напротив. Обогнув косо свисающую дверь, Мария осторожно ногой проверила, есть ли пол за дверью, надежен ли. Как будто в порядке. Ей повезло – сумка миродержца ещё лежала в углу, Мария сразу нащупала её. Ободрав палец обо что-то острое, воткнувшееся в брезент, вытащила фонарик, фонарик загорелся не капризничая, и у Марии задрожали ноги – пол-то был, но на нём куски мебели, штукатурка, стекло, балка поперёк кровати, и провал в потолке топорщится обломками. Не пытаясь дотянуться до компьютера, запертого в сплющенной чем-то тяжелым тумбочке (на ней заряжался на будущее бесполезный здесь мобильник), изо всех сил надеясь, что дискеты (она всегда списывала свою работу на дискеты в двух экземплярах, один в шкафу, дома, другой в сумке, с собой, привычка не раз оправдавшая себя, и сегодня, дай Бог, тоже) не повреждены, фонарь ведь не повреждён, задом выдвинулась в коридор и, стараясь не застревать в столбняке перед тем, что нависало над ней, выбралась в неповреждённую часть дома. Ей навстречу, в лицо, двигался свет. Мария прижалась к стене, направила фонарик навстречу слепящему пятну. Голубое пятно. Димитрос? Захлопали выстрелы. В отдалении. Ближе. Топот бегущих ног... Это последнее, что она помнила.

Пришла в себя от тряски. Тошнило, и тупо болела голова. Не открывая глаз, Мария подумала: наверное, из-за граппы. События от вечеринки первыми медленно проявлялись в памяти. Они с Димитросом сидят на полу шумной, душной комнаты, пальцы сплетены, потом... потом темнота,

крики. А! был взрыв! меня завалило, без страха подумала Мария. Она все-таки сумела с трудом разлепить веки. Над ней было небо, яркая луна кружилась среди облаков, звёзды в черных дырах скользили, двигались, спустились, почти задевая лицо, прыгнули вверх, образовав купол. Мария попыталась пошевелиться, не смогла, что-то держало. Засыпало, надо крикнуть, позвать на помощь, подумала ещё раз Мария, но равнодушно, лениво. Глаза снова закрылись, и когда открылись, луны и звёзд не было, зато посеревшее небо противно звенело. Темные тени проплывали над головой, ветка, ещё одна. Меня везут куда-то. Меня ранило, и теперь меня везут в госпиталь. Она ещё раз попыталась пошевелить руками, ногами. Забинтованы. А может быть у меня уже вообще нет ни рук, ни ног, как у того парня, которого она видела в госпитале. «А-а», – тихо сказала Мария, ожидая увидеть чьё-нибудь лицо. Ничего не произошло. «Что со мной? Подойдите! А-а!» – ничего. Громче, ничего. Она повернула голову как можно осторожнее – вдруг повреждён позвоночник. Взгляд уперся в тёмное. С другой стороны тоже. Мария попыталась разобраться в своих ощущениях. Голова болит, а ноги? болят? лежать неудобно, что-то мешает, впивается в бок, качает с тошнотворной регулярностью, мягко. Она не оглохла – поверх звона слышны какие-то знакомые, неопределимые звуки. Пахнет чем-то знакомым, но тоже невозможно вспомнить чем. Снова попробовала подвигать ногами – пальцы, ступни шевелятся? или только кажется? Почему я лежу в этом? Куда меня везут? Почему никто не слышит, когда я кричу? я умерла, и меня везут хоронить? Нет, у мертвых не болит голова. Может быть, они не знают, что я жива, и везут хоронить? Кто везёт? На чём? Где Димитрос? её накренило в сторону. Вдали от головы, где-то у живота стало больно, кислой волной из желудка обожгло горло. Мария стала стонать, сначала тихо, потом громче, никто не подходил, качало всё сильней, потом её вырвало, и она забылась, просыпаясь не до конца и засыпая снова, светлело, темнело, тошнило.

Потом снова качало, но уже по-другому, тряско. Её куда-то несли, косо, косо, голова ниже, затылок упирался в жёсткое, она чувствовала шершавость материала, охватившего её, – брезент? Он касался ушей, щёк, царапал их. В щели пробивался плавающий свет, внутри было темно. «Пить! дайте пить! Где я?» – повторяла Мария, приходя в себя, но ей не отвечали. Она слышала голоса, негромкие, чужие, говорили не с ней. Несли её долго, потом грубо положили на землю. Спиной она почувствовала неровную поверхность. Брезент распался. Над головой висели низкие сумрачные звёзды.

Шаги приближались, удалялись. Приподняв голову, Мария видела мужские фигуры, двигающиеся в свете фонариков, что-то неспешно устраивающие. Стучали, гремели металлом. Она уже понимала, что произошло. Она попала в плен. К кому? Что с ней сделают? Она ранена или просто связана? Она одна или других схватили тоже? Димитрос? Где Димитрос? Она боялась крикнуть, боялась привлечь внимание. Сознание полностью вернулось к ней. Ей было страшно, как никогда в жизни. Стараясь не думать о том, что будет, она попробовала молиться, попыталась вспомнить слова, которые в школе перед уроками повторяли хором, жуткие кровавые образы мешали сосредоточиться. К ней подошли, стали что-то делать. Звякнуло, к ноге прикоснулось холодное, железное. Меня собираются распять, заметалось в голове. Мария начала кричать, биться, опять потеряла сознание. Вероятно ненадолго. Очнулась от того, что её повернули, и в живот и ребра опять что-то больно ткнулось. Теперь что-то делали с её руками. «Оставь, сама справится, у неё времени достаточно», – сказал голос. Она не сразу удивилась тому, что стала понимать их, а, удивившись, нашла объяснение – переком, от толчка заработал переком. «Только узел», – сказал другой, и холодный металл прикоснулся к кисти. Шаги, один, один за другим, вместе, дружно, стали удаляться. Исчезли. Унесли с собой узкие лучи фонариков. Отталкиваясь лбом о землю, Мария сумела выпростаться из спеленавшего её брезента, стать на колени. Пошевелила руками, сначала с трудом, потом свободнее. Верёвка, стягивающая туловище, ослабевала. Извиваясь всем телом, Мария сумела вытянуть затекшую кисть, после этого пошло легче, быстрей. Рядом шуршало, постукивало. Кто-то тоже старался выбраться? «Димитрос», – позвала Мария. Ей не ответили. В

конце концов она освободила руки и села в изнеможении. Возня прекратилась. Что-то звякнуло. Мария прислушалась. Ничего определенного, только неясные шорохи, как будто вода шелестит. Пить. Пить! Стало немного светлее. Окружающее начало проступать, очерчиваться. Тёмный прямоугольник, вокруг него стены? с одной стороны расплывчато – деревья? «Димитрос!» – снова крикнула она шёпотом. «Кто-нибудь! Кто-нибудь здесь есть?» Никто не откликнулся. Мария нашла узел, начала распутывать. Звякало, когда она двигалась, и Мария нащупала на левой ноге, над щиколоткой, металлическое кольцо, скреплённое с цепью. Кандалы, она прикована. Утро застало Марию врасплох. Пока она освобождала ноги – ноги были связаны разномастными обрывками тряпок, каждая со своим узлом, – враз посветлело. Журчало и шуршало совсем рядом. Мария откинула вонючий, грязный брезент, с трудом поднялась, волоча ногу сделала несколько шагов. Цепь дернула, чуть не свалив на землю, потом ослабела, дала продвинуться дальше, к каменной чаше, наполненной водой, вытекающей из щели в скале. Мария легла на живот, дотянулась, окуная лицо в жгуче холодное, пила хлюпая, захлёбываясь, задыхаясь, пока не занемели лоб, нос, стало сводить губы.

Передохнув, Мария попробовала осмотреться. Она находилась на небольшой, слегка выпуклой, наподобие согнутого колена, площадке. Откуда-то спускалась цепь и, следуя за Марией, то сворачивалась в петли, то, раскручиваясь, волочилась по земле. Тёмный прямоугольник оказался строением из камня, слоисто проросшего мхом. Площадку окружали скалы. Вдоль одной шла тропинка. Узкая, на одного, заворачиваясь за угол расщелины. Спускалась ли она к площадке, за выступом скалы видно не было, и Мария сделала ещё шаг. Цепь натянулась. Мария вернулась к источнику. Вода проела бороздку в камне и выливалась в другую чашу, откуда свободным ручьём уходила вниз. Сзади каймой высовывались из узкого обрыва астенические деревья. Она попила, теперь уже без жадности, не спеша, вымыла руки и лицо и двинулась, осторожно, к строению. В какой-то момент цепь снова натянулась, потом слегка ослабла, пустив дальше. Мария подняла голову. В раструбе скал туман протаял неровно, но позволил увидеть – цепь скользила по проводу, натянутому между скал. Как собаку, – подумала Мария. После пережитой ночи, страха не осталось в ней, и сейчас, когда она напилась и умылась, сознание того, что её не убили, не мучили, просто посадили на цепь, как собаку, привело Марию в состояние возбуждённого облегчения. Она жива, не искалечена. Это самое главное. Осматривая себя, она поняла значение предмета, мешавшего ей, – сумка мародержца. Как и одежда, перепачкана и пахнет кислым. Не важно, успеется, прежде надо заглянуть в дом. Эйфория не дала ей подумать, что кто-то может скрываться там. Дверь поддалась неохотно, шурша по камню, впустила в строение, разгороженное надвое. Дальняя, большая часть за дверью-калиткой предназначалась, видимо, для скота и топлива, два грязных окошка под потолком чуть освещают – на каменном полу солома, засохшие испражнения, гора кое-как, неравномерно нарубленных и сложенных в угол сучьев, поленьев, пачка склеившихся покоробившихся газет на незнакомом языке. К дальнему углу – плотно набит грязным сеном – цепь не подпускала. В меньшей части, посредине, огромный плоский камень с глубокой выемкой, обожжённый, засыпанный мелкой золой, над камнем дыра в потолке – свет скудно проходит через неё, но неба не видно. Помятый закопчённый котелок, несколько пустых консервных банок. Сбоку под окошком, тоже очень грязным, широкая скамья, покрытая пёстрой дорожкой, навалены вытертые шкуры. Душный гниловатый запах кожи. В углу два ящика, схваченных наподобие бочек железными полосками. Первый, с рисом, открылся легко, другой – цепь натянулась, но позволила подойти, – долго не открывался, а когда открылся, Мария отшатнулась. Ей показалось, что ящик набит летучими мышами. Запахло приторно, знакомо. Она осторожно протянула руку, достала сушёный фрукт, он раскрошился в руке на лёгкие липкие осколки, оставив в середине слепленные треугольником косточки. Мария почувствовала, что по щекам у неё текут слёзы, сами собой, без всякого её участия. Она лизнула фруктовую пыль на ладони. Сладкое смешалось с солёным, слёзы текли, не портя настроения. Мария грызла сухие груши, липкие ручейки ползли по подбородку. Она вернулась к ручью, напилась, несколько раз посмотрев наверх и на тропу в скале – не идёт ли кто-нибудь, разделась, вымылась, выстирала легкие праздничные

майку и брюки, с тоской вспомнив форму миродержца, притащила и держала, пока не заломило руки, в ледяном ручье грязный брезент, оказавшийся огромной плащ-палаткой. Железный обруч на ноге больно врезался, натирал кожу. Мария осмотрела свою сумку. Как будто всё цело. Фляга, нож, фонарь – в наружных карманах. Перевязочный материал, несколько шприцов в пластмассовой коробочке – обезболивающие, противостолбнячная сыворотка, антибиотики, – опознавательный номер, компьютерные дискетки с материалами, на вид не повреждены, блокнот, ручка, пачка бумажных платков, зажигалки, несколько сигарет – половина раздавленных, тюбик губной помады, раскрошившиеся галеты, половинка шоколадки. Странно, что ей оставили сумку. Наверное, не заметили в темноте. Сумку, ради которой она рискнула жизнью и вероятно из-за этого же попала в плен. Поздно, не изменить. Мария хотела разорвать перевязочный пакет, подложить бинт под обруч, потом передумала – стерильный, может ещё пригодиться, подпихнула обрывки тряпки. Она всё время оглядывалась на тропу. Ясно, что её взяли в заложники, рассчитывают обменять на кого-то или что-то, иначе бы сразу убили. Вероятно, они скоро вернутся. Интересно, у кого она в руках. Хотя... Становилось нестерпимо жарко. Мария надела влажную одежду, ушла в дом. Там было прохладно, каменные стены остыли за ночь. Скинула с лавки вонючие шкуры, легла. Проснулась на закате. Горло пересохло, познабливало, несмотря на то, что в доме уже тоже было душно и жарко. Отвратительно пахло разогретой овчиной и навозом. Никто не появился. Мария с облегчением и страхом обнаружила это, выйдя наружу. Цепь позволила ей заглянуть за дом. Там был крохотный садик, несколько кустов с продолговатыми терпко-кислыми – Мария дотянулась, раскусила и выплюнула – ягодами, грядка засохших растений, закопчённая дыра-очаг, пень, усыпанный щепками, ещё поленница, прикрытая шкурами. Цепь, больно защемив кожу, дёрнула ногу вверх, не подпуская. На колышках ограды надеты несколько стеклянных и металлических банок. Сбоку над садиком и домом косо нависала скала, откуда-то снизу, из расщелины? глубокой? высовывались серые ветки, скудно покрытые мелкими листьями. От терпкого вкуса во рту засосало под ложечкой. Марии вернулась, собрала и надела сумку, взяла горсть сухих фруктов и села на пороге ждать, когда за ней придут. Рядом с ней, у стены, лежала засохшая шкурка змеи, преодолевая отвращение, Мария придвинула её и принялась разглядывать – тонкий узор, письмо владелицы, – я в ней жила. Пусть лежит, решила Мария.

На следующее утро – ночь прошла тревожно – ей все время казалось, что пришли, потом она стала думать, что будет, если не придут, ну хотя бы месяц не придут. Может быть, рис и фрукты не просто оставлены пастухами, а приготовлены ей, чтобы не умерла с голоду, и будет она сидеть на цепи долго-долго. Она слышала о заложниках, сидевших у похитителей годы. Я сойду с ума, я не могу сидеть на цепи одна, в горах. Где Димитрос, что случилось с остальными? Убиты? Тоже взяты заложниками? Или схватили только её, а остальные не заметили этого в темноте и ищут Марию среди мёртвых.

Это мне за то что, что я не хотела домой, не хотела расставаться с Димитросом. И если бы тогда, во время вечеринки, я не ушла... почему я не могу вести себя естественно, почему во мне как будто сидит второй человек, наблюдающий и контролирующий, если бы я не ушла от него, всё было бы по-другому. Димитрос, найди меня! Спаси меня!

Прошло ещё несколько дней, за которые Мария вперемешку с парализующим отчаянием и страхом налаживала хозяйство – научилась разжигать огонь на плоском камне и, главное, поняла, как сохраняли его пастухи в железной банке с угольками и трухой. Научилась, прилаживая на двух консервных банках котелок, варить рис – готовить в доме оказалось легче, чем снаружи, костёр не задувало, нашла пакет окаменевшей соли и долго мельчила её между двух камней, несколько раз вытряхивала сумку и пересматривала свои пожитки, прикидывая, как справляться с жизнью, если за ней не придут в ближайшее время. Блокнот, почти не использованный, она от-

ложила в сторону. Через какое-то время, неделю? две? она почти смирилась с участью Робинзона и стала вести счёт дням. Может быть,.. может быть попробовать писать? Но как? Компьютера нет и бумаги совсем мало. Попробовать?

Как-то, проснувшись на рассвете, самое нелюбимое время суток, Мария выбралась наружу, посидела, разглядывая натёртую, несмотря на все предосторожности, ногу; по тому, как высоко стал подтягиваться металлический обруч, можно было судить, как сильно она похудела за эти дни, хотя ела вовсе немало, в сотый раз поцарапала обруч острым камнем, он легко ходил по гладкой поверхности, оставляя едва заметные царапины на стали, зато, соскользнув, кожу прорезал глубоко. Натянув до отказа цепь, Мария повисала на ней, надеясь, что канат наверху оборвется, но если бы и оборвался... даже тот кусок цепи, который волочился по земле, Мария поднимала с трудом. Надо было бы умыться, развести огонь, но... Димитрос, я надеюсь, что Димитрос понимает, что меня схватили, и ищет меня. Или он давно вернулся к себе и не вспоминает обо мне? – я для него одна из тысячи людей, с которыми его сталкивает жизнь. Когда убили одного из миродержцев, он говорил, – подписывая присягу, надевая форму, мы признаём возможность быть убитыми, мы взрослые люди и решаем такие вещи для себя. Мы также признаём возможность увидеть своих товарищей убитыми. Мы не имеем право озлобиться, мстить убившим. Мы миродержцы, не солдаты. Мария записала его слова, как записывала почти всё, что говорил Димитрос, как записывала почти всё, что видела сама. На дискетках в сумке миродержца была хаотически свалена жизнь Марии за последние полтора года. Нет, не вся жизнь, оставалось то, на что никогда не хватало времени. Если бы... если бы она могла....

Сейчас, не буду откладывать, сказала Мария, она уже несколько раз начинала думать вслух и пугалась. Она принесла блокнот, ручку. Через несколько минут, глядя на исчерканную, испачканную страницу, на которой уместились, ну может быть, две готовые фразы, и фразы эти имели мало отношения к тому, о чем она собиралась писать, Мария поняла, что за полдня такой работы она изведёт всю бумагу. Нужно было придумать другой метод. Мария попыталась работать, держа фразу в уме, шлифуя, повторяя вслух и только потом записывая. На это ушло ещё две страницы, и опять КПД оказался низким. Фразы плохо ложились на бумагу, приходилось менять порядок слов, выбрасывать слова, снова получалась грязь. Проклятый компьютер приучил к небрежному записыванию всего, что приходило в голову, поправить, поменять не проблема, главное, не забыть. Дома дискеты накапливались в пластмассовых коробках, аккуратно выстраиваемых на полках. Это был её архив, в него она заглядывала редко, по необходимости, но он был. Понадобится – разберусь. Теперь время ограничивалось не обязанностями и обязательствами, время ограничивалось её, Мариина жизнью. Придут и убьют, умрёт сама от голода, болезни, но до этого момента у неё оставалось неопределённость, отпущенная ей, которую нельзя терять.

Бумаги было мало, но прежде кончились чернила. К счастью к этому времени она уже открыла ещё одну возможность. Сгребая пепел с камня, на котором готовился рис, Мария нашла длинную обугленную палочку и почти машинально поводила по краю камня. Уголь, мягко поскрипывая, легко лёг на камень, Мария нарисовала цветок. Написала – Димитрос. Сейчас же стёрла пальцем. Нельзя, нельзя думать о Димитросе, о доме, о том, что будет с ней. Мария написала на камне, – если думать нельзя, что же делать? Уголь обломился. Мария нашла несколько аккуратных угольков, вышла наружу. Её окружала великолепная каменная тетрадь, слегка волнистая на ощупь, на ней можно было писать, исправлять, стирать, она никогда не кончится, как не кончалась школьная доска, несмотря на усилия многих поколений записать её навечно. Уголь ненадежный материал, но потом она перенесёт готовый текст в блокнот. Кончится рис, кончатся сушёные груши, кончится топливо, от неё, Марии, останется только скелет на цепи, но придут люди и найдут её книгу.

Из экономии времени, дров и частично из лени она варила сразу целый котелок жидковатой рисовой каши, приправляя её либо грушами, они окрашивали рис густо-вишнёвым, либо для разнообразия терпкими ягодами, расцвечивающими рис красными пятнами. У неё уже выработался определённый ритуал – она вставала очень рано, доедала сваренную накануне кашу, мыла новую порцию риса и оставляла котелок на солнце. В середине дня, когда тень скалы превращалась в узкую полоску, Мария переставала вырисовывать мелкие буквы на камне и уходила в дом. Пила вместо чая горячий от солнца фруктовый настой, дремала. К тому времени, когда тень снова наползала на площадку, Мария выходила и снова принималась за работу. Потом в резко наваливающейся темноте она возвращалась в дом. Маленький костёр заканчивал начатую солнцем работу и, доварив рис, Мария, обжигаясь, пила отвар, отхлёбывая его через край котелка, ложилась, натянув на себя шкуры, – с заходом солнца становилось прохладно, и повторяла вслух написанное за день. Ни о чём больше она пыталась не думать.

Сначала она писала о войне. О войне, которую она видела своими глазами и глазами тех, кто стрелял, и в кого стреляли, и кого уже не было, и тех, кто ещё был, и тех, кто, как собачку, посадил её на цепь. Она пыталась понять, объяснить, как люди, выросшие вместе, ходившие в те же школы, певшие те же песни, что разводило их? голос крови? пепел Клааса, стукнувший в сердце через поколения? борьба за власть? страх? поиски справедливости? какой? к кому? Вопросов становилось всё больше, всё труднее становилось думать, всё чаще Мария начинала повторять, повторять, повторять – зачем? за что? тогда она разрешала себе отойти в сторону и писать там. Все, что приходило в голову.

Дом стоял на вершине холма, на вершине холма, на вершине холма. И дорога текла от ворот к повороту, за которым, за которым, начиналось шоссе, продолжалось шоссе, между пунктами А и Б. Кто там живёт в пункте А? А?

Пока она металась между паникой и ступорозным отчаянием, Мария не вела счёт дням и теперь только приблизительно знала числа. Был конец сентября или начало октября, когда она проснулась от забытого звука, шёл дождь, крупный, хлопающий по камням. Она лежала, не решаясь выглянуть наружу, не решаясь посмотреть, что стало с её записями, потом всё-таки встала и, накинув брезент, в котором её принесли сюда, вышла наружу. Скала была похожа на лицо плачущей с накрашенными ресницами, мутно-чёрные слёзы стекали по ней. Месяц работы, месяц жизни. Сколько жизни ей осталось вообще? Если за ней не придут, риса хватит ещё месяца на три-четыре. Она может рассчитывать на три месяца, если не заболеет, не умрёт раньше от авитаминоза, какой-нибудь болезни. Все страшные мысли, которым она не разрешала мучить себя, пока у неё была её работа, вырвались на волю. Мария вернулась в дом и весь день пролежала под шкурами, переворачиваясь с живота на спину. Её бил озноб, хотя холодно не было, лавка больно давила на вылезающие из похудевшего тела кости, она пыталась заплакать, надеясь заснуть после слёз, но не могла ни заснуть, ни заплакать. Дождь перестал к ночи, было очень тихо, только цепь звякала.

Почему мне именно сейчас важно, чтобы книжка была написана, я имела сотни возможностей писать и всегда откладывала, всегда отвлекалась на что-то, значит ли это, что мне нечего сказать, по-настоящему сказать, и то, что я писала в течение месяца, только трудотерапия, занятие «лишь бы», чтобы выжить, или как письмо самоубийцы, желание объясниться, у кого из них есть что сказать, помимо перечня обид? услышьте, люди, что вы сделали мне. Если в том, что я писала, есть что-то кроме желания быть услышанной после смерти, я вспомню это. Мария достала котелок с разваренным рисом и стала есть, аккуратно, стараясь не прикасаться к губам, сплёвывая в банку плоские косточки, сваренные, они начинали выпускать тёмно-красную краску, почти не смываемую, и Мария боялась подумать, какого цвета у неё зубы. Хороша же я буду, когда меня найдут, почти не смывается. Почти не смываема... Господи, я идиотка.

Косточки дали банку густых вишнёво-красных чернил, далеко не идеальных, но позволяющих как-то писать. Пробовала она чернила на старых газетах. Сначала Мария обмакивала заточенную палочку, потом вспомнила об авторучке и стала писать, обмакивая самый кончик пера. Когда она овладела этой техникой, она достала блокнот.

Не спешить, не спеши, говорила себе Мария. Подумай, осталось всего восемнадцать листков, ты не можешь тратить их зря. Несколько дней Мария просидела над чистой страницей. Всё, что приходило ей в голову, казалось пустым, ординарным, не стоящим драгоценной бумаги. Страх исписать блокнот мешал думать. Она попробовала снова писать на старых газетах, на скале. Ничего не получалось, газеты расплывались кляксами, дорожками, ночные дожди оставляли скалу влажной даже в середине дня, когда последнее облако растворялось в холодном солнечном свете, сырой камень не удерживал букв, покрывался вишнёвыми разводами, можно было разглядывать их как картинки, но прочесть нельзя. Не верилось, что ещё недели две назад эта же скала нагревалась так, что к ней было горячо прикоснуться. О том, что скоро начнется зима, какая она здесь в горах? а если будут морозы? а если замёрзнет ручей? Мария не думала, это было за пределом воображения.

Пережить только один, сегодняшний, день, за каждым наступившим днём лежала пустота. Как пустым и глухим стал её рассудок. Почему я должна хотеть написать что-то? Я не хочу ничего писать. Я хочу жить! Я хочу жить сейчас, я хочу жить, отпустите меня!! Мария вышла и швырнула банку с чернилами, ржавая железка глухо шмякнулась о скалу.

А-а-А! Мария слышала свой голос, чужой хриплый голос. Другой, контролирующей, частью сознания она понимала, что кричать нельзя, на крики могут придти, придти враги, издеваться, убить. В лучшем случае, кричать бесполезно. Но остановиться не могла, пока голосовые связки не перестали слушаться её. Тогда её позвали. Она услышала женский голос, тихий и ясный. Её звали, – Мария, Мария, окуме со, Мария. Окликали её вне дома. Это галлюцинации, подумала Мария. У меня началось психическое заболевание. Голос пел, – Мария. Галлюцинации, подумала Мария, нащупывая в темноте сумку миродержца – переком. Мария, – продолжал звать голос, – не бойся, выйди наружу, мы долго искали тебя и не могли найти. Мы услышали твой крик. Это галлюцинация, повторила себе Мария, но голос был ясный, добрый, не пугающий. И разве сумел бы переком переводить «голоса»? Значит надо ответить. Ответить Мария не могла даже шепотом и, подобрав цепь, вышла наружу.

В скудном свете, едва пробивающем редкое облачко, застрявшее после дождя на Мариином площадке, нечётко вырисовывались две фигуры. Они медленно, словно боясь напугать, двинулись к ней. Две женщины, очень высокая и пониже, в монашеских накидках, высокая молча, пониже повторяя – Мария, наконец мы нашли тебя. Мы искали тебя высоко в горах, и внизу, в пещерах, горы прячут молчащего. Ты была рядом. Идем с нами.

Выдохнув из себя шипение, Мария указала на ногу. Высокая кивнула, ушла за дом, туда, куда Марию не пускала цепь, пока другая продолжала успокаивающе повторять, – Мария, мы так долго искали тебя. Мария хотела спросить, откуда они знают про неё? почему искали? кто они? но кроме острой боли в горле попытки говорить не производили ничего. Через несколько минут наверху звякнуло, загремело, Мария и монахиня отскочили от свивающейся в кольца цепи, пока с грохотом не свалился верхний конец, притащив за собой металлическую проволоку.

– Придется нести цепь, самим не снять, здесь не очень далеко.

Мария, волоча ногу, ходить стало намного труднее, вернулась в дом, в темноте, фонарик давно перестал работать, ощупью собрала сумку, положив первым делом блокнот. Скорей, надо идти, – поторопил голос снаружи, – скорей, горы разносят крик, кто-нибудь может придти.

Цепь несли втроём. Впереди шла высокая монахиня, свою часть ноши, начинающуюся от ноги Марии, она положила на плечи, вокруг шеи, как дети, играющие в лошадок, свободным концом цепь тянулась к говорливой монахине, посредине поддерживаясь Марией. Так они шли долго, по узким каменным тропам между скалами и обрывами, по мокрым скользким камням, подворачивающим ноги. Мария задыхалась и обливалась потом, то холодным – от страха сорваться, то горячим, когда дорога шла вверх. От нагрузок она отвыкла, и думала только о том, чтобы наконец дойти, не свалившись. Куда, с кем, почему она идёт, значения не имело. Сейчас, по крайней мере.

Тропинка, дав небольшую передышку, опять стала невозможно крутой и опасной – узкий след между двух ущелий, Мария схватилась за цепь двумя руками, вцепилась. Понимая тем не менее, что если сорвётся, её не удержат, она только утянет за собой высокую. Всё же цепь создавала иллюзию опоры. Да и всё происходящее воспринималось как иллюзия, и хотя она могла бы, вероятно, определить звон в ушах, сухость во рту, боль в горле, ступнях, во всех суставах и вообще во всём теле, колпак нереальности отделял её сознание от реальных физических ощущений. Усилия, затраченные на поднятие ног, поглощали всё внимание, и Мария пропустила момент, когда тропинка, введя через ворота, превратилась в дорогу и сразу же в площадь, на краю которой камни были стесаны в скамейки. Марию посадили на ближайшую, и она смотрела, как монахини, освободившись от ноши, совершают незнакомый обряд, одинаковый ряд движений, но не вместе, каждая сама по себе, то отставая, то опережая, подчиняясь вероятно внутреннему ритму молитвы. Прозрачный колпак вокруг Марии не пропускал ни любопытства, ни радости, она регистрировала окружающее, но совершенно отстранённо.

После свидания с настоятельницей, короткого и неожиданного, Марии дали понять, что она останется в монастыре до тех пор, пока... Пока не настанет срок. Свистящей шёпот Марии не был услышан, или понят, или взят во внимание. Её отпустили. Спрошу, когда вернётся голос, решила Мария всё ещё в состоянии безмятежной отстранённости от собственной судьбы.

Монастырь был высечен из скал в начале прошлого тысячелетия, и кельи, тёмные, тесные, но удивительно уютные, обжитые сотнями поколений, не отпугивали холодом или сыростью камня, наоборот, казалось, что даже зимой камень отдавал тепло. Строители несомненно знали свое дело, окна были прорублены таким образом, каждое под своим углом, чтобы солнечные лучи застревали в них на максимальное время, пластины слюды рассеивали свет в ровный полумрак, дверные проёмы, вырубленные высоко и глубоко, покрытые просмолёнными шкурами, не пропускали дождя и ветра.

«Как вы понимаете друг друга без перекома?» – спросила Мария. Настоятельница улыбнулась. «Нам не надо понимать слова друг друга. Мы понимаем слово Божье. Мы услышали тебя, мы знали о тебе, о твоей цепи, мы должны были принять тебя. Ты первый человек за последние двести лет, вошедший сюда без посвящения. Мы приходим сюда с языком, который достался нам по рождению, и стараемся забыть его, избавиться от слов. Посмотри – там за моей спиной библиотека, столетиями люди приносили с собой написанные слова. Мы храним их, но не пользуемся ими, здесь не читают, не пишут, не говорят друг с другом. У каждой из нас свой язык, который мы нашли, потеряв слова. Тебя привёл Господь. Я не знаю, почему. Может быть, это испытание нам, может быть, тебе». «Когда придёт слесарь?» – спросила Мария. Настоятельница привычным жестом поправила длинный сарафан, встала на колени перед Марией. Мария отпрянула. «Подойди, Мария, – сказала настоятельница, – мне в моём возрасте наклоняться трудно». Мария подошла. Настоятельница осмотрела кольцо, цепь, дотронулась пальцем до воспаленной, вздувшейся ноги, сказала: «Лечить надо, я пришлю тебе мази». «Но когда же снимут цепь, когда придёт слесарь?» – спросила Мария. «Потерпи, – сказала настоятельница, – всё произойдёт, всё произойдёт своим чередом, ты поймёшь».

Мария жила в ожидании слесаря. Ожидание рождало напряжение, мешавшее жить, мешавшее даже думать, не говоря уж писать. Каждый вечер, ложась на узкую, приятно жесткую койку, – Мария уже со страхом вспоминала скамью со спадающими, скомкивающимися шкурами, скамью, приютившую её на долгие, мучительные, и в тоже время незаметно пролетевшие недели, недели, не оставившие после себя никакого материального следа, ни строчки, ни слова, только цепь на ноге да невнятная память о процессе почти автоматическом, после которого записанный абзац казался на следующий день неведомо откуда взявшимся, ей не принадлежавшим, – каждый вечер Мария думала, завтра. И тогда я уйду.

Марии казалось, что о ней забыли, ей приносили еду, лечили ногу, приветливо, но посторонне улыбаясь, не мешали бродить, волоча цепь, где хочет, заходить в чужие кельи, но при этом обращали не больше внимания, чем на ветер, неспешно передвигающий по двору сухие листья. Только настоятельница изредка отвечала на вопросы, хотя Мария была уверена, что и другие монашенки не потеряли слова, звала же её низенькая там, на скале, говорила же с ней.

Нога заживала, зажила, благодаря чудной мази только по младенчески розовой коже можно было определить, где недавно было изодранная, воспалённая язва. Слесарь не появился. Никто не замечал цепь Марии. По утрам она садилась на каменном пороге и смотрела, как пробегающие через двор монашенки иногда останавливаются, каждая независимо от других, словно настигнутая необходимостью, требованием, внутренним или внешним, и совершают сложные ритмические движения, подчиняющиеся невидимому порядку, который Мария пыталась увидеть, просчитать.

«Пусть меня проводят, пусть только помогут донести цепь до какого-нибудь селения», – просила Мария настоятельницу. «Это невозможно, ничто не происходит по нашей воле. Твоё пребывание здесь тяжело всем, человек, не прошедший посвящения, приносит с собой суету и смуту слов. Но мы не в воле прекратить его. Ты можешь попробовать уйти сама, но с цепью на ноге вряд ли сможешь. Жди». Мария пыталась найти слова, убедительные и весомые, но слова ускользали. Возвратившись к себе, она придумывала их, писала пальцем на песке у порога.

С кем я спорю, у меня нет оппонента. Молчание останавливает развитие, моя память, мои слова должны быть сохранены.

Слова исчезали, сметённые ветром. Мария приходила в библиотеку, вытягивала том, раскрывала. Книги, старые, затрёпанные на вид, на ощупь сохраняли ощущение новой, девственной книги. На них не было пыли, страницы неохотно разлеплялись, не приобретя или утеряв привычку. Слова, даже если страница была заполнена словами родного Марии языка, распадались на буквы, скрывая текст. Буквы складывались в узор, загадочные картинки, не мучающие своей непроницаемостью, а скорее занимающие глаз. Мария разучилась читать. Книги не хотели быть прочитанными, скрывали себя. «Зачем они здесь? Почему вы держите их здесь, ведь их никто не читает», – спрашивала она настоятельницу. «Мы – только сторожа, мы оберегаем их для хозяина слов». Марии это казалось слишком театральным, груженым странным, ненужным ей смыслом. У порога лежала сухая шкурка змеи, похожая на ту, на скале, пыльный узор её значил больше, чем строчки букв. Мария подобрала шкурку и принесла в свою келью.

Ей стали снится длинные, удивительно реальные сны, каждый можно было бы додумать, записать. Они наслаивались один на другой, вытесняя друг друга, Мария не старалась их запомнить или понять, но иногда они застревали в памяти, становились частью её жизни.

Дни капали рутинно и неотличимо, соскальзывая один за другим неведомо куда. Кап, жизнь укоротилась на песчинку, кап, ещё на одну, как песчинки похожие друг на друга дни, и только некоторые острым камешком застряли в памяти, не провалились в никуда.

День, когда Мария...
День, когда она...
День, когда она...
День, когда...
День, когда она поняла, что ожидание бесконечно.

«Отпустите меня, я не могу оставаться здесь», – сказала Мария настоятельнице. Настоятельница наклонила голову. «Я ждала этого, Мария. Я знала, что ты не можешь понять. Сделай то, что ты хочешь». – «Я хочу вернуться домой. Если вы меня отпускаете, снимите с меня цепь, и я уйду». – «Мария, я уже говорила тебе, это невозможно». – «На мне не вериги, это цепь, которую на меня надели люди». – «Мы продолжим наш разговор в следующий раз». – «Меня ищут, Димитрос найдёт меня. Если мне нельзя вернуться в город, к людям, я должна вернуться туда, откуда вы привели меня, туда на площадку, здесь нет не только слов, здесь нет времени, я поняла это, здесь не происходит ничего». Мария вернулась в келью и долго плакала. Она должна вернуться и ждать своей участи. Здесь, в монастыре, её никогда не найдут. Никогда. Здесь нет времени.

Проснулась она на рассвете от холода и боли в боку. Подстилка сбилась в комок и давила на ребра. Мария расправила овчину и проснулась окончательно. Кельи не было. Под ней была скамья, покрытая шкурами, рядом камень, засыпанный углями. Мария снова была одна, на площадке между скал. Всё было по-старому. Мне снился сон, решила Мария, но тут же стала находить подтверждение реальности этого сна. Цепь оставалась, но к проволоке прикреплена не была, лежала змеёй у лавки, рана на ноге затянулась, в углу стоял кувшин меда, на ящике риса – банка с целебной мазью, сушёные ягоды, домодельные свечки и спички, валяная обувь под лавкой, холщевая одежда.

Зима, не заметная в монастыре, засыпала мелкой сухой сероватой крошкой площадку. Стараясь не поскользнуться на мёрзлом камне, Мария заново изучала свою тюрьму. Вода источника облила льдом края чаши, но сама была жива, выбивалась из скалы, юрко бежала в хрустальном ложе. Неприкрепленная цепь тяжело тащилась, застревала, подтягивая и освобождая её, Мария добралась до заднего двора – там, в тени, вдоль стены, свисали с крыши сосульки, ссыпался валиком снег, – до аккуратно сложенной поленницы. Промороженные обрубки тонких стволов сводили холодной болью кисти, но оказались спасением, чуть отогревшись, поймали от сена и щепок огонь и горели тихо и ровно, только изредка взрываясь маленьким фейерверком.

Это не было сном или сон продолжался. Позже обнаружилась жестянка с темно-вишнёвыми чернилами, которые она, ясно помнила, выплеснула в бессильной ярости, швырнув банку через дверь. Мария вышла, осмотрелась – бурая клякса, не смытая дождями и тающим снегом, раскатилась по жёлтому камню. По-видимому... по-видимому, только часть чернил расплескалась, и те, кто привели её обратно, подобрали банку. Или сварили чернила заново? её вернули, чтобы она могла писать?

Монастырь был полон неслышных другим рассказов, но они существовали. Мариин рассказ уже есть, здесь на странице, нужно только найти правильные слова, чтобы он проявился, как проявляется картинка мозаики с каждым правильно найденным кусочком.

Мария больше не боялась испортить бумагу, она поняла, что ей нужно сохранить. Чем меньше бумаги, тем чётче должен быть текст. Голова работала лихорадочно, складывая слова. Не репортажи или наброски наблюдателя, постороннего, – они останутся на дискетах.

Только то, что я, я сама, часть меня. Занозы памяти, события, всё, что нельзя, невозможно унести с собой в небытие, убить, потому что никто другой... – об этом можно писать много,

разглядывая, размышляя, рефлектируя. Но нельзя, нет ни бумаги, ни времени. Моя теперешняя жизнь существует для спасения прошлой. Иначе в суете я бы не собралась, не вспомнила. Если... вероятно... всё, что останется от меня, измеряется страницами блокнота – надо писать по-другому. Это моя книга, пусть она будет короткой. Я не должна никому ничего объяснять. Главное, ничего не оставить в запас.

Я не могу уйти, не отпустив их на волю, пленников моей памяти или моего воображения, балеринка, вечно кружащаяся на темной сцене разрушенного театра, худой старик, вечно бегущий за подружкой через луг к реке, они живут во мне, без меня они погибнут, как погибает со смертью матери нерождённый ребенок.

Как сохранить без названья, без слова
цветок голубой, прилепившийся к стеблю,
если в пальцах помять его,
пахнет травою, да и то еле-еле.

Она вытаскивала то, что жило в ней долго неоформленными картинками, некоторые рассказы появлялись практически готовыми, как будто существовали раньше, для других находила нужные слова, складывала их, удаляла, возвращала, меняла местами, выбрасывала лишние, проверяла на слух, представляла, как это будет выглядеть на бумаге. Чтобы каждое попадало на своё место, без провисания и зазоров. И только тогда записывала. Иногда в несколько строчек, пару фраз умещался рассказ, иногда занимал целую страницу. Из-за отсутствия навыка к такой работе она то и дело впадала в отчаянье, боялась, что не успеет закончить, что на бумаге текст выглядит сухим или невнятным, её тянуло начать объяснять, и она останавливала себя – не хватит места другим, нельзя. Плакала, закутавшись в шкуры, ложилась спать – больше не притронусь. Наутро разжигала огонь, ставила котелок с водой, при скудном свете горящих поленьев и зимнего рассвета доставала блокнот, ручку и, глядя в костёр, начинала складывать слова.

Кажется всё. Всё... Мария ещё раз проверила. Всё. Перечитывать нельзя, захочется править. Оставалось ещё немного места, несколько, три-четыре, сантиметров последней страницы. Это беспокоило её. Она могла найти в себе ещё один рассказ, чтобы не оставлять пустоты, но тогда другие страницы стали бы такими необязательными. И страшно было остаться совсем без чистой бумаги. Мария вытащила из-под лавки сумку миродержца, покрытую пыльной паутиной, обтерла, удивившись – так долго не доставала? неужели здесь есть пауки? аккуратно положила туда блокнот.

Всё. Тревожно? Нет, пожалуй. Непривычно. Весь следующий дань Мария занималась запущенным хозяйством, отчистила котелок, покрытый обугленными натёками рисового варева, воспользовавшись сухой солнечной погодой, вытрусила и кое-как проветрила овечьи шкуры. Весна. Снег свалялся во влажные неровные кучки. Площадка перед входом была почти чистой, но у ручья и на каменных чашах наросты льда оставались такими же мощными, как в самые холодные дни. Мария, осторожно волоча цепь, чтобы не повредить снова кожу на ноге, за ногой она ухаживала тщательно и регулярно, обошла вокруг дома – строение это после возвращения из монастыря стало ей настоящим домом. На кустах ещё висело несколько продолговатых красных ягод. Основной урожай Мария оборвала давно, сразу, как смогла подойти поближе. Несколько ягод входили в её ежедневный рацион. Вообще сегодня она первый раз вышла из дома просто так, без дела. Зимой она экономила силы и светлое время для работы. К тому же она боялась простудиться, а сегодня на солнце было почти жарко. Мария сорвала ягоду, разжевала, холодную, терпкую, потянулась за следующей, и ноги её поехали. Мария упала и продолжала ехать уже вместе со снегом. Кусты остались позади, и хворостинки, за которые она хваталась, легко выдёргивались и скользили вместе с Марией к расщелине. Цепь, обычно сковывающая движения,

увы, уже не прикреплённая к проволоке, свободно двигалась за Марией. Ноги Марии повисли над пропастью. Судорожно, бездумно вцепившись в холодное железо, больше не за что, она ещё не падала, но сползала вниз, через край, когда цепь дёрнулась, остановилась, что-то держало её. Мария забарахталась, подтягиваясь, провисая всем весом над пустотой, сейчас цепь освободится, и всё! Что-то хрустит на сгибе скалы, то ли лёд, то ли металл, то ли камень. Сейчас...

Как ей удалось выбраться, она почти не помнила, как-то выбралась и перебирая по цепи доползла до кустов, обдирая о колючки руки схватилась, но на ноги встать не смогла, доползла до дома. Цепь намертво застряла где-то и к лавке не пустила. Мария дотянулась до шкур, сваленных в углу, завернулась, закрыла глаза, она промокла, её колотил озноб, хоть холодно ей не было, скорее жарко. От пережитого ужаса и напряжения она потеряла сознание или мгновенно заснула и пришла в себя с ощущением полёта – сорвалась со скалы, но не падает, а летит. Шкуры облепили её, и лежала она как в горячем компрессе. Страшно было раскрыться, страшно было снова начать двигаться, но лежать нельзя, надо встать и освободить заклинившуюся цепь, иначе она все равно погибнет – не сможет добраться ни до сундука с рисом, ни до ручья. Мария встала, шкуры не держались на плечах, верёвки, с помощью которых устраивался её неандертальского вида наряд, потерялись. Не всё ли равно, решила Мария, если освобожусь – согреюсь, а если нет, то умереть от голода и жажды с пневмонией или без, не имеет значения. Мария на дрожащих ногах выбралась за порог, отыскала щель, в которой застряла цепь, и разодранными, распухшими руками принялась её выковыривать. Среди дров лежал топор, но до него тоже не достать. Мария дёргала, тянула, пинала ногами камень, безрезультатно. В изнеможении она села на порог. Вероятно, какое-то время она сможет продержаться, есть снег, пока он окончательно не растает, надо опять кричать, может быть её услышат и на этот раз, Мария попробовала крикнуть, но сил не хватило, не хватало энергии вытолкнуть крик. Попробовала ещё крикнуть.

– Это я, Мария, спасите меня.

Ещё и ещё. Вяло. Отвыкшее от усилий горло подчинялось плохо. Никто не ответил. Зато сверху, разбуженный криком, сполз пласт снега и завалил площадку. Мария отскочила, потом принялась выкапывать цепь, чтобы вернуться к куче шкур, снова лечь и поняла, что занималась ненужным делом. Кусок цепи, прикреплённый к кольцу на ноге, другим концом свободно выехал из сугроба. Отрезок примерно в метр, все звенья выглядят нормально, Мария подняла, внимательно осмотрела. Цепь как цепь, последнее кольцо плотно замкнуто. Другой кусок, выцарапанный из снега, тоже выглядел более или менее нормально. Створки кольца слегка разошлись, но только слегка, недостаточно для того, чтобы цепь распалась. Освободись от груза, тогда цепь спадёт сама, – сказала ей настоятельница. Я свободна, сказала себе Мария. Я сижу в горах, неизвестно где, вокруг меня осыпаются лавины снега, но я свободна, я могу идти куда хочу. Первым её импульсом было собраться и идти. Переждать до утра, сварить на дорогу риса и идти. До монастыря, сколько они шли туда? Часов пять. Вышли утром и пришли, пока ещё было светло. Тогда была осень, темнело рано. Как они шли? Насколько Мария помнила, всё время шли одной и той же тропинкой, поворачивая вместе с ней. То опускались, то поднимались, но в целом поднимаясь. А как несли её до этого, в брезенте? – пожалуй, только вверх. Значит, тропинка где-то раздваивается и можно идти вверх или вниз. Вниз, только вниз, я должна, не хочу опять попасть в монастырь. Попробую завтра, решила Мария. Но назавтра страх перед новой лавиной и узкой, а теперь ещё вероятно обледенелой, тропинкой не пустил её, потом принесло отвесный холодный дождь на неделю, потом гору и тропинку завесил туман, редеющий к полудню и снова сгущающийся задолго до захода солнца. У Марии почти кончилось топливо, хотя она теперь разводила огонь только вечером, прогреть на ночь камень и сварить рис. У неё кровоточили дёсны и появились сухие шелушащиеся пятна на коже. Ссадины на кистях заживали плохо, несмотря на монастырскую мазь. В редкие минуты, когда на площадке появлялось солнце, Мария садилась на пороге и, обнажая попеременно, чтобы не замерзнуть, то руку, то ногу, лечилась. Снег исчез, и она, преодолевая страх, выходила в садик позади дома, выковыривала единично проклёвывающиеся пёрышки незнакомых травок и тут же съедала их, надеясь, что они не ядовитые. Каждый вечер она варила рис

и заворачивала в марлевую косынку, наливала воды во флягу – в дорогу, на случай того, что утро разгонит туман. Наконец такой день настал. Мария надела сумку, накидку из шкур, взяла в руки огрызок цепи и стала карабкаться по тропинке. Довольно скоро у неё начали дрожать ноги, и, посидев, прислонившись к стене, она вернулась назад. Весь день и два следующих Мария ходила по тропинке вверх-вниз, тренируясь, приучая себя к высоте, заходила всё дальше за поворот скалы, на четвёртый решила, пойду! Сегодня или надо навсегда оставаться здесь.

К вечеру она все ещё была на той же тропинке, не раздвоившейся, никуда не приведшей. Ночь просидела в крошечной выемке, стуча зубами от холода, почти не двигаясь, задремывая и мгновенно просыпаясь от страха упасть. В темноте что-то шуршало, цокало. На рассвете Мария долго растирала занемевшие ноги прежде, чем решилась встать во весь рост, вода во фляжке едва плескалась на дне, и замёрзшие губы роняли половину глотка. К середине дня не осталось ни воды, ни надежды. Она должна была бы уже дойти по крайней мере до монастыря. По-видимому, одна из ниш, встретившихся на пути, скрывала поворот. Другого объяснения не было. К ней вернулось ощущение её первых дней в горах, безликости, безымянности. Повернуться и пойти назад? но сил на это не было, ни физических, ни моральных. Я не дойду, упаду, свалюсь в пропасть, устало думала Мария. Никто никогда не узнает. Я свалюсь в пропасть, и никто не узнает, что случилось со мной. Ещё одна маленькая ниша. Сяду здесь и буду сидеть, пока не умру, решила Мария. И сразу же, как будто это уже произошло, запружинила в воздухе перед ней горбоносая птица. Начнут клевать ещё живую, ужас какой, Мария замахала на птицу руками, птица поднялась вверх и исчезла из виду. Лучше свалиться в пропасть, по крайней мере быстро, а может быть и не свалюсь, хоть какая-то надежда. Должна же тропа привести куда-то. Я пойду, попробую идти, пока держат ноги. Не для себя, мне надо спасти мою память.

Мария достала тетрадь, раскрыла, перед глазами была страница, покрытая знаками, узорами, которые не имели никакого отношения к ней, Марии. В сухую шкурку змеи на пороге превратилась её память. Мария стала укладывать тетрадь назад в сумку, с отвращением поняла – нет, только не это. Замахнулась, чтобы сбросить её в пропасть, но остановилась, может быть без неё тетрадь сохранится, и слова снова оживут. Поискала глазами, куда бы пристроить. Всюду было влажно. Фляга! Мария вытряхнула в рот последнюю каплю, поболтала в воздухе, высушивая, пропихнула внутрь бинт, вытерла, заодно пришла в голову простая мысль – не тащить цепь в руке, а привязать тем же бинтом к поясу, на последней странице, внизу, нацарапала сухой ручкой, – *Прошу передать это настоятельнице Монастыря. Спасибо.*

Скрутила тетрадь в трубку. Оставила флягу в нише.

1998 – 2012 гг.

Алексей КОЛЧЕВ

другая россия

первый раз попробовал лсд
в год московской олимпиады

вырастил поколение психонавтов
способных извлекать трип
из всего абсолютно

музыка секс наркотики
литература политика земледелие
стояние в очередях

научивших этому незаметно
родных и близких

такое знание как вирус
неизлечимой болезни:

один раз познав
невозможно освободиться

вот как снова возникла
другая россия

полностью ушедшая
из этого мира

неизвестно – куда

***

каждый вечер
за стенкой малосемейки
пьяный сосед
надрывается в караоке

громко сначала
всё монотонней и глуше потом
всегда
мимо нот

Алексей Колчев родился в 1975 году в Рязани. Учился на факультете русского языка и литературы РГГУ и филологическом факультете МГУ. Публикации в антологии «Нестоличная литература»; альманахах «Чёрным по белому», «Бредень», «Василиск»; журналах «Дети Ра», «Другое полушарие», «Воздух»; на сайте «Сетевая словесность» (спецпроект «Редакционный портфель Devotion») и др.

он поёт об одном:
«зла немерено»
пока не уснёт

«владимирский централ»
гимн русского гнозиса
повторяемый
как молитва
бывшим слесарем
шестого разряда
ныне свободным пьяницей
вне разрядов и иерархий

мир – тюрьма
как нужна мне
твоя любовь
софия

пока не явятся
мусора
прислужники демиурга
душу живую
забрать
за нарушение общественного
порядка

зла немерено
зла

***

д. давыдову

разве он будет помнить
разве он когда-нибудь вспомнит
летний вечер в русской провинции
землю усеянную тополиным пухом
шелудивых кошек ржавые баки
заполошные слезы упавший велосипед

странная конструкция из плоти
биопластика и металла
попискивающая датчиками вибрирующими
в случае угрозы
стабильному состоянию
всё-таки дряхлеющего организма
на ночь присоединяемого к проводам
в стерильном отсеке
старческого пансионата

***

настоящая фамилия маяковского – гиршман
а жил он в той самой одессе
неоднократно изображённой воспетой
бабелем багрицким олешей
был он городской сумасшедший
в рваном пиджаке ходил по базару
когда в город вошли румыны
прятался в катакомбах
нашли расстреляли

после него остались
две наволочки со стихами
опубликованными позже
в центральной печати
супругами брик катаняном
ставшими советской классикой
по личному указанию
сталина и.в. генералиссимуса
благоверного победителя над фашизмом

так пишет из книги в книгу
эдуард леонидович мушке
русский православный писатель
антисемит юдофил

***

лучше всех, – говорю
лучше всех

прожил

как иона
во чреве

чревовещателем

***

третий рим –
как четвёртый рейх
понемногу горим

а из ваших дверей
то жид то еврей

сами-то мы верующие

***

переименовали
обратно
каляева – в семинарскую
либкнехта – в вознесенскую

царь-батюшка
не вернулся

где же ты
святая русь
новый иерусалим

поплачем
помолимся
землю осолим

попробуем
наново
дзержинского – в распутина
маяковского – в победоносцева

Валерий БОЧКОВ

МОНТЕКРИСТО

Рассказ

Лутц всплыл на третьи сутки. Его прибило к берегу перед самым восходом. Около восьми, когда уже начало светать, на него наткнулся старик Юфт, а уже через полчаса к озеру высыпала вся деревня.

Рассвет не задался – розоватую перистую рябь облаков заволокло бледной мутью, небо отяжелело и навалилось на макушки сосен. Во влажной тишине тихо звонил колокол, и этот стеклянный звук лениво плыл по темной неподвижной воде, путаясь и умирая в молочном мареве дальнего берега.

Деревенские, хмуря серые от неудавшегося восхода лица, молча обменивались скупыми деревянными жестами, кто-то закурил, кисло пахнуло дрянным табаком. Старик Юфт продолжал что-то уныло бубнить, хотя его никто уже не слушал. Старик говорил и говорил, разводил руками, в которых по-прежнему сжимал самодельный гарпун и засаленную котомку с прикормом.

1.

Полина, вялая и злая, – она почти не спала той ночью, сразу догадалась, что случилось, едва завидев спешащих к озеру селян. Ее передернуло от внезапного озноба, ежась, она воткнула худые ноги в материны сапоги и, прогремев по доскам крыльца, стала боком спускаться к берегу. Оступившись на звонко скрипнувшей гальке, ойкнула и чуть не упала. Деревенские молча расступились, пропуская ее к воде.

Лутц лежал на спине, запрокинув голову и выставив вверх костистый кадык. На бледно-лимонной шее и подбородке чернела редкая щетина. Полину качнуло, кто-то сзади поддержал ее. Она подумала, что ее сейчас вырвет, она с трудом сглотнула кислую горечь и, сунув кулаки в карманы кофты, не глядя ни на кого, пошла вдоль берега, громко хрустя сырой галькой.

Полина вспомнила, как Лутц убил ястреба. Это было в середине августа, под вечер, стояла тихая погода, рыжее солнце уже садилось за высокие сосны. Лутц подмигнул ей, ловко вскинул «манлихер», и, улыбаясь, прицелился. Полина задрала голову. Птица выписывала плавные круги, вдруг дернулась, подпрыгнула и кувырком полетела вниз. Упав на дорогу, ястреб еще с минуту судорожно хлопал крыльями по пыльной глине. Полина, отчего-то на цыпочках, осторожно приблизилась к умирающей птице и, вытянув шею, заглянула в желтые глаза. Их уже затягивала мутная пленка. Лутц неслышно подошел и ущипнул ее за бок – Полина вскрикнула.

– Ну-ка, добей его! – Лутц весело кивнул на распластанную, пыльную птицу.

В клюве блестели розовые пузырьки, пуля пробила ястреба навылет, из раны вытекала темная кровь и, мешаясь с пылью, казалась обычной грязью. Полина испуганно замотала головой:

– Не надо, – тихо сказала она, – пусть... он сам.

– Эх, учи тебя, балерина... – Лутц махнул рукой и с задорной злостью припечатал каблуком голову птицы к дороге. Полина слышала хруст, видела, как Лутц после гадливо шаркал подошвой

Валерий Бочков родился в 1956 году в Латвии. Закончил художественно-графический факультет МГПИ в Москве. Профессиональный художник, основатель и креативный директор «The Val Bochkov Studio». Писать прозу начал в 2005 году. Рассказы публиковались в журнале «Знамя» (2011, 2012). С 2000 года живет и работает в Вашингтоне, США.

по траве. Потом, закурив, он поднял ястреба за крыло, раскрывшееся пестрым веером, и долго разглядывал мертвую птицу, щурясь от табачного дыма.

2.

Тем мартом Полине исполнилось четырнадцать, в движениях появилась плавность, подростковая угловатость чуть смягчилась, и хотя грудь уже проклюнулась, но оставалась до обидного плоской, хоть плачь. Она бросила балетный кружок, не спросясь, остригла волосы, тяжелые и густые, те, что парикмахеры зовут «сильный волос», а уцелевшую газонную колкость выкрасила в черный цвет. Тогда же она решила сделать татуировку на шее (японский иероглиф, означающий огонь), но в последний момент струсила, что будет больно, и ограничилась пирсингом в пупок.

В начале апреля, в пятницу, где-то в окрестностях Басры погиб ее отец, их конвой подорвался на мине, уцелевших бандиты добили из автоматов.

На поминках красивый плотный майор, бритый балтиец, угрюмо вставал, оттопырив мизинец, поднимал рюмку. Он строго говорил про мужество и долг, распаляясь и постепенно наливаясь красным, под конец внезапно замолкал, обводил собравшихся слегка удивленным взглядом и осторожно, как микстуру, выпивал водку.

Потом все разошлись, мать курила на кухне и, внимательно разглядывая белый кафель, жгла Полинины «Арабские сказки». Вырывая страницу, она подносила бумагу к синему пламени конфорки, лист вспыхивал оранжевым огнем, пламя жадно и легко проглатывало буквы, слегка задерживаясь на иллюстрациях – картинки горели не так споро, типографская краска потрескивала и дымила, окрашивая огонь в неожиданные и яркие цвета. Синдбад-мореход, сгорая, выпустил лимонный шлейф, Аладдин, прежде чем скрючиться черным пеплом, расцвел искристым фейерверком, лишь Багдадский Вор ушел тихо и без помпы, как и подобает вору.

Впопыхах продав квартиру, – мать теперь все делала лихорадочно, словно пребывала в некой бесконечной агонии, – они переехали сперва в Кронспилс, а после, по приглашению какой-то дальней отцовой родни, перебрались в пустовавший летний дом на берегу лесного озера под Лаукэ.

Дом оказался черной хибарой на окраине деревни, сонно сползавшей в темную, неподвижную гладь озера. Сквозь треснутое окно кухни Полина завороженно наблюдала, как мать с птичьей прытью голенасто вышагивала взад и вперед по кромке берега, мяла руки и с нервным азартом пыталась что-то втолковать своему невидимому и непонятливому собеседнику. Иногда в окне появлялся кто-то из деревенских, унылых и похожих друг на друга, словно спички из одной коробки. Молодых в деревне не было, старики могли бы сойти за умиротворенных пенсионеров, если б не оловянная тусклость глаз. Ни смеха, ни улыбок, скупость жестов и фраз. Полине, выросшей в городской стремительной и веселой суете, казалось, что деревенские давно сожгли всю свою жизненную энергию и продолжают двигаться лишь по привычке, бесцельно и бессмысленно, вроде фигурок в дрянной кукольной анимации.

За окном скользили солнечные пятна, гибко качались ветки ивы, в липкую дремоту заплывал горьковатый запах одуванчиков, горячей пыли и сохнущей на жаркой гальке тины. Очертания предметов теряли определенность, расплывались, таяли. Воздух дрожал над поверхностью озера, на том берегу в знойном мареве плавились раскаленные докрасна стволы высоченных сосен. Глаза закрывались сами собой, сквозь дрему доносился мокрый звон якорной цепи, вялый всплеск весла, тихая и прозрачная трель какой-то пичуги, высвистывающей все те же три бесконечных ноты.

Время обрело вязкость и утеряло смысл, за пыльным стеклом синели и удлинялись тени, в линялом воздухе одна за другой появлялись тусклые звезды. В густеющих сумерках профиль матери двигался взад и вперед, как жестяная мишень в ярмарочном тире, острым жестом мать тыкала и тыкала в кого-то погасшей сигаретой.

Озеро стало физической преградой, барьером, положившим предел ее суматошному побегу. Хрустя галькой, мать сновала по берегу, силясь найти выход из этой западни. В середине июня выход был найден – мать вскрыла себе вены.

Ее спасли. Четыре дня она пролежала в коме в местной больнице в Лаукэ, в понедельник ее перевезли в военный госпиталь Кронспилса.

3.

В яркий июльский день Полина возвращалась из Кронспилса. От автобусной остановки до озера надо топать еще шесть километров, сначала вдоль шоссе, после через поля.

Полина наступала на свою короткую тень, смешно прыгающую по сухой дорожной глине, над полями плыл жаркий дух горячей травы и яростный треск кузнечиков.

«Нужно запастись терпением», – нежно-бабьим голосом сказал толстый розоволикий врач, деловито перекладывая бумажки на столе. Сбоку в фальшивой золотой рамке сияла под стеклом карточка двух розовощеких пацанов и совершенно рыжей тетки.

«Нужно запастись терпением, – повторяла Полина в такт шагам. – Терпением... нужно... запастись». От повторения смысл из слов вытек, остались лишь звуки: первый рычащий, второй жужжащий и третий долгий и ленивый, как зевота.

Потом, сидя на горячих ступенях крыльца, она, аккуратно затягиваясь, выкурила подряд две сигареты. С непривычки голова поплыла.

Ловким щелчком сбив рыжего муравья с запястья, Полина повторила шепотом: «Нужно запастись терпением...» и вдруг с неожиданной ясностью осознала, что ее предыдущая жизнь кончилась. Все, что составляло ту, прежнюю ее жизнь, необратимо перешло в разряд безнадежного хлама.

Истина состояла в том, что на свете не существовало ничего, кроме озера, звенящего июльского зноя и бесконечного ожидания.

4.

За сараем, в крапиве, валялась лестница – самодельная конструкция из корявых осиновых чурбачков, кое-как вколоченных меж двух хлипких брусьев. В крапивных волдырях, сердитая, Полина все-таки вытянула лестницу к фасаду дома. Там, над фанерным козырьком крыльца темнело чердачное окно. Никакого другого лаза на чердак внутри дома ей обнаружить не удалось.

Наверху, в пыльной полутьме висел банный дух нагретого дерева. Протиснувшись на карачках вглубь чердака и отплевываясь от прилипшей к губам паутины, Полина наугад шарила перед собой дрожащей рукой, натыкаясь на загадочные предметы и ежась от мысли о затаившихся по углам крысах и змеях.

Ни крыс, ни змей обнаружить не удалось. Привыкнув к темноте, она огляделась – загадочные предметы оказались балками, трубами и пучками электропроводки. Изнанка крыши выглядела, как фанерный ящик, из нее торчали ржавые острия кровельных гвоздей. Полина, тронув гвоздь пальцем, удивилась, что не напоролась на один из них в потемках.

От духоты и пыли было трудно дышать, щекотная струйка, помедлив меж лопаток, скользнула вниз. Полина заметила теперь, как солнце, просачиваясь сквозь едва различимые щели, наполняло чердак сумрачным канифольным сиянием.

В дальнем углу темнел силуэт ножной швейной машинки, рядом лежал тощий солдатский матрац, на нем кучей были свалены книги и газеты.

Этому барахлу лет сто, восторженно подумала Полина, осторожно выуживая пыльную газету из стопки. Газета оказалась трехлетней давности. Книги огорчили еще больше – это были учебники по начертательной геометрии и черчению для первого курса.

Потная и уставшая, с паутиной и сухой мошкарой в волосах, Полина уже собралась ползти

назад, как вдруг заметила под самым скатом крыши длинный сверток в сером суконном одеяле, перетянутый бечевкой.

Полина быстро распутав веревку, развернула одеяло. Там был плоский футляр темного дерева с двумя чемоданными застежками. Щелкнув замками, Полина подняла крышку. Внутри на темно-зеленом бархате лежала винтовка. Рядом в подогнанных ячейках располагались шомпол, оптический прицел, две круглых масленки.

Подарочный набор какой-то, усмехнулась Полина, проводя пальцем по вороненому металлу ствола. Изгиб полированного ложа и узор вишневого дерева приклада напоминали антикварную скрипку. На бархате крышки сияло тисненое бронзой клеймо «Weichrauch & Weichrauch, Germany, 1924».

5.

Лутц появился в конце июля.

Тем днем с утра прошел дождь, но под вечер снова стало невыносимо душно. Полина скучала на ступеньках крыльца, наблюдая, как отражение заката в неподвижном озере постепенно наливалось малиновым, цвет менялся с торжественной медлительностью, словно декорация безмолвного спектакля. Сосновый бор на том берегу из фиолетового уже стал черным и превратился в глухой, плоский задник с затейливо вырезанным верхним краем. Перевернутая копия его тонула в темно-красной воде.

Лутц проверял верши на середине озера. Его темный силуэт в надувной лодке бесшумно скользил от поплавка к поплавку, он без единого всплеска выуживал вершу, ловко перекладывал рыбу в садок. Мокрая чешуя вспыхивала и гасла.

У Лутца было крепкое лицо римского легата, крупный нос с горбинкой – травма давних лет, о которых он не любил вспоминать. Он вообще был несентиментален, на прошлое взирал иронично и жадно жил исключительно в настоящем времени. Он считал себя удачливым, но успехи свои относил все-таки по большей части на счет железной хватки и врожденной интуиции.

Каждый август Лутц проводил в «своем волчьем логове», как с мрачным кокетством он именовал хутор под Лаукэ, купленный им за сущие гроши шесть лет назад и весьма успешно переделанный в охотничий дом, с непременным набором рогатых голов на дубовых стенах, большим камином из дикого балтийского камня и коллекцией марокканских ятаганов на траурном красно-черном арабском ковре.

Обычно хмурый и угрюмый, порой грубый, Лутц безусловно нравился дамам, за сумрачным фасадом им мерещилась строгая, одинокая душа, он слыл, что называется, «настоящим мужиком», дамы, закатывая глаза, произносили это, добавляя обязательно еще что-то про надежность.

Мнением дам Лутц не интересовался, уже лет девятнацать у него не было сомнений в собственной исключительности.

Каждый вечер после заката он неспешным брассом плавал в густой черноте остывающего озера. Потом, в банном халате вольного покроя, крепко топал голыми пятками по доскам открытой террасы, нависшей над отражением Млечного Пути, и медленно опускался в шезлонг. Забивал табак в трубку. Не думая абсолютно ни о чем, он любовался затейливыми кольцами карамельного дымка. Дым вился, лениво уплывал в темноту и таял, уплывал и таял. Изредка Лутц улыбался, щурился на робкие звезды и одобрительно им кивал.

6 .

Деревенские недолюбливали Лутца – на полнокровную ненависть у них просто не хватало жизненного жара, они с крестьянским высокомерием дразнили его «спортсменом», за глаза, разумеется. При встречах здоровались скупо, исходя темной завистью к тому естественному безразличию, с которым он относился к ним, безнадежно слившимся с местным пейзажем.

Исключение составлял Юфт, изгой и пьяница – его Лутц знал даже по имени. Пронырливый старик ведал, где накопать жирных красных червей, весело пляшущих на крючке, – за час полдюжины килограммовых лещей на утренней зорьке вам гарантированы. На его живца (малька он брал подъемником на дальнем ручье за мельницей) шел матерый голавль. Ему были известны все ямы и омуты, – в случае, если вас вдруг заинтересует налим. Юфт с неизменным успехом ставил рачевни, не брезгуя тухлой наживкой и приговаривая, что трупяк для рака, что сахар. Его раки были мосластые гренадеры, все, как на подбор, ядреные и злые, а сваренные с пучком укропа и лавровым листом божественно шли под ледяной «будвар».

Лутц фамильярностей не допускал, пьяница это чуял и соблюдал дистанцию. За услуги денег он не получал, Лутц, скорее всего, бессознательно (нелепо даже предположить, что он задумывался на эту тему) не платил старику, а бросал подачки: початую бутыль виски, надоевшую куртку, полпачки табаку. Старый пропойца репутацией не дорожил, на мнение селян плевал и охотно принимал подношения, мешая голландскую «амфору» пополам с вонючим самосадом и смакуя недопитый скотч.

7·

Ружье оказалось пневматической винтовкой. Из похожей Полину учил стрелять отец прошлым августом, когда они все отдыхали в Дзиеркале. Шептал ей в ухо: «Не дергай курок. Ласково спускай... ласково».

Господи, неужели всего год назад?!

Приладить оптический прицел так и не удалось, там явно была какая-то мелкая хитрость, а у Полины отношения с механизмами вообще не очень клеились.

Еще на чердаке нашлась обувная картонка, доверху набитая коробками с пульками. Пульки были трех видов: обычные свинцовые, как в том тире, блестящие шарики и острые стальные дротики с канареечной кисточкой на конце.

На опушке среди мохнатых одуванчиков Полина расстелила одеяло, достала ружье из футляра, на обломанный сук насадила недозрелую антоновку. Морща нос от вонючей машинной смазки, долго целилась, ерзая на животе и перебирая вспотевшими пальцами. Спустила курок. Промазала.

Ласково надо, подумала с досадой, ласково.

Второй выстрел чикнул по листве справа. Она перезарядила и выстрелила почти не целясь. Мимо, конечно, мимо.

Прикусив губу, она переломила винтовку, зарядила. Выстрел, и снова мимо.

– Эй! Меня это уже начинает раздражать, – громко заявила зеленому яблоку.

– Злиться при стрельбе – последнее дело, – у Лутца был жесткий латгальский выговор, он жевал травинку с пунктирной метелкой и жмурился на солнце.

Полина дернула плечом и, бросив винтовку на одеяло, фыркнула:

– Ружье кривое, – и отвернулась.

– Ну, это да... это уж как водится,– усмехнувшись, пробормотал Лутц, легко подкинув и влет крепко ухватил ружье за цевье. – Ох ты! Вайраух! Настоящее «монтекристо»! – разглядывая фабричное клеймо, изумился он.

– Монтекристо? – Полина повернулась вполоборота и скрестила голенастые ноги в комариных крапинках. – Граф?

Лутц, похоже, не расслышал, – увлеченно разглядывал ружье, ладонью провел по прикладу, залюбовался текстурой полированной вишни. Возникла и повисла пауза, заполненная стрекотом кузнечиков.

– Там еще прицел, оптический... я что-то не смогла... – сказала Полина, чувствуя неловкость и непреодолимое желание хоть что-то сказать.

– Где?

Полина раскрыла футляр.

Она сидела, неудобно выгнув спину, назло не меняя позы, и медленно наливалась ненавистью. В профиль Лутц напоминал ей того угрюмого пилота, который так лихо дрался в «Западне-2», а в конце, простреленный много раз, красиво умер, упав с жуткой скалы в бушующие волны залива.

На предплечье у него (у Лутца, не пилота) была выколота какая-то пятнистая ящерка, красная с черным. Лутц моментально приладил оптический прицел и тут же принялся старательно протирать его носовым платком. После долго настраивал, подкручивал, целился и снова подкручивал. При этом не обращая на Полину ни малейшего внимания! Безусловно, деревенские были правы, считая Лутца высокомерным хамом.

– Дай-ка пульку! – не глядя, потребовал он.

– Какую прикажете? – язвительно поинтересовалась Полина.

– Кисточку дай.

– Извольте!

Зарядил. Выпрямился, лихо, как в кино, крутанул «монтекристо», на стволе вспыхнул зайчик и прочертил круг. Широко двигая плечами, неспешно поднял винтовку. Словно собираясь играть на скрипке, нежно прижался к прикладу.

Полина перестала дышать.

Лутц застыл (ящерица на бицепсе тоже замерла), прицелился и спустил курок.

Яблоко разлетелось вдребезги.

– Ух ты! – вырвалось у Полины, но она тут же подобралась и, закусив губу, отвернулась.

Лутц ласково погладил винтовку, провел рукой по прикладу:

– «Монтекристо» – классика германской пневматики, чертовский элеганс!

– Воздушка, – буркнула Полина, – подумаешь, как в тире.

– Сама ты воздушка, – неожиданно горячо возразил Лутц, – из этой воздушки запросто человека можно убить. Если в глаз попасть. Или в ухо... Воздушка...

8.

Солнце завершало свою обычную возню с тенями, растянув их и покрасив сиреневым, – это за окном. В спальне медово плавился дощатый пол и горел белым угол простыни.

Полина выпотрошила на кровать материну сумку, содержимое сиротливо рассыпалось мелким мусором. Шариковая ручка, несколько тусклых монет, коллекция беспризорных ключей, окольцованных брелоком с Микки-Маусом.

Портмоне из кожи фальшивого крокодила сияло медной пряжкой на тертом боку, телефон, слепой как камень, – Полина пальцем потыкала, – мертв. В грязноватых футлярах неаппетитная косметика, – тут же с обезьяньей ловкостью были сочно намазаны губы.

Из записной книжки выпала семейная карточка в узоре трещин, призраки на ней полиняли, но продолжали вполне убедительно улыбаться на фоне каких-то пузатых балясин. Полина с трудом и без эмоций вспомнила: позапрошлый июль, пансионат на Липовой Горе. Странно, словно и не с ней это было.

Она пальцем погладила лицо отца, он смеялся и совершенно не подозревал о грядущих переменах. Полина долго всматривалась в фотографию, ей казалось, что она знает наизусть все движения этих губ, помнит назубок каждую искорку этих глаз, но чем дольше она всматривалась, тем страннее и незнакомее становилось лицо, постепенно став совершенно чужим. Полина прислонилась к стене, скривила рот, будто судорожно пытаясь что-то проглотить, потом бессильно сползла на пол и, уткнув лицо в острые колени, тихо завыла на одной ноте.

9.

Превосходная все-таки штука этот оптический прицел! Полина лежала на животе, пятна солнца едва заметно шевелились на сером одеяле, густо-зеленой траве, тепло щекотали спину. От жары и усердия ладони потели, их приходилось часто вытирать об одеяло.

В мутноватый глазок оптического прицела мир виделся отчетливо гладким, ненастоящим.

Припав к окуляру, Полина совершала плавные путешествия (плавная неспешность тут самое главное, стоит дернуть – и уже не понять, куда ты смотришь) – от шишки, что свисала с сосновой лапы, она спускалась по рыжим чешуйкам ствола, скользила по гальке к стеклянной воде, из плывущих зигзагов там торчали камыши, покачивая замшевыми сигарными макушками, к одной прилипла синяя стрекоза и тоже качается в такт, чуть дальше беззвучно плеснул хвостом окунь, и тут же брызнули врассыпную мальки. Стремительным демоном ворвалась и исчезла чайка. На том берегу по пояс в камышах скучал заезжий рыбак с удочкой, – деревенские удочек не признавали, промышляли сетями.

Справа камыши, пятнистый бор, дальше дом Лутца. Местные болтали, что у него там персидские ковры и гигантский камин, по бокам которого настоящие рыцарские доспехи из музея. Чушь, скорее всего.

Полина научилась лихо сшибать шишки, отец оказался прав, все дело тут в плавности спуска и твердости руки. Взяв цель в перекрестье, она делала вдох и мысленно повторяя: «Нежно, нежно...» на выдохе спускала курок. Нежно. Выстрел – шипящий поршневой щелчок, злой и звонкий, как удар плеткой, несильная отдача в плечо – и шишка, будто в цирковом фокусе, исчезала.

А в пятницу случилась беда – она подстрелила синицу. Полина сама не поняла, каким образом это произошло. Она лениво скользила по солнечным бликам и пятнам лесной черноты, набрела на роскошную глянцевую шишку, прицелилась. И в этот момент к боку шишки прицепилась проворная птица, ухватив ее тонкими лапками, начала резво шелушить клювом, выковыривая орехи и весело раскачивая из стороны в сторону. Синица смешно крутила головой, раздувала желтую грудь, сорила шелухой.

Вот ведь егоза, азартно подумала Полина, ради шутки стараясь поймать птаху в перекрестье прицела. Синица не давалась – пряталась за шишкой, висла вниз головой, отчаянно долбила клювом, взмахивая и помогая себе крыльями. Полина начала злиться, и когда синица, неожиданно замерев, подставила канареечную манишку в крест прицела, быстро нажала курок.

Полине показалось, что она ясно видела, как пуля пробила грудь птицы, как та дернулась и пропала. В прицеле покачивалась пустая шишка. Все это случилось почти моментально.

Полина отложила «монтекристо», встала, медленно пошла к сосне. Издалека увидела клок пуха и рубиновую кляксу на траве, она все еще надеялась на чудо – что она промазала, что ей показалось, что птица улетела, что... Синица лежала в траве, неуклюже растопырив крылья, одна лапка сухой веткой торчала вверх.

Полина поплелась домой. На кухне, порывшись в ящиках, вытащила картонку, остатки кукурузных хлопьев из нее пересыпала в миску. Ножницами взрезала верх коробки поперек морды веселого тигра, сопя и шмыгая носом, вырезала корявый прямоугольник. Внутри расстелила кусок ваты. Подумав, насыпала немного хлопьев из чашки.

Вышла на яркое крыльцо, потопталась на ступенях, словно пытаясь что-то припомнить, уходя, прихватила в сарае ржавую лопату с налипшей окаменелой землей.

На песчаном пригорке, среди узловатых корней сосны, была вырыта могила. Полина опустила коробку с птицей, пригоршнями засыпала песком. Утрамбовала ладошками аккуратный холмик. Из тесного кармана вытянула свечной огарок, зажгла, воткнула в макушку холма. Вздохнула, с сожалением подумав, что не знает ни одной молитвы. Не вставая с колен, подняла голову и уставилась в выцветшую от жары лазурь.

– Ага! Успел-таки к поминкам! – громко раздалось за спиной.

Полина обернулась, смутившись, грубо проворчала:

– Иди куда шел...

Лутц бодро присел на корточки рядом, медленно провел ладонью по самому пламени:

– Кто усопший?

Веселый, с крепкими как орехи костяшками загорелых рук, пахнущий свежим потом и чем-то парфюмерно-цитрусовым, Лутц, ухмыляясь, насмешливо разглядывал Полину.

– Не ваше дело, – смутясь еще больше, буркнула она и отвернулась, вдруг поняв, что он заметил ее заплаканные глаза и что именно этот факт веселит его больше всего.

– Я нечаянно ее убила, – пробормотала Полина, глядя куда-то вбок.

– Нечаянно убила? – развеселился Лутц еще больше. – Ну, это бывает, это не страшно. Реветь-то зачем?

Полина шмыгнула носом.

– Ладно, фроляйн, пошли, устроим достойные поминки твоему дятлу. Вставай, вставай...

– Это не дятел. Синица.

– О, синица? Тогда тем более!

10.

Никаких рыцарских доспехов не обнаружилось, а камин, да, камин был огромен. Во всю стену, выложенный серым булыжником. Дверь в дом была раскрыта настежь, с солнечной террасы комната казалась налита гробовой чернотой, там в густом мраке угадывались рогатые силуэты на стенах, моргали тусклые блики на хищных ятаганах.

А снаружи пекло. От гладких досок веяло полуденным жаром. Полина, заткнув незаметно пяткой шлепанцы под шезлонг и вытянув длинные ноги, шевелила грязными пальцами с облезшим розовым лаком.

Озеро за спиной оцепенело от жары и отливало ртутным блеском. Ни ветерка, ни облачка, ленивый августовский зной, плотный и недвижимый.

Полина мелкими глотками пила ледяной клюквенный морс, ухватив обеими руками большой потный стакан.

– Какая к черту справедливость, о чем вы, барышня, толкуете? – Лутц вернулся и, поставив на пол поднос, опустился в шезлонг напротив. Подмигнув, кивнул: – Налетай, пока холодная.

И сам, наклонясь, подцепил за черенок ядреную клубничину, макнул в белую гущу сбитых сливок и отправил в рот. Хвостик с зеленой звездочкой ловким щелчком пульнул через перила в озеро.

От свежего клубничного духа у Полины потекли слюни, она бойко ухватила пузатую ягоду, сунула в рот, за ней вторую, щекотный сок стек по подбородку на майку, на животе расплылись алые капли.

– Нечешно это, – жуя, попыталась Полина поддержать разговор, держа наготове уже следующую ягоду со сползающей сливочной шапкой. Сливки соскользнули и смачной кляксой шлепнулись на пол.

– Ыжвините, – смеясь клубничным ртом, прошепелявила она.

– Нечестно, несправедливо, – Лутц, сцепив пальцы, вытянулся в шезлонге. Закинул руки за голову, выставив бледные подмышки с пегим опереньем:

– А кто вообще сказал, что жизнь справедлива по своей сути?

Полина невнятно хмыкнула, шустро придвинув поднос и нацеливаясь на самую крупную из оставшихся клубничин.

– Я сам устанавливаю правила жизни, я им следую, я по ним живу. И если ты хочешь иметь со мной дело, соблюдай эти правила, – Лутц говорил и строго щурился на озеро.

Полина кивнула, налегая на сливки.

– Но если ты... – Лутц сделал зловещую паузу, Полина с набитым ртом удивленно спросила – я? Лутц махнул рукой. – Да нет, ты – стрекоза, причем тут ты? Я образно...

– Спасибо за клубнику, конечно, но я вам не стрекоза, – гордо выпячивая плоскую грудь с клубничными пятнами, проговорила Полина, тыльной стороной ладони вытирая рот.

Лутц взглянул на нее с непритворным удивлением:

– Нет? А кто ты?

– Я – Лина... Полина, – уже не столь уверенно проговорила она.

– А-а, понятно, – насмешливо протянул Лутц. – Полина-балерина.

У Полины вдруг похолодели ладони – когда-то, миллион лет назад, именно так ее дразнил

отец. Звякнула ложка, упав на пол, Полина подняла, положила на стол, глядя вбок спросила:

– А что это за ящерица?

Лутц, не понял, после, усмехнувшись, повернулся к ней округлившимся коричневым плечом – ящерка тоже округлилась, лоснясь красно-черным узором.

– Саламандра.

– Можно я посмотрю? – Полина приблизилась и, присев на корточки, стала разглядывать татуировку.

– Так нарисовано классно, – завороженно прошептала она, дыша в плечо Лутцу. – Пупырики здоровские! – Полина провела кончиками пальцев по татуировке, погладив саламандру по пятнистому красно-черному хребту.

Лутц вздрогнул и, смутившись, закашлялся.

– А пупырики, – спросила Полина, – это как?

– Бисер это. Под кожей, такая техника. В Гонконге... – отчего-то в нос проговорил Лутц, – там традиционные мастера... традиций... в Гонконге...

– А больно? – перебила она. – Пупырики эти, боль дикая, да?

– Я бы не сказал, – Лутц сглотнул и снова закашлялся.

11.

К концу августа пекло установилось адское. Небо вылиняло и казалось необитаемым, если конечно не считать осатаневших вконец слепней. Возвращаясь с автобусной остановки, Полина видела, как плавится знойный воздух над клеверными полями, высохшими в труху. На холме таял похожий на мумию силуэт унылой коровы.

Румяный доктор в Кронспилсе оказался полковником (отец научил ее разбираться в звездочках, сам он был майором). Доктор энергично шагал, потирая ладони, будто намыливал, поправлял какие-то бумаги и папки на столе, заглядывал в экран компьютера и снова шагал. И говорил, говорил, говорил. Его задорный оптимизм вконец напугал Полину, она молчала и лишь под конец спросила, причем даже не спросила, а просто тихо сказала: «Как же так? Ведь уже два месяца прошло».

А Лутц научил ее стрелять из «манлихера». Поначалу от отдачи ломило плечо и даже выступил синяк. Еще она выучилась закидывать спиннинг, далеко и метко. Крутила катушку упруго, без рывков, ведя блесну у самой поверхности. Запросто отличала теперь блесны-вертушки от блесен-колебалок, мастерски насаживала червей на крючок «бантиком» или «змейкой». Подсекала теперь, не дергая всей рукой по-крестьянски, а ловким кистевым движением: конец удилища пел кнутом, леска звенела, Лутц подмигивал и показывал большой палец, совсем как тот пилот, из кино.

Деревенские, казалось, жары не замечали, бродили в пыльных, земляного цвета кофтах и тупорылых сивых сапогах, ковыряли уныло-коричневые грядки или бесцельно блуждали по дальнему берегу, вспыхивая как маленькие солнечные человечки в мелочи рассыпанного прибрежного серебра. Вода под вечер на мелководье была как суп и казалась почти горячей, стайки тщедушных мальков – горошины глаз на желейной хребтинке – валандались из стороны в сторону, вместе с водным мусором и озерной травой. Иногда выплывали летние облака, курчавые и бестолковые, солнце, шутя, уклонялось от них, изредка хилая тень проскальзывала где-то на том берегу, по соснам или полям, но никогда здесь.

12.

Полина проснулась среди ночи, вся мокрая от пота. Духота стояла невыносимая. Прошлепав в полусне босыми пятками по дощатому полу, вышла наружу. Доски крыльца так и не остыли, она помедлила на ступеньках, покачиваясь спросонья и прислушиваясь, – ни звука. Лишь где-то в соседней вселенной с комариным усердием мчал поезд, вовсю работая локтями и прорываясь сквозь ночь. Это было едва слышимое, почти угадываемое движение, Полине представилось дремотно качающееся купе, сумрачное позвякивание ложки в стакане, желтые полосы света, плывущие по потолку, она подумала: вот было бы здорово, да и неважно куда...

Не додумав – мысль растаяла вместе с растворившимся звуком поезда, – Полина, зевая, спустилась к воде.

Берег озера и верхушки сосен казались присыпанными дымчатой пылью, над водой стелилась молочная муть тумана. Полина повернулась, из-за крыши высовывалась яркая луна. Стянув через голову липкую сорочку, она, осторожно ступая, вошла по щиколотку в неподвижно-теплую влагу. Остановилась, провожая взглядом лунные зигзаги, лениво покатившие к середине. Медленно пошла глубже, галька кончилась, пологое дно стало песчаным, плотным и ребристым, как стиральная доска.

Когда вода дошла до бедер, Полина присела и, чуть оттолкнувшись, бесшумно поплыла. Она скользила все дальше и дальше, плавно разводя руками, словно раздвигала тяжелый бархат. Полина опустила лицо в воду и открыла глаза. Она хотела нырнуть, но от непрогдядного мрака ей стало жутко. Вдобавок что-то мягкое коснулось ее икры, она вздрогнула и поджала ноги.

Рыба, маленькая рыба, плотвичка, – скороговоркой убеждала себя Полина, но в сознание уже с неспешной жутью добротного кошмара вплывали белотелые утопленники с цепкими пальцами и синегубые наяды.

Полина развернулась и, стараясь не опускать ноги на глубину, спешными лягушачьими гребками поплыла к сизой прибрежной полосе. Решилась встать, лишь когда рукой нащупала дно.

На берегу, взъерошив руками волосы, она искала ночную сорочку. Пыльный свет луны растекался мелкой рябью по чешуйкам гальки, Полина крутила головой, поеживаясь и ворча вполголоса.

Вдруг она ощутила чье-то присутствие, в тени сломанной ивы кто-то стоял. Она ничего не могла различить в темноте, но была уверена, что там кто-то прячется. Полина попятилась и уже хотела бежать к дому, как услышала:

– Думал, русалка. А это ты.

Из темноты в молочную муть лунного света выступил Лутц, он качнулся, словно оступившись, и со смешком добавил:

– А я вот сети, сети... проверял.

В руках Лутц комкал ее ночную рубашку.

Полина застыла, не зная, что делать, лишь прикрыла ладонями низ живота. Ее долговязое загорелое тело пересекали две дымчатых лунных полосы – поперек груди и на мальчишеских бедрах.

Лутц сделал еще шаг, он был одного роста с Полиной. От него пахнуло горьковатым трубочным табаком и озерной водой.

– Ты там не купайся, – сипло сказал Лутц, – там ключи. Там молдаванин утонул, дом мне строили когда. Так и не нашли...

Она почувствовала его руку на бедре. Луна качнулась, Полине почудилось, что берег дрогнул и поплыл. Тень от ивы загнулась и наползла на глаза, после, щекотно колясь щетиной, властно и горячо накрыла ее с головой.

В непроглядной тьме сонно зажигались и гасли зеленые шары, между ними, кружась в зачарованном танце, плавно плясал мертвый молдованин с белым как тесто лицом, задумчиво переступая босыми ногами и беззвучно прищелкивая в такт костистыми пальцами.

13.

Проснувшись поздно, Лутц, не открывая глаз, сонно потягивался под простынями, улыбаясь обрывкам ускользающего сна – снилось что-то зимнее и яркое, какие-то горы – он попытался припомнить что же там было еще, но вместо этого вдруг проступило лунное озеро, дымчатая Полина с двумя бледными полосками на загорелом теле. Лутц замычал, как от зубной боли:

– Ох, погано-то как получилось... – засунув голову под подушку, он зло хлопнул сверху кулаком.

– Сколько ей? Пятнадцать? Шестнадцать? – думал Лутц, – ох, погано, погано, как же погано... Надо срочно пойти к ней, поговорить, объяснить.

Лутц скинул ноги на пол, сел на кровати. С похмелья голова слегка кружилась.

– Ага, объяснить, баран старый, что там объяснять? – Лутц швырнул подушку в угол. – Что я ей скажу? – он снова замычал. – Неважно, неважно, надо пойти. Тем более, завтра уезжать, хотя... может, это-то как раз и к лучшему... Ох, как же погано вышло...

Внизу проблеял клаксон.

Лутц выглянул. Из машины выкарабкивался Балдонис, долговязый блондин с мелким птичьим носом. Раскинув пушистые, в рыжих веснушках руки, он зычно заорал:

– А вот и мы! Принимай гостей, волчище!

Лутц, выругавшись, пошел открывать.

С Балдонисом прикатили две девицы, сухощавая брюнетка, от которой попахивало чем-то горьковатым, как от пригоревшего батона, и задастая непоседливая блондинка по имени Марта.

На жаркой веранде сияла белая скатерть с пестрыми отсветами от стаканов. Брюнетка проникновенно обращалась к Лутцу, приближая оранжево-загорелое лицо, а Лутц, опять позабыв ее имя, рассеянно кивал и потягивал шампанское. Время от времени он щурился, пытаясь разглядеть что-то на том берегу.

Балдонис разложил свое мосластое тело в полосатой тени маркизы, на его золотисто-волосатых коленях егозила пухлявая Марта, она заботливо кормила его виноградом.

Уже оживленно планировались рыбалка и уха, брюнетка, поднимая к затылку руки и сияя сизыми подмышками, настаивала на купании и солнечных ваннах, Балдонис требовал стрельбы по мишеням, хищно поглаживая жирную ляжку капризной Марты. Марта капризничала и тоже желала что-то делать, но Лутц, уныло шпионивший за тем берегом, не расслышал, что именно. В любом случае день пропал, – думал он, – видать – не судьба.

К ночи были найдены, развешаны и включены разноцветные гирлянды, и веранда засияла, как сельская ярмарка под Рождество. Азартно хмельной Балдонис со страстным артистизмом, нараспев, словно декламируя древние саги, рассказывал какие-то презабавнейшие истории. К тому времени его уже никто не слушал: Марта стонала в туалете, ее тошнило, Лутц курил и, не таясь, мрачно глядел на часы. Безымянная брюнетка, ловко переплетя костистые ноги цвета копченой камбалы и придвинувшись к нему вплотную, многозначительно щипала его за ягодицу.

Гостей выставить удалось лишь заполночь. Лутц, с головной болью, ненавидя всех и себя, сорвал иллюминацию, скомкал провода и закинул в темноту, подошел к растерзанному столу, мимоходом пнув жалобно звякнувшее ведерко для льда, налил полный стакан коньяка, зло выпил и пошел спать.

14.

С другого берега всех нюансов было не разглядеть, даже если смотреть через оптический прицел немецкого производства, – жизнь на веранде казалась яркой и беззаботной. Почти что праздником. С пестрыми фруктами на солнечной скатерти и шампанским в искристом серебре.

А уж под конец, когда включились эти чертовы лампочки и веранда, засияв новогодней елкой, сказочно отразилась в озерной ряби, Полина не выдержала и разревелась.

Наутро она решила, что непременно должна этому мерзавцу все высказать. Не решив, что именно, твердо знала, что выскажет все – по крайней мере, скажет, что он мерзавец. В лицо! Чтоб знал! Скажет, что он – предатель, именно предатель! Она не могла, да и не пыталась объяснить логику своей правоты, она была просто уверена, что права. У нее текли слезы, она ожесточенно рылась в шкафу, вышвыривая оттуда на пол кофты, свитера и майки.

Лутц, мучимый похмельем, с отвращением собирал вещи в дорогу. Сверялся со списком, пил из горлышка холодную газировку, звучно рыгал и материл Балдониса, угробившего последний день отпуска. Про Полину он старался не вспоминать, вчерашний стыд, остыв, слился с мерзким похмельным настроением и уже не так донимал.

– И главное – без звонка! Вот ведь сука! – пыхтел Лутц, застегивая латунную молнию на пузатой дорожной сумке вишневой кожи, купленной им во Флоренции, в той лавке рядом с

отелем, что на площади с колоннами, где еще фонтан с бронзовым кабаном.

Грохнула дверь. Яростно протопав кедами по лестнице, в гостиную ворвалась Полина. Уперев кулаки в угловатые бедра, остановилась в дверях – сейчас все ему выскажет!

Лутц, в трусах, с мятым несвежим лицом, рассеянно обернулся, плюхнул сумку на стол, босиком прошлепал в ванну. Вернулся в халате, буркнул:

– Здорово, балерина.

Полина, увидев сумку, вздрогнула, но, тут же подобравшись, хрипловато спросила:

– Собираетесь, значит?

Лутц кивнул, хотел что-то сказать, тут зачирикал телефон, Лутц скорбно поднес его к уху.

– Не поверишь, мне эта курва всю машину заблевала, Марта, представляешь?

– Представляю, – могильно отозвался Лутц, – я в душе, перезвоню. Сунул телефон в карман халата.

– Урод, – зло пробормотал он, – погоди, я сейчас, – кивнув Полине, пошел на кухню. Он понял, что уже ничего не сможет объяснить или просто сказать Полине, что момент упущен, что надо было вчера, а сегодня лучше всего сделать вид, что ничего не было.

– Да, ничего не было, – бормотал Лутц, открывая холодильник. Оттуда пахнуло морозной гнильцой, Лутц поморщился и вытащил почти нетронутый торт – копченая девица обклевала сверху все цукаты, а так – как новый. Не найдя крышки, он бережно опустил торт в пластиковый пакет. Нырнув в холодильник, выгреб замшелый кус сыра с красным боком, пару вялых апельсинов, огрызок потемневшей на срезе салями. Подумав, решительно свалил все в мусорное ведро. С тортом вернулся в гостиную.

У Полины к тому времени незаметно улетучился весь кураж, прикусив губу, она сунула руки в задние карманы, не зная, что делать дальше.

Лутц протянул пакет:

– Держи десерт. Крышки нет, осторожней, там крем. Сверху. Розы.

Полина взяла, хмуро заглянула внутрь.

Вдруг Лутца пронзила досадная мысль, а главное, он был совершенно уверен, что и Полина подумала о том же, – что вот такими же подачками – объедками и обносками, – он платил пьянице Юфту за червей и раков.

Ох, нехорошо, нехорошо вышло, думал Лутц, соображая, как бы сгладить конфуз. Он нерешительно взял с камина бумажник, выудил четыре купюры, сложив их пополам, аккуратно опустил ей в нагрудный карман.

Полина вздрогнув, порывисто вскинула руку с тортом, словно защищаясь. Хватая ртом воздух и собираясь сказать что-то решительное, она вдруг поперхнулась и, громко всхлипнув, бросилась вниз по лестнице.

Выскочив на пятнистую от солнечных бликов площадку, она застыла на миг, после хищно метнулась к машине и, яростно раскрутив пакет, изо всех сил жахнула тортом по ветровому стеклу джипа. Пакет лопнул, и из прорехи по нагретому капоту поползла розовая гадость. Сверху в окно высунулся испуганный Лутц.

– Вы! – Полина в бешенстве топнула кедом. – Вы такая сволочь! Такая сволочь! – и, сжав кулаки, она побежала вдоль берега. Деньги, две бумажки по сто долларов, одну пятерку и одну десятку, она изорвала в мелкие клочья по дороге.

15.

Деньги, конечно, я зря давал, не так поймет, сопливая совсем, – досадливо думал Лутц, неспешно подгребая к поплавку дальней верши. – Ну да ладно – хорош об этом. Всё!

Заметив прилипший к воде желтый листок березы, вздохнул: вот и еще одно лето прошло. Да и быстро-то как...

Он сухо сплюнул в воду, к слюне тут же кинулись глупые мальки.

То ли дело в детстве, каникулы тянутся, тянутся, а тут – раз и все. Не успеешь моргнуть. Нуж-

но было Юфту верши поручить, еще вещи собирать, справился бы алкаш, да и не тащить же рыбу домой.

Лутц тут вспомнил, что Юфта зовут Сигизмунд, и улыбнулся, вот так имя досталось, а ведь и не человек, а сплошная насмешка, и ничего – коптит небо и в ус не дует... да уж, занятная штука – жизнь.

Он еще успел подумать, что надо не забыть слить воду из труб, в том году дал маху – все полопались к чертовой матери, пришлось менять. Не забыть. А в пятницу прилетает Храмов, из Лондона прилетает. Лиса и подлец Владимир Саввович Храмов прилетает из Лондона. В пятницу. Надо заказать тот японский ресторан, где с французами... Второй этаж, там, где эти... вроде как гейши. Они так занятно...

Лутц не успел додумать, что там так занятно, – он, перегнувшись, лег грудью на упругий резиновый борт, подтянул поплавок и ухватился рукой за скользкий капроновый шкот.

И в этот момент его оглушила жуткая боль, словно в ухо ткнули гвоздем. Он сжал голову ладонями и, задыхаясь от беспомощности, повалился на дно лодки. Слепящее солнце било в глаза, мозг налился тугим звоном. Лутц кашлял, яростно хрипел, силился встать и позвать на помощь. Ноги, не находя опоры, скользили по резиновому дну, лодка прыгала, плясали черные макушки сосен, небо темнело и гасло.

Что-то зашипело, злобно, с присвистом. Лутц без особого страха подумал о змеях, но тут же с гибельной ясностью ощутил, как борта лодки обмякли, а дно, внезапно утратив упругость, стало податливым и с достоверностью кошмара начало прогибаться и уходить вниз.

16.

Лутц всплыл на третьи сутки.

Той ночью Полина почти не спала, курила, неловко держа сигарету в трех пальцах, щурясь от дыма и закашливаясь. Она возбужденно бродила по кухне от двери к окну, хмуро поглядывая на озеро.

А утром, неожиданно сырым и пасмурным, она увидела его на берегу, – белое незнакомое лицо и особенно эти мраморные большие кисти рук, нелепо торчащие из рукавов, увидела столпившихся вокруг деревенских, мрачно торжественных, словно приглашенных принять участие в каком-то языческом жертвенном ритуале.

Потом Полина торопливо шла по гальке, спотыкаясь и шлепая тяжелыми сапогами, они были велики на два размера, а она и носки забыла надеть. Пестрые камни, ракушки, прибрежный мусор прыгали перед глазами, мельтешили, не в силах, однако, заслонить, стереть, перекрыть его лобастый профиль. Она подумала, что пока он там лежал, у него выросла щетина. Она всхлипнула и зло ударила кулаком по бедру.

Увидев впереди в камышах чьи-то удочки, Полина круто свернула и побежала вверх по песчаному откосу, увязая в осыпающемся песке и скользя по узловатым корням. Под соснами петляла тропа, блеклым пунктиром уползающая через потемневшие холмы до самого стыка с сырым морщинистым небом. На опушке Полина запуталась в сухой осоке, упала, до крови рассадив ладонь.

Сгорбившись на коленях, задохнувшись от бега и слез, она принялась колотить кулаком в высохшую глину. Слизывая грязь и кровь, сердито плюясь розовой слюной, Полина орала в серые, оцепеневшие поля: «Дурак! Вот дурак! Ведь сам виноват! Сам!»

17.

Расплаты за тропический август ждать долго не пришлось, весь сентябрь лил занудный дождь, а в начале октября врезал такой мороз, что озеро замерзло за одну ночь.

Ей удалось раскопать в кладовке допотопный обогреватель с мятой тарелкой и спиралью, которая раскаленно пылала оранжевым, но всерьез изменить температуру в комнате не могла.

Когда выпал снег, Полина наконец решилась затопить печь – чугунную уродину, пугавшую ее кривыми вурдалачьими ножками и совершенно реальной возможностью угореть. Она волоком

притащила на одеяле дрова из сарая, намяла бумажных комков, растерзав пару латышских книг по садоводству. Спички ломались и гасли, потом оказалось, что нет тяги, это уже когда по комнате поползли пласты сырого дыма и вонь жженой бумаги.

Наконец сообразив, как повернуть заслонку и открыть печную вьюшку, Полина все-таки развела огонь. Пламя, шустро проглотив наставления по культивации георгинов, нерешительно перебралось на дрова. Полина, скрючившись и молитвенно замерев у раскрытой топки, наблюдала с первобытным восторгом за крепнущим огнем, уже бойко плясавшим по поленьям.

Раскрасневшись от печного пекла, с горящими щеками, она сделала еще пару вылазок за дровами. Снаружи быстро темнело, в прореху над соснами брызнуло алым и тут же, словно испугавшись, погасло, тугой ветер закручивал и гнал по застывшей воде озера затейливые смерчи, начиналась метель.

18.

Полина проснулась заполночь в жару, ее знобило. Ветер терзал сосны, хлопал чердачным окном, ей казалось, что там наверху кто-то скребется и стонет. Она застыла, уставившись в потолок, по которому багрово бродили дремучие тени от умирающих в топке углей. Обратясь в воспаленный слух, она услышала, как ухает ее сердце, – боже, такой грохот, – наверняка, тот на чердаке тоже слышит этот набат. Недаром замер. Вот гад! Тот, осмелев, нагло протопал в угол и там начал скрести железным когтем. У Полины от ужаса свело кожу головы.

– Эй! – неожиданно громко крикнула она.

Наверху что-то испуганно стукнуло, словно уронили толстую книгу, потом скрипнуло, потом звуки оборвались.

Затаился, гад, выжидает, Полина вытащила из-под кровати «монтекристо», попыталась зарядить, деревянные пальцы не слушались, скользили по маслянистой стали. Обессилев, клацая зубами и трясясь всем телом, она торопливо зарылась в одеяла. Вой ветра, мерный скрип сосен постепенно обрели цвет и пенистость морского прибоя, добавился южный зной, звон цикад и еще что-то беспощадно желтое с синими колючими тенями пальмовых вееров, из которых вразвалочку вышел Лутц в белоснежной капитанской форме, с кортиком на боку и трубкой в крепких зубах. Полине никак не удавалось заглянуть ему в глаза, мешала тень от козырька его роскошной фуражки с золотыми листьями, желудями и якорями. Закусив мундштук и, то ли скалясь, то ли усмехаясь, Лутц протянул руку и произнес:

– О, Вайраух! Чертовский элеганс.

Полина попятилась в сторону прибоя и кричащих чаек, отрицательно качая головой и пряча «монтекристо» за спину. И проснулась.

19.

Угли погасли, горько пахло сырой сажей. Сизый, сальный сумрак втекал в окно, мутно намечая очертания скучного утра. Дымчатая хмарь беспомощно утопала по углам в густых провалах ночного мрака.

Полина, выползла из-под сбитых в ком тряпок и одеял, тяжко, по-старушечьи, опустила ноги на пол. Переводя дыхание, боком привалилась к стылым подушкам, безразличным взглядом обвела комнату. Шатаясь и ловя рукой стену, натянула на себя куртку, из рукава свесился желтый шарф, Полина зло выдернула его и намотала на шею. Вернулась к кровати, из вороха уже остывших тряпок вытащила винтовку.

В первый момент у нее так закружилась голова от звонкой, холодной свежести, что она даже не заметила, что метель закончилась, вздыбив на память гребни сугробов по берегу и расчистив до матового блеска застывшее озеро.

На ощупь ступая по ускользающему прозрачно-серому спуску, незнакомому и чужому, Полина дошла до края, здесь когда-то начиналась вода. Осторожно поставив ногу на лед, медленно

перенесла тяжесть и сделала шаг. Остановилась, глядя вниз. Там, в бутылочно-голубом стекле застыли пузырьки летнего воздуха, ярко-зеленая озерная трава, ажурная чешуйка сосновой шишки.

Кусочки того августа, только об этом, чур, не думать, – строго приказала себе Полина, вспомнив, зачем пришла.

Слабая, пьяно переступая ватными ногами, она двумя руками ухватила «монтекристо» за ствол и, неуклюже размахнувшись, швырнула. Ружье лед не пробило, звонко ударившись, закрутилось и заскользило к середине озера.

– Нет, так не годится, – пробормотала Полина недовольно, – там он его сразу приметит.

Она, опасливо скользя и расставив руки, будто канатоходец, приставными шажками, медленно стала продвигаться к ружью. Лед едва слышно потрескивал, как семечки на сковородке.

Дошла.

Осторожно склонилась, на сталь ствола сизой пылью сел иней. Тронула пальцем – появилось овальное оконце.

Подо льдом вдруг прошла тень. Полина встала на колени, закрывая ладонями свет с боков, уткнулась носом. В зеленых потемках, бездонных и почти непроглядных, кто-то проскользил с тягучей неспешностью, бледно сверкнув белужьим брюхом. Там кто-то, с грацией матадора, закручивал в ленивые спирали тяжелые черные ткани, изредка загоралась пепельная подкладка, иногда проскальзывала багровая или песчаная лента.

Полина уже не чувствовала холода. Ей стало вдруг ясно, что все утро она пыталась что-то мучительно понять и вот сейчас она найдет подсказку. Она вспомнила то давнее детское ощущение – стоит заглянуть в трубку калейдоскопа –и весь реальный мир тут же испаряется, и уже нет ничего важней божественно сверкающей вселенной из разноцветных стекляшек и зеркал.

Она, похоже, даже угадала ритм озерного танца, плавники (или крылья?) торжественно поднимались и опускались в такт, от них вверх неслись воздушные пузырьки, Полина была уверена, что видит стайку мальков, повторяющих затейливый танец, вот барином проплыл тонкогубый судак, вот блеснул латунным боком полосатый окунь. Лещ – кованый блин – пускал зайчиков, слишком увлекся световыми эффектами и в такт никак не попадал.

Ей наконец удалось разглядеть и самого танцора, тот всплывал, плавно кружась. Венок из скользких матово-стеклянных лилий, мадьярские плутоватые глаза без блеска. Бледной рукой он поманил Полину и заскользил к середине озера.

Полина поднялась, посмотрела. Там, морщась легкой рябью, чернела полынья.

– Ключи, – вспомнила Полина, – там не отыщет.

Взяв «монтекристо» под мышку, она пошла в сторону незастывшей воды. Вот зашуршала под ногами сырая каша, лед здесь был матовый, свинцовый и тонко пищал, будто кто-то ерзал на соломенном стуле. Полина остановилась, не замахиваясь кинула «монтекристо» в полынью, ружье без всплеска ушло под воду.

Полина подышала в озябшие ладони, сжав кулаки, сунула руки в карманы. Устало повернула назад.

Треснуло тихо, словно сломали гнилой сук. Полина ойкнула, берег и сосны взлетели как качели, она не успела испугаться, а лишь удивилась, что вода не такая уж холодная.

Шарф, зацепившись за край, другим концом неспешно змеясь, желтел в воде. Сырой воздух уже светлел, над озером занималось скучное балтийское утро.

Вирджиния, 2011

Александр ТИТОВ

АНОНИМУС

Повесть

Одиночество партийного активиста

«Всякая воспитательная работа бессмысленна ввиду своей последующей безрезультативности...» – записал Пал Иваныч, глубокий старик, дикарь-революционер, самоучка во всех вопросах. А запись была сделана не чем-нибудь, но старинным послюнявленным химическим карандашам на полях самой толстой в мире книжки – «Капиталом» называется.

Вздохнул, потянулся хрусткой жилистой рукой, открыл скрипучую створку окна, впуская в низкопотолочную хату свежий августовский воздух. Втянул носом: вокруг и с околицы доносился запах сена. Это означало, что безыдейная сельская жизнь продолжается своим чередом. Никакие крепостные права, революции, перестройки и программы, никакие «капиталы» не в силах изменить заведенную череду этих дней, наполненных мычанием коров и звонкими голосами деревенских баб, вышедших «под стадо» встречать своих буренок.

Правда, коров последнее время мало на улице осталось – раз-два и обчелся.

А под потолком уже загудело, запищало – комары, контра летучая! Эти вредные твари цапают своими пастями за все открытые места тела, причем очень больно, как и во времена Пал Иванычевой юности, когда он выводил здешних девок ради непринципиальной прогулки за гумна, в рощицу, где трава до сих пор мягкая, а прежние дубы стали в два обхвата, но рощица стала редкая – спилила лес мужицкая вороватая анархия на собственные нужды.

Пал Иваныч, ойкнув пару раз от комариных укусов, поднял обеими руками тяжелую книгу и запустил ею во вредных насекомых, надеясь таким образом истребить хотя бы половину этой вредоносной тучи. Вот вам, гадам, научный ответ!

Комары дисциплинированно, под зудящую команду своего крохотного начальника, расступились, и научный снаряд пролетел мимо, не причинив им вреда.

Старик гневно запыхтел. А поругаться не на кого. Жил когда-то в хате поросенок по кличке Инструктор – украл какой-то проходимец, прикинувшийся пролетарием. Этот тип ночевал в хате ветерана двое суток, пил и ел за счет старика.

В пустой клетке, висящей под потолком, проживал некогда шустрый зеленый попугайчик Гоша, его соседский кот сцапал, белый гад, в черных оппортунистических пятнах.

Явление Анонимуса

На следующее утро, часов этак в девять, в расхлябанную дверь сеней кто-то негромко, хотя и уверенно, постучал.

Александр Титов родился и живет в селе Красное Липецкой области. Автор шести сборников рассказов и повестей, выходивших в разные годы в Воронеже и Липецке. Публикации в журналах «Подъем», «Север», «Новый мир», «Новый берег», «День и ночь», «Зарубежные записки». С 1990-х годов постоянный автор журнала «Волга».

Пал Иваныч пробурчал спросонок: дверь всегда открыта. Он жил принципиально бедно, в поселке его почитали за юродивого, хотя на фронтах гражданской войны он был страшен для многих групп населения.

«Никакого капитала, кроме “идологического”, мне не надо», – говаривал старик.

– Кого там черт несет? – Пал Иваныч спал одетым поверх одеяла. На груди его вздымался тяжелый, раскрытый посередине том «Капитала» – читал до полуночи.

Проснувшись, старик грубо сбросил книгу на пол, свесил ноги на доски, которые так давно не мылись, что покрылись земляными шишками.

– Заходи! Открыто всегда! Пролетариат замков не признает.

Дверь заскрипела, и на пороге маленькой комнаты, возле старой печки – потрескавшуюся стенку подперли железным штырем, – возникло странное существо, одетое в потрепанный джинсовый костюм. И кроссовки не новые, замызганные. А вот лица у него почти что и не было – так, нечто неопределеннее, округлое, со щелью вместо рта. Зато глаза серые, отчетливые, с блеском, сильно утопленные в прищуре ресниц. Взгляд торопливый, ухватистый, словно у курицы, которая и боковым зрением видит всякое завалящее зернышко.

– Ты чего поглядываешь этак? – спросил Пал Иваныч, с кряхтеньем наматывая на левую ногу портянку.

– Как? – уточнило существо.

– Да вот этак... буравчато? – старик управился со вторым сапогом, встал во весь тощий рост. Он сообразил, что перед ним необыкновенный тип, из тех, что в каждом простом слове ищут скрытый смысл, а выгоду стремятся найти даже там, где ее вовсе и нет. Это был не кто иной, как провинциальный российский проходимец Анонимус, делец не очень высокого сорта. После августовского переворота такие Анонимусы сильно оживились и даже приобрели некое подобие собственного взгляда, хотя не утратили привычку смотреть наискосок. Устройство их организма непонятно, происхождение неведомо. Их вроде бы не было, и вдруг сразу объявились. Такие типы и разговаривать как следует не умеют: одни лишь короткие фразы, перемежаемые вздохами – всегда с намеками, с хитрецой. Кратчайшая улыбочка молниеносно возникает на сером пустом лице, и тут же гаснет.

– Я – новый «купец»! – он протянул Пал Иванычу удостоверение, отпечатанное на клочке серой оберточной бумаги: нечто среднее между мандатом и визитной карточкой.

Старик пыхтел, вглядывался в тусклый шрифт, в неясный герб фирмы, расплывшийся от плохой синей краски, ничего не разглядел, швырнул бумагу на пол.

Анонимус торопливо поднял удостоверение, стряхнул с него пыль, свернул аккуратно, положил в нагрудный карман пиджака.

– Ты, случаем, не сынок Тазикова? – Пал Иваныч пристально вглядывался в неясные черты лица незваного гостя.

– Незаконнорожденный! – подтвердил Анонимус с легкий почтительным поклоном головы.

– Молодой Тазиков согрешил и родил меня всей своей системой... И вам, уважаемый Пал Иваныч, я прихожусь самым настоящим правнуком.

– Молчать! – приказал Пал Иваныч. – У меня никогда не было детей.

– Это не имеет значения, – взблеснул взглядом Анонимус, – но отказаться от родства со мной вы не можете. У меня есть на это все доказательства и документы. Я знаю, что мое появление на свет ваше поколение не планировало, но вот он я, перед вами! Теперь и государство со мной считается, делает на меня ставку.

Пал Иваныч наклонился, поднял увесистый том «Капитала», сделал два шага по направлению к гостю, но тот сразу догадался о его намерениях.

– Положите книжечку на место... – Анонимус защитительно вытянул вперед руки, зашевелил хваткими серыми пальцами. – Она вам больше не пригодится. Есть более современные экономические учения, я со временем ознакомлю вас с ними.

Старик вздохнул, положил «Капитал» на этажерку.

– Чего тебе надо? – спросил он хмуро.

– Вы, Пал Иваныч, истинный творец социалистического общества. От имени старого большевика обязаны дать мне моральное благословение. Дело простое: вы должны показать мне территорию нашего района, где я собираюсь заняться куплей-продажей всего на свете.

– Воров и без тебя хватает, – пробурчал старик.

– Я буду брать прибыль культурно и на законных основаниях, – заверил Анонимус.

– Что я, поп, что ли, чтобы давать благословение? – хмыкнул ветеран. – Проси благословенно у своего напаши Тазикова, если так уж приспичило. Не понимаю, зачем жуликам нужно моральное наставление старших?

– Я не жулик, – обиделся Анонимус, – просто я хочу заняться перепродажей товаров оптовыми партиями с пользой для населения, изнывающего от дефицита всего. У вас в магазинах даже водки нет!

– С проходимцами никаких делов не имею! – твердо заявил старый большевик. – Я отвечаю целиком лишь за невыполненную идею счастья и за жизнь Богини Революции, которая каменеет и может превратиться в столбовую красавицу на холме.

– Часть ваших идейных усилий мы, новые идеологи, берем на себя без всяких процентов и доплат. Мы освобождаем от ответственности прошлые поколения и вас лично.

– Вот я тебя сейчас освобожу... – Пал Иваныч схватил свою любимую ореховую трость, на которую он опирался при ходьбе, замахнулся на Анонимуса.

– Мы не боимся таких щелчков! – Анонимус, однако, поспешил увернуться от удара. – Мы ребята крутые, знакомы с каратэ. За нами киллеры с оптикой охотятся, а твой старческий костыль нам и вовсе не страшен.

– Чего же ты хочешь? Отвечай, человек без лица?

Анонимус приблизился к мутному растрескавшемуся зеркалу, висевшему в простенке между окон, внимательно всмотрелся в свое отражение.

– Я себя вполне конкретно вижу в качестве юридического и материально-ответственного лица. – Он приосанился, одернул пиджачок, прошуршав для убедительности бумагами, которыми были набиты все его многочисленные карманы.

Лицо безликое, но хищное. Помимо тонкой складки рта, способного открываться, видимо, очень широко, имелись также дырочки носа, все время шевелящиеся и будто постоянно принюхивающиеся к окружающим предметам. Этими дырочками Анонимус невольно потянулся к левому карману Пал Иванычевой гимнастерки, где лежала пачка сторублевок – остаток недавно полученной пенсии.

– Мы с вами. Пал Иваныч, должны подписать малюсенький договорчик о моральном одобрении всех моих действий и начинаний, – настаивал Анонимус.

– А ты случайно не контра? – всматривался в него Пал Иваныч. – В гражданскую тебя бы за одну твою непонятную физиономию сразу к стенке!

– Что вы, дедушка, какой же я контра? Я здешний человек, к тому же ваш родственник и правопреемник.

– Хорошо... – медленно проговорил Пал Иваныч, снимая с гвоздя свою засаленную фуражку-сталинку. – Я разберусь? Но разборка будет не по вашему бандитскому жаргону, не «крутая», но великая и страстнотерпкая: в историческом масштабе и по существу!

Выход на оперативный районный простор

– Ты мне здорово помешал в данный вдумчивый момент! – вздохнул Пал Иваныч, выводя Анонимуса в палисадник. – По итогам чтения Маркса и собственными соображениями я собирался написать научную статью под названием «Кретинология» или «Смысл влекущей алчности».

– Оба названия неудачны, – заметил Анонимус. – Желательно вставить слово «прогресс» или «цивилизация».

– Я не собираюсь оскорблять человечество, – объяснил Пал Иваныч. – Мне нужны тезисы современной жизни.

Толкнули расшатанную калитку, сколоченную из кривых лозиновых жердей, перешли через дорогу и тут же, под сиреневым кустом, увидели странного типа, который в свою очередь смотрел на них и глупо улыбался. Волосы на его голове были сильно всклокочены. Было понятно, что этот человек если и не пьян, то уж точно с сильного похмелья. Ноги его врастяжку лежали на траве. На одной был резиновый худой сапог с торочащими из прорехи грязными пальцами, на другой новенький ботинок капитального армейского образца, зашнурованный почтовым шпагатом.

– Эй!.. – окликнул он путников.

– Не связывайтесь с ним, – шепнул на ухо Пал Иванычу Анонимус. – Это мой конкурент. Вот уж он-то настоящий жулик. В нем ни капельки заботы о будущем процветании народа, а на могущество Родины ему и вовсе наплевать.

– Стойте, мать вашу... – выругался сидящий и обеими руками еще сильнее взлохматил свои влажные от росы, спутанные волосы. – Разговор есть.

Пал Иваныч остановился напротив сидящего с таким видом, словно собирался ударить палкой.

Брюки у незнакомца были новые, коричневые, со стрелкой, в налипших молодых репьях.

– Купите, господа, корабль! – предложил он заплетающимся языком. – Вот документы. – Он вытянул из кустов неловким движением маленький школьный портфель с заржавленным замком. Запыхтел, пытаясь открыть его. Замок не поддавался. Подвыпивший тип перевел дыхание. По лицу его обильно струился пот. – Может, у вас сто граммов найдется? – умоляюще взглянул он на Пал Иваныча. – Я слышал, что вы добрый и щедрый ветеран. Ваша слава гремит на всю округу.

Пал Иваныч приосанился, но заявил, что опохмеляет только своих друзей.

– Мы вполне можем стать друзьями, если вы купите у меня корабль. Любой продам: хоть танкер, хоть миноносец...

Незнакомец сделал еще одну попытку открыть портфельчик, и на сей раз пот пробил его еще обильнее, капли помутнели.

– За сто грамм всю Россию продам! Если желаете, могу предложить самолет. Наша фирма продает самолеты, считай, задаром. Любого типа и назначения. Доставим прямо сюда, на выгон. Сядете в персональный истребитель и полетите бомбить любой ненавистный вам объект. Оформляем самолеты как лом цветных металлов – берите, не пожалеете.

И опять, в который уже раз дернул крышку портфеля, надеясь сорвать упрямый замок – опять без успеха.

– Какие самолеты? Какие корабли? – уставился на него Пал Иваныч. – Ты что, дурак?

– Не связывайтесь, Пал Иваныч, вас надуют... – Анонимус тащил старика прочь за рукав гим-

настерки. – Вы ему нальете сто грамм, а он вам и ржавого болта не принесет. У них несолидная фирма.

– Могу продать атомную подводную лодку, – лицо похмельного человека то бледнело, то покрывалось бурыми пятнами. – Есть ракеты и торпеды на любой вкус. Но это уже за СКВ.

– Что такое СКВ? – хмурился старик.

– Водка, самогон... И прочая валюта.

Незнакомец не успел объяснить подробнее, потому как Пал Иваныч принялся размеренно охаживать его палкой.

– Так его! так! – радовался Анонимус, и потирал ладони. Он поддал ногой тощий школьный портфельчик, отлетевший на середину дороги и распугавший кур, купавшихся в пыли. Куры с кудахтаньем разлетелись во все стороны.

– Идемте, Пал Иваныч! – торопил Анонимус. – У нас мало времени.

Деревня Трезвиловка

Из-за угла саманного сарая выскочил заплаканный мальчишка. Он собирался удрать, но Анонимус цепко схватил его за воротник рубашки. На вид ему было лет двенадцать. Сквозь слезы он заявил, что не желает больше никуда записываться.

– Да кто же тебя куда записывает, сопляка этакого? – удивился Пал Иваныч.

Мальчишка сообщил, переставая всхлипывать, что только на прошлой неделе его записали в тринадцать различных партий, и каждая партия грозится высечь за неуплату членских взносов.

– Парторг Тазиков что говорит?

– Ничего пока... – Мальчишка облегченно переводил дух, шмыгал носом. – Он пока готовит меня на кандидатский стаж, а я даже пионером не успел побывать.

– Успеешь, – заверил Пал Иваныч, погладил его по вихрастой голове. – Тазикова не слушай – это больной человек. В каждой партии есть ненормальные люди. Я распускаю все эти двенадцать партий, понял? Их нету!

– Ага! – обрадовано кивнул головой мальчишка.

– Нету.

– Да, это несущественно, есть кто помимо нас, деловых людей, или нет! – подтвердил Анонимус. – Мы не смотрим на политическую окраску. Но если ты, паренек, хочешь заняться особой деятельностью по разрушению всего старого, я занесу тебя в список сочувствующих прогрессу. Могу выдать лицензию на торговлю. Торгуй, чем хочешь! Можешь продать этот сарай, хлев, дом, родителей, а проценты перечислишь мне вот по этому счету...

Анонимус записал фамилию мальчишки в список сочувствующих свободному предпринимательству и выдал номер счета для перечисления процентов с продажи всего.

Пал Иваныч вырвал из рук подростка бланк, отпечатанный на желтой оберточной бумаге, порвал его в клочки.

– Ты, мальчик, помни о революции, о славных делах поколений. Жуликам не верь и никаких бумаг не подписывай.

Мальчишка благодарно всхлипнул и убежал, выбрасывая на ходу разноцветные членские билеты, разлетающиеся словно бабочки.

– Вот и закончилась многопартийность в деревне Трезвиловка! – облегченно вздохнул Пал Иваныч. – Будем опять строить однопартийную систему.

Он узнал старый бревенчатый амбар без крыши и с обгорелыми до черноты стенами. Здесь когда-то Пал Иваныч, начальник продотряда, хранил конфискованное у кулаков зерно.

Возле стены, на солнечной стороне показался человек в грязном медицинском халате и самодельной чалме, состроенной из вафельного полотенца. Халат и чалма были сплошь облеплены жужжащими мухами.

– Кто таков? – грозно спросил Пал Иваныч. – Предъявите, гражданинчик, документы на право сидения в центре деревни.

Незнакомец показал замызганное удостоверение Великого Мага и Чародея, выданное Всемирным обществом знатоков тайной жизни Вселенной.

Пал Иваныч долго вчитывался, шевелил губами. Ничего не понял, зашвырнул удостоверение в крапиву.

Возле ног чародея стояли трехлитровые банки с «магнетической» водой. На картонке намалевана цена каждой банки – триста рублей. Вода была налита давно, в банках завелись жирные головастики. По всему было видно, что «магнетическая» вода не пользуется среди трезвиловцев великим спросом.

– Ты почему все время молчишь? – спросил Пал Иваныч у чародея.

Анонимус пояснил, что все волшебники, даже халтурные, предпочитают помалкивать для особой важности.

Старик ткнул чародея гвоздевым концом трости, тот отчетливо воскликнул: ой! И вполне прилично выругался.

– Не желаете покупать воду, так убирайтесь к... – чародей открыл наших путешественников отборным матом.

– Ты хотя бы воду поменял! – сделал ему замечание Анонимус. – Ты своей продукцией позоришь частную торговлю.

– Зачем же ее менять, если она «магнетическая»? – обиделся чародей, лениво отгоняя мух. – Я вложил в эту воду свое биополе. А биополе нынче в цене.

– Это верно, в цене, – согласился Анонимус. – Но из-за головастиков ты можешь потерять свой имидж.

– Я вот ему отрежу кое-что поважнее имиджа, – пригрозил Пал Иваныч. – Я не позволю ему дурачить народ.

Старик носком сапога опрокинул поочередно все банки. Пузатые головастики корчились на влажной земле, трепетали мокрыми хвостиками.

– Что вы наделали? – заныл чародей. – Где я возьму новое биополе? Кто оплатит мне затраты?

Посреди деревни, возвышаясь над старыми домами, сияло здание из стекла и бетона, в котором Анонимус насчитал двенадцать этажей. Здесь размещалась фирма новой трезвости «НЕ». Над плоской крышей здания был укреплен огромных размеров лозунг:

АЛКОГОЛИЗМ – ЭТО ДЕНЬГИ!
ЛЕЧЕНИЕ ОТ НЕГО ОБХОДИТСЯ ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ! УСЛУГИ ПО ОПОХМЕЛЕНИЮ И ВЫТРЕЗВЛЕНИЮ!
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ИМОРТНОГО СПИРТА ПО ДЕШЕВЫМ ЦЕНАМ!
ГРУППОВОЕ КОДИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ!
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ФИРМЫ «НЕ»!

Пал Иваныч сокрушался, что растратил запасы патронов в гражданской войне. Знал бы, что так дело обернется, сделал бы стратегический запас по случаю возврата буржуазии.

К подъезду здания то и дело подъезжали автомобили разных марок, из которых выходили служащие с папками и дипломатами. Светящееся табло регистрировало ежеминутно количество самогона в граммах, выпиваемое на территории деревни Трезвиловка. Цифры сменялись с поразительной быстротой в сторону увеличения: новый день подходил к полудню.

– Круто поставлено дело! – позавидовал Анонимус. – Замечательное учреждение для отмывания денег.

– Человеческую подлость в мировом масштабе не отмоешь и не отчистишь! – вздохнул старик, глаза у него зачесались.

Анонимус зашевелил своими нюхательными дырочками – почуял дымок! Где-то в деревне готовили еду.

– Пора бы перекусить! – вздохнул Анонимус.

– Вот зайдем в буфет к тете Клаве, тогда и перекусим, – сказал Пал Иваныч. – Заодно и пивка попьем.

Во всех окнах двенадцати этажей виднелись силуэты служащих. В основном, это были дамы разных возрастов. Большинство из них занимались вязанием, некоторые пили чай с печеньем и бутербродами.

Внезапно из зеркальных автоматически открывающихся дверей вывалились два разных человека.

Один, с виду начальник, шел позади подчиненного, подгонял его командами. Подчиненный, в свою очередь, брел впереди с тяпкой в обвисшей руке.

– Куда вы гоните беднягу? – поинтересовался Пал Иваныч.

Начальник объяснил, что их отделу дали участок свеклы в бывшем Колхозе – три гектара. Пора завершать прополку, а этот тип ни одной грядки не протяпал.

– Но, ведь, давно уже наступила демократия! – возмутился Анонимус. – Никто не имеет права никого ничего заставлять делать.

– Демократия демократией, а перед соответствующими инстанциями отчитываться надо! – начальник толкнул подчиненного в спину. – Иди, Иван Кузьмич, тяпай.

– Я эту свеклу не сажал! – захныкал Иван Кузьмич. Он взмахнул бунтарским широким жестом и едва не оттяпал Анонимусу его легковесный парафиновый картофельной формы нос.

– Тихо, ты, болван! – испуганно отпрянул Анонимус.

– Не пойду тяпать свеклу! – бунтовал Иван Кузьмич. – Почему чуть что, так меня посылают? На каждом этаже сидят без дела сотни жирных ленивых баб, а у меня отчеты! Договор по свекле заключен по старым ценам, и получу я за нее с гулькин нос.

– Успокойтесь, господин с тяпкой, – успокаивал его Анонимус. – Скоро я приватизирую свекольную плантацию и, возможно, заплачу вам гораздо больше.

– Да не нужна мне ни свекла ваша, ни оплата! – стоял на своем маленький чиновник, – позвольте мне вернуться на рабочее место. Лучше я вам деньги уплачу из зарплаты, только оставьте меня в покое! Я не сажал эту свеклу!

– Вот они, плоды вашего социализма! – Анонимус указал на ленивого чиновника пренебрежительным жестом. – Он не хочет работать ни на коллективной, ни на частной земле. Особый тип русского бездельника, который нигде ничего не хочет делать. Скоро я сделаю цивилизованный капитализм, и этот канцелярский хмырь сам напросится ко мне на плантацию в качестве раба. А женщины из этой фирмы, бросив вязание и выключив самовары, будут умолять меня взять их

на ферму доярками, чтобы не умереть с голода. Я покончу с вашей расхлябанностью, я научу вас всех работать!

Тут вмешался Пал Иваныч. Он взял у чиновника тяпку и зашвырнул ее в кусты: теперь уже опоздали тяпать свеклу, это надо было делать в начале лета. Несчастного «раба» он отпустил обратно в кабинет, а начальнику пригрозил расстрелом: нельзя же, черт побери, так безжалостно эксплуатировать люмпен-чиновников!

Волшебная дубина

Ассенизатор подогнал автомобиль-бочку к оврагу, и начал заполнять его белой пенистой жидкостью. Заквакали в предсмертной агонии лягушки, зашипели, расползаясь в разные стороны, змеи.

– Зачем? – спросил подошедший Пал Иваныч.

– Фирма заказала! – объяснил шофер. – Стерильность в данной местности нужна.

– Правильно, – подтвердил Анонимус. – Очищаем место для химически чистого производства. Будем перерабатывать биологическое оружие на пищевые консервы для трудящихся. Западные друзья уже вложили деньги в совместное предприятие.

– Да ты, оказывается, западник? – воскликнул Пал Иваныч, внимательно всматриваясь в Анонимуса.

– Я не западник, – хмыкнул тот, – я долларник!

Пал Иваныч задумался, потом сказал:

– Я и сам предполагал, что в такой душевночистой стране как Россия не должны существовать гады в образе лягушек и змей. Пускай капиталисты берут их задаром. Может, они еще и тараканов прихватят?

Наступила очередь Анонимусу задуматься:

– Очень хлопотно ловить этих тараканов, – оказал он. – А применение насекомым вполне можно найти. В современном цивилизованном обществе любая дрянь существует на своих природных правах. Пускай ихние безработные приезжают сюда и ловят!

– Они на такую работу не согласятся!

Ассенизатор, опустошив бочку, уехал. В овраге пенилась, шелестела жидкость, никто уже не квакал.

На следующем бугре нашли огромных размеров дубину величиной с телеграфный столб. Пал Иваныч о нее споткнулся,

– Вот бы мне ее поднять! – возмечтал Анонимус. – Тогда бы я чувствовал себя в безопасности.

В ответ на его слова дубина подпрыгнула, проплясала через луг, оставляя после каждого прыжка заметные ямки. Из ямок составились буквы, из букв слова:

ЖДУ СВОЕГО ЧАСА!

И сама легла огромным восклицательным знаком.

– С такой никакие рэкетиры не страшны! – восхищался Анонимус.

– Тебе нельзя доверять дубину, – возразил Пал Иваныч. – Ты не готов для этого теоретически. Вот я – совсем другое дело, я законспектировал ПСС товарища Ленина.

– Что такое ПСС? – насторожился Анонимус. – Марка пистолета? На базаре это сейчас ходкий товар, я готов закупить партию.

– Врешь, господинчик, купить партию тебе не по карману.

– Наша фирма богатая, – заверил Анонимус. – Я сам недавно в ней работал и толком не знаю, кто ее финансирует.

– ПСС – это книги, полное собрание сочинений. Тазиков тоже Ленина читал, конспектировал, но такая умственная работа оказалась ему не по силам, бедняга помешался.

– Нет, он сошел с ума позже – 22 августа 1992 года после нашей победы.

– А я говорю тебе, что гораздо раньше миллионы Тазиковых свихнулись от скучных партийных документов и от «сухого» закона.

Анонимус принялся рассуждать о возможности использования Тазикова в качестве ходячей рекламы. Можно прилепить ему на спину любой плакат – бывший парторг этого даже не заметит!

Телевизор и закон

Присели отдохнуть в тени – там как раз два пенька было, а напротив камень плоский. Но не простой камень, а живой – фигурки по нему движутся выпуклые, серые. Шел многосерийный каменный фильм о борьбе бедных с богатыми. Пал Иваныч заинтересовался, смотрел широко открытыми глазами, изредка моргая – такая картина была ему классово близкой.

Анонимус зевал, скучал. Он все еще надеялся, что если не эротику, то хотя бы боевик покажут.

– А ведь это идея! – подпрыгнул он вдруг на пеньке. – Единственный каменный телевизор в регионе! Я покупаю эту скалу. Входной билет 20... нет – 200 долларов. Туристы клюнут на эту приманку.

На экране появилась унылая физиономия международного комментатора, и он минут двадцать растолковывал, отчего в мире не происходит перемен к лучшему.

– Откуда же быть этим лучшим переменам? – вздохнул старый большевик. – Уж как я народ гонял, как давил, как воспитывал, и нате вам! – появились Анонимусы!

– Я – первопроходец русского нью-купечества. Настоящие акулы пока еще лежат на дне.

– Пусть только попробуют всплыть! – пригрозил старик. – Багор социализма еще не притупился, вытащим на берег.

На экране возникла каменная певица, зашевелились жирные губы, камень залоснился от крема и света прожекторов. Изображение пело, двигалось и вместе с тем словно бы ревело – страшные звуки подземелья прорезывали округу.

– Сколько, однако, у этих артистов тщеславия! – качал головой Анонимус. – Мы, деловые люди, ведем себя гораздо скромнее... Переключите телевизор на другую программу!

– Не надо, – сказал старик, внимательно вглядывающийся в изображение и ожидающий, что вот-вот начнут прямой репортаж из ада. Но вместо этого включили зарубежный кинофильм.

Неожиданно на поляне появился скромный человек с молотком. Пал Иваныч с Анонимусом даже не заметили, как он подошел с экрану и принялся зубилом и молотком скалывать с изображения самые интересные фрагменты.

Пал Иваныч пытался прогнать незнакомца, но тот строго объяснил, что он – цензор и выполняет служебные обязанности. Сколоть неугодный кадр не очень трудно – гораздо труднее в одно мгновение определить, является ли данное изображение крамольным или нет.

– Но, ведь, сейчас гласность, цензура отменена! – воскликнул в негодовании Анонимус.

– Кто вам такую глупость сказал? – цензор долгим взглядом, словно сумасшедшего, оглядел Анонимуса. – Мое искусство очень древнее. Я корректировал первые изображения на скалах и буду исправлять самую последнюю идеологическую ошибку перед последним мгновением жизни человечества.

Фильм показался Пал Иванычу скучным, к тому же цензор то и дело загораживал экран спиной, раздавался настойчивый стук зубила.

Анонимус и Пал Иваныч решили двинуться дальше, на следующий холм. Едва спустились в долину, солнечный свет стал угасать, постепенно все заволоклось тьмой.

Пал Иваныч не на шутку перепугался.

– Отпусти солнце, бес. Я знаю: это ваши буржуазные штучки!

Анонимус, радуясь невежеству старика, окончившего два класса церковно-приходской школы, не преминул этим воспользоваться.

– Да! – отозвался он торжествующе. – Это действуют ребята из фирмы «Занавес». Жаль, нет под рукой факса или телекса, я бы отменил эту операцию. Отныне, дедушка, солнечный свет дозируется и продается за доллары. Тарифы еще не установлены, но платить придется всем... Дайте, Пал Иваныч, стольник, и я еще подумаю, может, уговорю их повременить с установкой железного антисолнечного занавеса!

– На, окаянный... – старик расстегнул пуговицу нагрудного кармана гимнастерки, выдал Анонимусу новую хрусткую сторублевку.

В небе летел ярко освещенный закатными лучами самолет, но тьма затмения сгущалась, завиднелись крохотные звезды. У самолета, летевшего почти бесшумно, мигали поочередно красная и зеленая лампочки. Светлой золотистой лентой тянулся вслед за самолетом реактивный выхлоп, распадаясь клочьями белой ваты.

– Твой самолет? – иронически спросил старик у Анонимуса.

– Откуда я знаю? – передернул плечами Анонимус, – надо смотреть по документам.

– Где же они, твои документы, покажи?

– Как только наши ребята включат солнце, так и покажу.

С солнечного диска быстро спадала чернота. Затмение кончалось. Пал Иваныч облегченно вздохнул и более уважительно взглянул на Анонимуса.

– Я, друг Анонимус, всегда хотел света для угнетенного пролетариата и боялся одного, что вы, буржуи проклятые, отберете у бедняков солнце. Это самый главный мой страх. – На тебе, черт, еще сотню, только не трогай, пожалуйста, наше солнышко!

Всхлипывая, старик пустился в воспоминания о том, как пыль от кавалерийских атак заволакивала полнеба. Это в ту пору было революционным затмением и знамением.

В новых золотистых лучах солнца увидели баню. Пал Иваныч выразил желание попариться, но банщик не впустил его, потребовал плату в размере двух долларов.

– В чем дело? – удивился Анонимус. – У дедули в кармане полно «деревянных». Возьми по курсу, только и всего.

– Не могу, – ответил банщик. – Мы покупаем солярку за валюту. Стоимость березового веника сюда же входит.

Баня отапливалась соляркой, дымила как теплоход.

– А вы кизяками топите! – посоветовал Анонимус.

– Кизяки закуплены одной инофирмой, скоро приедут собирать на лугу, где коровы паслись и «лепешек» навалили.

– Ну и жулики! – поразился Пал Иваныч. – Все успели продать и купить! Только воздух пока еще остался непроданным!

Ветеран закашлялся, глотнул солидную порцию солярового дыма.

Взошли на холм, увидели огромную, стоящую торчком книгу. Ветер шевелил открытые страницы. То и дело падали вниз серебристые позвякивающие буковки.

– Это Книга Закона! – Пал Иваныч из уважения к данной Книге стал выкручиваться в штопор, Анонимус с удивлением глядел на него. Впервые видел он такое почтение к Закону. В равномерную резьбу завернулся внешне и внутренне самодур и несгибаемый человек.

Анонимус полистал обеими руками страницы, из Книги пошел духмяный парок.

– Что ты наделал? – вскричал старик. – Ты из нее истинный дух выпустил!

И велел Анонимусу подбирать с земли упавшие буквы.

– Уважай Закон и не лапай его грязными руками! – наставлял он молодого проходимца. – Буковки от него еще прежде рассыпались от моей неправедной жизни. Ведь я, брат Анонимус, тоже немало грехов сотворил. Закон, юноша, это гражданская вера, но без вложенного в неё сердца. Кем бы законы не издавались, от них всегда несомненная польза. Но я был и остаюсь революционером, мое дело рассыпать законные буквы и вписывать беззаконные, чистосердечные. Пришло, товарищ Анонимус, твое временное время.

– Но я тоже люблю людей! – горячо воскликнул Анонимус. – И тоже хочу для них настоящего счастья. Я вынужден их обманывать, потому что они глупы и, кроме того, я хочу хорошо жить.

– Я никогда не верил теориям, согласно которым глупость и алчность являются двигателями прогресса, – сокрушенно мотал поникшей головой Пал Иваныч. – Своей деятельностью, юноша, ты ввергаешь Россию в еще большую тьму, нежели твои товарищи – похитители солнца.

– Никогда и никого я никуда не ввергал и не ввергаю, – проворчал мошенник. – Просто я хочу взять то, что вы, большевики, старые и молодые, разбросали по всем своим изувеченным дорогам. Я не виноват, что родился от вашего коммунистического призрака... – он всхлипнул своим хрюкающим голосом.

– Ладно, не хнычь, – впервые за весь нынешний день Пал Иваныч погладил своего правнука по джинсовой гладкой спине.

Чудеса

– Надоели мне эти бесконечные холмы, – вздохнул Анонимус, прочухавшись от нечаянных слез. – Обязательно срою их в ближайшее время, как только появятся деньги. Среднерусская возвышенность загораживает горизонты моей коммерческой мысли.

Пал Иваныч в ответ на это выругался.

– Вы, дедушка, вспоминаете бога лишь тогда, когда вам что-то не нравятся.

– А ты его даже в торговые союзники не приглашаешь.

– Я неверующий, учился в сельской школе. В компаньоны приглашаю только полезных людей.

– Тебя, знать, выращивали в пробирке, вроде бактерии. Ты, Анонимус, не мог родиться от женщины.

– Откуда вам это знать, Пал Иваныч? Ведь с наукой вы всегда не в ладах. Если бы у вас, у большевиков, всё по-научному было, вы бы еще в тридцатом году коммунизм построили.

– Ты кто по национальности? – строго спросил старик.

– Так же как и вы – интернационалист.

– Ты, парень, по национальности – кусок мыла!

– Мыло тоже товар.

Так, мирно поругиваясь, они шли проселочной дорогой, вдоль деревенских заборов к центру деревни Трезвиловка, спорили о разных разностях. Пал Иваныч доказывал, что он вовсе не против науки, и конкретно применял ее в ходе гражданской войны. Был у него в полку старичок профессор, мобилизованный для победы красной конницы. Возили его в спецтачанке, вместе с приборами, под охраной. Было у него приспособление, которое позволяло улавливать из небесных туч молнию и направлять ее в ряды противника.

Увидев на тропинке огрызок яблока. Пал Иваныч посоветовал Анонимусу обратить на него внимание. В голосе старика была откровенная издевка.

Однако Анонимус воспринимал такие явления вполне серьезно. Он сообщил, что неподалеку от города Ничтожска скоро будет открыт завод по переработке яблочных огрызков на повидло и марочные вина.

Возле сельсовета, на порожнем ящике сидел человек в широкополой шляпе. Рядом была картонная табличка с надписью «народный целитель». На плече у него была прорезь, в которую доверчивые пациенты швыряли сложенные купюры. Не брезговал целитель и металлическими рублями.

Наложением рук и шептанием он излечивал от разных болезней, в том числе и от алкоголизма.

Пал Иваныч колотил его палкой, и внутри целителя, словно в глиняной копилке, звенели монеты.

– Не троньте его! – пробовал заступиться Анонимус. – Вполне возможно, что этот тип работает от нашей фирмы. Он исцеляет русский народ от главной его болезни – от пьянства.

– Наш народ надо вовремя опохмелять, открывать пораньше винные магазины, а не подсылать к нему разных шарлатанов.

– Зря вы его прогнали, Пал Иваныч, он мог бы вылечить вас от большевизма. Такое направление также заложено в его пустотелой программе.

Целитель удирал с такой скоростью, что в глиняной дырочке свистел встречный воздух.

За околицей деревни путники встретили крестный ход, вымаливающий у бога дождя. Рядом с попом шагал бывший парторг Тазиков. Он и со священника пытался взять партвзносы, но тот отнекивался, уверяя, что даже и в комсомоле не состоял.

– Там, где парторг Тазиков, там толку не будет, – вздохнул Пал Иваныч. – Хрен два они добьются своего. Здесь нужен материалистический напор.

Анонимус отвернулся от крестного кода, пряча лицо. На прошлой неделе он проходил через эту деревню с жестяной кружкой, разрисованной крестами, делая вил, что собирает деньги на постройку нового храма, обещая сдать его под ключ в течение двух месяцев.

Крестный ход скрылся за поворотом дороги, но один человек отстал, присел в тени куста. У него был заметный горб, седые волосы прилипли к потному лбу.

Пал Иваныч поговорил с ним и выяснил причину горба: взрывной волной младенца вырвало из рук матери и швырнуло на дорогу. Случилось это в 41-м году. Седой человек лечился у глиняного целителя, положил ему в копилку сотню, но лечение не помогло.

Ветеран снова выругался. Цепочка разнообразных крепких выражений растянулась на две минуты. Но вот умолк, напрягся, отшвырнул палку и наложил на горбатого свои темные подрагивающие руки с закороченными фиолетовыми ногтями, изломанными на допросах в 37-м году. Старик скрипел остатками зубов, призывая на подмогу все революционные дикие силы. Он так впился ногтями в горб человека, что тот даже вскрикнул, зажмурив глаза от боли.

– Вставай, иди!.. – торжественно произнес ветеран, задыхаясь от усталости.

В позвоночнике у горбатого хрустнуло, он вскрикнул, распрямился: ровный седой ребенок военных лет.

– Спасибо! – сказал он тихим новым голосом,

Анонимус оценивающе смотрел на исцеленного. Подошел, провел по спине исцеленного пухлой ладонью. И тут же предложил седому человеку поехать за рубеж на предмет демонстрации исцеления. А Пал Иванычу он запретил производить чудеса бесплатно. Только за валюту.

– Чудо всегда делается задаром, иначе оно не может сотворится! – возразил старик.

Анонимус вздохнул: в мире торговли бесплатные чудеса запрещены. По законам конкуренции бесплатных волшебников уничтожают.

– Меня и белые и красные расстреливали – я не боялся. Вот пройду сейчас через поле материалистическим агентом, попрошу у природы дождя, – глаза Пал Иваныча стали стекленеть, он уставился на проплывающую тучу, поругивая ее для убедительности отборными словечками. Тучка дождя не выдавала. Старик серчал, брел следом за тучей, шкандыбал дырявыми хромовыми сапогами по сухим земляным глудкам.

Откуда ни возьмись, брызнул дождик. При светлом дне, но хороший. Пришлось спрятаться в кусты и переждать. Такие мощные струи влупили, что от земли запахло водой.

– Ага! – торжествовал Пал Иваныч. – Откликнулась, матушка... Эй, товарищи деревенские жители! Дождик-то я вам сделал, не поп.

Крестный ход торопливо возвращался в деревню. Грузный священник, тяжко отдуваясь, перепрыгивал через лужи, приподнимая полы рясы.

Над рекой

Увидев серые станционные строения, Анонимус обрадовался: здесь кончалась граница района. Конечно, хотелось бы и более огромных владений, но тогда пришлось бы облетать их на вертолете, а пока по своим полям пешком ходит, и того довольно. Если избавиться от конкурентов, то и с этих холмов можно запросто брать миллионы и миллионы.

На выщербленном перроне стоял пожилой человек. От него путники узнали, что станция называется «Вольная степь».

– Что такое? – удивился Пал Иваныч. – Почему переменили название? Ведь я в двадцать первом году дал ей новое имя – «Безбожник».

Пожилой пассажир неопределенно пожал плечами: мне, дескать, все равно.

– Никаких «безбожников», никаких «вольных степей»! – воскликнул Анонимус. – Пришло мое время давать всему новые имена. Назову ее, к примеру, станция «Менеджер».

– А что такое «менеджер»? – спросил человек, поджидавший поезд.

– Не знаю, – ответил Анонимус. – Это американское до сих пор непонятное мне слово. Менеджер – это человек, который что-то делает. Вроде слова «инженер», которое прижилось в русском языке, хотя изначально оно иностранное. Главное – обозвать профессию иностранным жаргоном.

Пассажир равнодушно махнул рукой:

– Мне все равно, как вы назовете эту станцию, лишь бы поезда вовремя ходили, – и бросил окурок между шпал, заросших травой.

Путники прошли дальше и очутились на высокой круче. Внизу текла река. Не очень широкая, но быстрая, сверкающая солнечными бликами, журчащая на каменистых свалах. Река делала несколько плавных изгибов, терялась в дымном синем горизонте.

– Видишь, там «дикое поле»! – старик указывал на отлогий противоположный берег. – Это исторический простор, товарищ Анонимус, ногайская сторона.

– Ничего особенного не вижу, – широкая ротовая щель Анонимуса расползалась в ухмылку. – Поле как поле. Животноводческие фермы, водонапорная башня, полуразрушенная церковь – обычный советский пейзаж. Ты, небось, Пал Иваныч, разваливал?

– Конечно, все церкви разрушил один только я... Чуешь ветер, летящий с той стороны?

– Вы, Пал Иваныч, оказывается, лирик. Какое мне дело до этих пейзажей? Мое дело приватизировать, пока дают такую возможность... Кстати, сколько вам, дедушка лет?

– 5508.

– Врете вы как сивый мерин. Вас приучили лгать в эпоху социализма.

– Но чем же лучше капиталистическая ложь?

– Не будем вдаваться в этот вопрос. Вот когда я построю новое общество, вы сами убедитесь, что оно гораздо лучше прежнего. Тем более, что вы прожили большое количество лет, что само по себе является капиталом. Половину вашего возраста стоило бы приватизировать. Представители теневого бизнеса тоже хотят жить очень долго. В любые самые разнесчастные времена всегда были люди, которые жили очень долго и очень хорошо. Со временем я заведу себе бронежилет и охрану.

– Не выйдет, парень, не отдам я тебе своих революционных годов.

– Это ваша комсоставская привычка узурпировать привилегии, и право на бессмертие в том числе.

Пал Иваныч, не слушая спутника, фантазировал. Он, дескать, за пять тысяч лет отлично изучил эти места. Здесь он сражался со скифами, отсюда гнал золотоордынцев, наведывавшихся за данью.

– Стало быть, золотоордынцы были первыми рэкетирами на Руси? – Анонимус наморщил лоб. – Но они были умнее большевиков и не трогали православных храмов.

– Атеизм – дело священное, – возразил Пал Иваныч. – Бог – наш главный соперник. Безбожное учение единственное, способное объединить все народы.

Неожиданно загорелась бочка со смолой. До сих пор она была невидна в ветвях векового дуба.

– Что это? – испугался Анонимус. – Кто поджег дерево, которое я, возможно, приватизирую в ближайшем будущем?

Пал Иваныч объяснил, что бочка с горящей смолой – древний сигнал русских пограничников, уведомляющих следующую заставу о приближении врага.

Анонимус заверил, что он не золотоордынец и к «дикому полю» отношения не имеет.

– Хищник есть хищник, с какой бы стороны он не подходил.

– Мы с вами, уважаемый Пал Иваныч, не волки, не звери, но почти коллеги.

Бочка разгоралась, потрескивала, разбрасывая во все стороны клочья горящей смолы и копоти. Старик высказал предположение, что в данном случае произошло самовозгорание. Такое случается в несовершенных общественных устройствах, когда от нечаянной искры вспыхивает вся страна. Искра, утверждал он, может возникнуть от воровского шага крадущегося жулика, от шелеста по высокой траве потрепанных дерзких кроссовок.

Анонимус шарахнулся от смоляных копотных огней, с шипением падающих на землю. И только удалившись на безопасное расстояние, высказал желание купить часть реки, поперек которой можно ставить проволочную сетку, чтобы брать деньги с лодочников и рыбаков.

Пал Иваныч ничего ему не ответил. Седой затылок старика освещался малиновым светом догорающего сигнала.

Казанский собор

– Вот он, город Ничтожск! – Пал Иваныч величественным жестом поднял вверх правую руку, опираясь левой на палку. – Арена кровавых событий гражданской войны. Мой отряд вышибал отсюда белых во все времена года, в метель и в жару. В этом городе меня дважды расстреливали – сначала белые, затем свои, по доносу. Здесь меня потом допрашивал следователь и в тридцать седьмом году объявил врагом народа.

Среди садов и пятиэтажных домов времен первых полетов в космос, возвышались голубые купола и белоснежные стены отреставрированного собора. Вид оживавшего храма страшно возмутил Пал Иваныча. Концом трости он яростно взрыхлил землю обочины. Ошметки земли полетели во все стороны.

– Когда-то я запретил колокольный звон, чтобы он не мешал отдыхать трудящимся! – сказал старик. – Но и сейчас могучего звона пока еще не слышно... Что же ты молчишь, Казанский собор? Почему не бьешь в набат по поводу удручающей общественной обстановки?

Анонимус брезгливо отряхнул свой джинсовый костюмчик и не без злорадства сообщил, что его фирма вложила в восстановление храма определенную сумму ради рекламы и снижения налогов.

– Врешь ты все! – сплюнул старик. – Скорее всего, в реставрацию храма были вложены бюджетные деньги, которые ваша фирма без зазрения совести «распилила».

Какой-то старичок красит в синий цвет трубу церковного газопровода. Новое отопление в храме будет!

Пал Иваныч проворчал насчет того, что все, в том числе и священники, любят теплые помещения.

Старичок перестал красить, прищурил глаза, вглядываясь в ветерана.

– Я тебя помню, Павлик, чертов ахтивист! Это ты в тридцать четвертом году крест с храма зубилом сшибал! Так и загрохотал крест вниз по золоченому куполу...
– Так его, дедушка, так этого Пал Иваныча! – Анонимус злорадно потирал ладони. – А то наш революционер мнит из себя «нового святого» и постоянно всех поучает.
– Я – большевистски дерзкий человек, потому никому не нравлюсь! – воскликнул Пал Иваныч.

Ветеран нагнулся к старичку, который по прежнему неторопливо мазал краской трубу, и тихо сказал ему на ухо:
– А ты Кузьма тоже кирпичиками от сломанной колокольни попользовался – баньку себе на огороде сложил!

Кузьма притворился глухим и продолжал свою работу. Знай себе красит-мажет газопровод.

– Видишь тип какой! – Пал Иваныч ткнул костылем в сторону Кузьмы. – Воистину мещанская личность, притворяющаяся верующей душой. Всю жизнь полезным прикидывается – оппортунистический вполне старикашка!

Взглянув еще раз на собор, Пал Иваныч определил круговорот социального значения здания: храм-клуб, магазин, затем склад-база спекулянтов, и вот снова храм! Просто политические и социальные чудеса творятся в России!

Анонимус вздохнул и сказал, что ему трудно уважать народ, который позволяет издеваться над своими святынями.

Кузьма оправдывался перед Анонимусом как перед чужим человеком: что начальство постановило – то и от Бога! Я вот работаю маляром, на чекушку водки зарабатываю, хоть говорят, что она вся из деревянного спирта, а выпить-таки манится...

Пал Иваныч с грустью взглянул на старичка: как был ты, Кузьма, земляным человеком, так и остался!

Эротическая гитара

– А вот и представители нового искусства! – сказал Анонимус.

Путники подошли к небольшой рощице, где на траве сидели несколько парней с инструментами, воздух полнился хаотичными звуками. Юный, с бритой головой барабанщик наклонялся к расписному барабану и лизал его татуированным синим языком. Кожа инструмента отзывалась с шипением.

Гитарист, голый до пояса, с таким азартом тискал свою гитару, что бедняжка даже похрустывала.

– Разве это музыка? – удивился Пал Иваныч. – Вот у меня в свое время был полковой оркестр!

За кустами послышался девичий смех, блеснули горлышки бутылок.

Анонимус с Пал Иванычем одновременно вздохнули. Обоим вдруг захотелось выпить. Анонимус пообещал угостить Пал Иваныча после первой же удачной сделки. Анонимус был не очень жадным существом и, несмотря на темноту своего происхождения, сохранил частичку русской размашистости.

– Я помню времена начала перестройки, когда начинались все нынешние безобразия, – вздохнул Пал Иваныч, оглядываясь на репетирующий ансамбль. – Шло в районном клубе очередное собрание в честь юбилея Октябрьской революции. Кончилась торжественная часть, вышел на сцену такой же вот ансамбль, и здоровенные парни принялись петь отвратительными женскими голосами.

Анонимус заметил, что женские голоса у мужчин нынче не в моде. Певец, если желает иметь успех, должен скорчить жуткую физиономию, завопить хрипло и воюще. Еще лучше будет, если он зарычит и кинется кусать зрителей. В этом случае успех гарантирован.

– Знал бы, что доживу до нынешних времен, я бы весь тогдашний белый свет разорвал напополам! – старик заплакал от бешенства, не в силах выговорить ни слова. Но вибрирующий голос насилуемой гитары долго еще преследовал их.

Литература на бугре

Это был один из самых скучных официальных сараев, которые Пал Иваныч с Анонимусом видели на уже пройденных буграх. Сарай не имел определенной формы и распространялся в разные стороны причудливыми пристройками и загогулинами.

Стены из разных материалов: серые покоробившиеся доски с торчащими шляпками ржавых гвоздей, красные, с седыми вкраплинами кирпичи, взятые с развалин церкви, кусок гладкого бетона, добытого с великой или не очень великой стройки полузаконным способом; промелькнет стена зеркального стекла, за которым смутно различаются мраморные колонны и фикусы в пластмассовых кадках; на средней высоте лепной классический фронтон, снятый со старинного княжеского особняка.

И крыша довольно пестрая: с одного бока готический шпиль, состроенный из лозиновых горбылей, дальше – колхозный шифер вперемешку с толью; куски черепицы кровавыми заплатами выделяются на фоне ржавой железной кровли.

– Издательство «Бес»! – прочел Анонимус размытые дождями буквы. Ударом ноги он распахнул щелястую дверь, висевшую на одной петле. Пал Иваныч последовал за ним.

С трудом продвигались по узкому коридору, заваленному бумажным хламом. Наконец добрели до двери с покосившейся табличкой и надписью: «Гл. реадкор».

– Даже здесь, на вывеске, ухитрились допустить опечатку, – проворчал старик.
– Возможно, тут вовсе нет никакой опечатки, – резонно возразил Анонимус.

Они вошли в комнату, наполненную тем затхлым запахом, который наполняет комнаты, где постоянно курят и часто выпивают.

За столом сидел человек неопределенной внешности и возраста. Галстук у него был с попугайчиками и пальмами, времен 60-х годов.

– Почему ваша шарашкина контора называется «Бес»? – Старик с грозным видом остановился посреди комнаты, опираясь на трость, рвущую острым концом бумагу, валяющуюся на полу. Видимо, это были нужные рукописи, отобранные издателем для скорейшего напечатания и выброшенные в самую последнюю минуту перед отправкой в набор ввиду изменения политической ситуации.

Мусорная корзина была забита бумагами доверху, так что самой корзинки не видно. Гора бумаг в углу, перемешанная с яблочными огрызками и рыбьими скелетами, возвышалась чуть не до потолка. Уборщица числилась в штатном расписании «Беса», но в последние дни не объявлялась – то ли в декрет ушла, то ли запила. Обе причины считались вполне уважительными.

– Мы не шарашкина контора! – обиделся издатель, и гордым жестом указал на полку, где были выставлены эротические и поваренные книги, изданные с начала года.
– Как велика доля авторского вознаграждения? – не отставал старик. – И кто вообще ваши авторы?
– Чаще всего они покойники, и гонорара им не полагается, – издатель пригладил курчавые седеющие волосы, напустил их на лоб, прикрывая вполне заметные рожки. Ощупав подросшие выпуклости, он досадливо поморщился, встал из-за стола. Подойдя к овальному, с трещиной, зеркалу, схватил напильник, привязанный веревкой, чтобы не украли, торопливо подпилил рога. Проделал он это с такой быстротой и яростью, что рога задымились, завоняли на весь кабинет.

Лохматый, в проплешинах, хвост, торчавший из-под пиджака, он то и дело запрятывал под ремень. Копыта умещались в аккуратных, похожих на детские, туфельках-лодочках, модных со времен хрущевской оттепели. В ту пору у издателя еще не было рогов, и он считался способным начинающим лириком.

– Тебе доверили литературное дело, а ты тут расселся с рогами и хвостом, – сердито заметил Пал Иваныч. – Жаль, я не захватил свою саблю, мигом бы тебе хвост укоротил.
– Хвост мне пока не мешает, – горделиво хмыкнул издатель. – Когда имел дело с партийными властями, прятал его под одежду. Нынешние деятели разных партий не обращают на мой хвост никакого внимания. А партбилет я сдал 19 августа 1991 года.
– Ты действительно прохвост! – возмутился Пал Иваныч. – Не ты ли высмеивал меня, старого большевика, в своих многочисленных статьях, написанных по заказу? А нынче, значит, прощай искусство?
– Партийная мифология сейчас никого не интересует, – сказал издатель. – Правда, и в рядах писателей мы сотворили раскол. Чтобы ссорились официально, в печати – один Союз против другого Союза. Без драчки в культурной среде никогда не обходится. Среди писателей есть очень даже сердитые люди, которые в каждом слове видят идейный оппортунизм.
– Придется тебя уволить из номенклатуры! – пришел к выводу Пал Иваныч.

– Я не виноват, что даже в «Бесе», в моем личном сатанинском издательстве, имеется с десяток враждующих группировок. Я устал мирить их на прибыльной основе. Каждый день сжигаем чучела плохих писателей. Не понравился автор – пожалуйста! – разводите во дворе костерок и получайте чучелко с литсклада. Чучела неугодных писателей сжигаются прямо здесь, под окнами издательства.

– Черт знает что за дикие нравы! – проворчал старый большевик.

– Ваш большевистский опыт переняли... – ехидно заметил издатель. – Вы же сами, Пал Иваныч, поджигали в двадцатых годах тряпичную куклу Чемберлена.

– Было дело... – вздохнул старик. – Кино такое есть в архиве, как мы чучела врагов сжигаем.

В разговор вмешался Анонимус, и сказал, что хотел бы заглянуть в литсклад, чучела он готов приобрести оптом:

– Сколько их у вас в наличии?

– Тысяч десять наберется.

– Всех беру! За границей к чучелам проявляют большой интерес.

– О'кэй! – издатель закурил папиросу «Беломор», заглянул машинально в рукописи, разбросанные по столу. Иногда он отпивал из треснутой чашки с желтизной вдоль трещины. На страницах непризнанных творений лежал кусок черствой, с зеленцой, булки, пара селедочных голов разносила по кабинету неприятный грустный запах.

– Что нынешним днем печатаете? – поинтересовался Пал Иваныч, присев на пачку оттисков за неимением лишнего стула.

– Нет смысла в сути написанного. Дело в том, кто, чего, и кому заказал. В мире литературы нет ничего невозможного.

– Как не знать, – проворчал старик. – В годы гражданской войны я и сам несколько блошур сочинил, теперь уж не упомню об чем. Бумага была паршивая, из опилок, страницы рассыпались...

– Если ваш прежний литературный бред имеет сюжет и эротическую направленность, мы готовы переиздать. Но с гонораром проблемы... – издатель смахнул со стола мусор, вздохнул.

Анонимус оглядел комнату, поинтересовался наличием макулатуры.

Издатель ответил, что этого добра навалом, и они тут же подписали договор на продажу ненужных двадцати тонн бумажных рукописей. После коротких препирательств был составлен документ и о приватизации чучел.

Издатель снова остановился возле зеркала, провел напильником по стремительно отрастающим рогам. На лбу его сияли два белых, будто намазанных пудрой, круга – это оседала пыль от рогов. Затем он взял со стола чашку с недопитым холодным чаем, поставил ее на подоконник, заваленный рукописями.

– Макулатуры много, потому что Россия – страна писателей. Пишут все, и помногу. Многие произведения даже прочесть невозможно из-за недостатка времени и рецензентов. Сейчас мы издаем роман писателя Икс, который в годы перестройки первым разоблачил товарища Сталина. Затем он разоблачил Керенского, Троцкого, Николая Второго Окровавленного, Столыпина изобразил на обложке в его любимом галстуке, мистер Икс – большой знаток истории. Он собрал компромат на Ивана Грозного, а также на Рюрика. Он разоблачил шведский социализм и восславил шведский стол по рубль сорок в старых ценах. Мы выпускаем журнал, в котором публикуется новое эссе Икса «Невозможность демократии в России». Забавное интервью для нашей газеты дал бывший парторг Тазиков.

– Некогда мне читать ваши глупости! – Пал Иваныч встал с груды оттисков, сваленных посреди комнаты. – Пора двигаться дальше. В годы гражданской войны у меня всегда была в запасе пуля, отлитая из литеры «М». Понял?

– Еще бы! – издатель слез с подоконника, на котором сидел, снова упрятал хвост под ремень. – Можно воспользоваться другими, не менее весомыми литерами. Правда, свинец нынче дорог.

– Не дороже, чем в годы гражданской войны, – хмыкнул старик. – И нынче по окраинам страны вы его реками из автоматов льете. Южные республики залиты свинцовыми болотами, из которых теперича не выбраться...

Раздался телефонный звонок. Издатель поднял трубку. Звонил, судя по разговору, некто Религий Патриотович.

Пал Иваныч сказал, что знает этого человека, вместе когда-то работали в системе пропаганды. До времен перестройки об этом деятеле никто ничего не знал, не ведал, зато ныне Религий Патриотович – популярный публицист и общественный деятель.

– Терпеть не могу этого Религия Патриотовича! – воскликнул ветеран идеологического фронта. – Его настоящее имя Райком Портвейнович. Вывший лектор политпроса. В перерывах между запоями читал лекции по атеизму. Сегодня он Религий Патриотович, завтра будет Торгаш Хамовичем, послезавтра Сталь Диктаторовичем.

За время своей долгой жизни Религий Патриотович довольно часто менял имена и отчества, согласуясь с политическим моментом. По словам Пал Иваныча, этот тип некогда звался Долой Нэповичем и одновременно Ура Колхозовичем, хотя до этого прозывался Всерьез Инадолговичем. Перед началом войны он был Бейврагом Наеготерриторьевичем, затем Культур Отступленьевичем. Прозывался также Глубокием Обороновичем, Нишагом Назадовичем. В начале 50-х взял имя Долой Культовича, но вскоре стал Коммунизмом Кукурузовичем, а спустя год – Спутником Аплодисментовичем. Был также Борьбой Волюнтаристовичем, Перестроем Попрыгуничем. Типичная биография хитрого провинциального идеолога.

Хозяин кабинета по телефону что-то пообещал Религию Патриотовичу, положил трубку, почесал стремительно отрастающие рога. Ему были забавны мелкие человеческие страсти, на которых он делал свой бизнес.

Издатель предложил Пал Иванычу дать небольшое интервью журналу «Бесовщина». Тема: духовное поражение революции.

– Никаких интервью! – взревел старик. – Я вам не Буржуй Подонкович и своих убеждений не меняю. Сейчас правит бал ваша, сатанинская революция, я же хотел совсем другую.

– Кстати, Религий Патриотович сообщил по телефону, что Богиня Революции умерла, – издатель старался напустить чуб пониже на лоб. – Он готовит срочную статью о ее кончине.

– Напрасно радуетесь! – Пал Иваныч стукнул палкой в подоконник, разбивая вдребезги чашку. Мокрая черная заварка обрызгала отвергнутые рукописи. – Революцию убить нельзя, похоронить тем более!.. Пойдем отсюда, Анонимус! Засиделся я в этой конторе-контре!

Жатва

Анонимус и Пал Иваныч неспешным ходом прошли через поселок и вскоре очутились за околицей. Старик решил осмотреть холмы и окрестные овраги на предмет обнаружения в них остатков социализма. Но вовсе не для передачи их в «лапы капитализма с рыбьим тупым лицом».

К полудню поднималась жара, охватывая все вокруг раскаленным мутным воздухом. Деревья смотрели грустно, на всей пышной зелени лежал серебристый слой пыли.

Дорога припахивала навозом, видимо, здесь гоняли колхозное стадо.
В поле ходило несколько комбайнов.

В тени дуба стоял милицейский фургон с зарешеченными окнами.
Анонимус предложил обойти это место стороной, но Пал Иваныч заинтересовался. Дело ока-

залось простое: комбайнеры после получки запьянствовали, забуянили, и самых отпетых посадили на пятнадцать суток.

Но хлеб убирать некому, и председатель договорился, чтобы их привозили на милицейской машине прямо в поле. Гораздо больше пользы, нежели подметать милицейский двор.

Мужики, очутились в поле, протрезвились, осознали свое хлеборобское предназначенье, и теперь жатва идет полным ходом. Вот они, гримасы перестройки!

– В России с крестьянином всегда приходится поступать таким крепостническим способом, – вздохнул Пал Иваныч.

– Я покупаю этот колхоз! – объявил Анонимус. – Хозяйство убыточное, а я приведу его в норму. Эти механизаторы теперь тоже мои.

– Заткнись, помещик хренов! – цыкнул на него старик. – А то мужики услышат, кто ты такой, да и тут же на вилы поднимут.

Милиционеры, сняв фуражки и расстегнув кители, дремали в тени дерева.

По полю, поднимая клубы пыли, ходили комбайны. За стеклами кабин виднелись лица механизаторов. Они были спокойны и целиком поглощены работой, и не обращали внимания на Пал Иваныча, приветствующего их взмахами руки.

У одного комбайна застопорилась жатка. Водитель вылез из кабины с кувалдой средней величины, стукнул раза четыре, сел на место и поехал дальше как ни в чем не бывало.

– Есть у нас еще умельцы! – с гордостью воскликнул Пал Иваныч, наблюдая за работой комбайнера. – Наемный рабочий так не сможет. А наш стукнул пару раз, и вперед!

Анонимус заверил, что оснастит все принадлежащие ему комбайны компьютерами и японской техникой. Тогда вообще не будет необходимости в ремонте.

Пал Иваныч дышал полной грудью, не слушая болтовню попутчика. Приятно пахло обмолоченным зерном, сорняками и половой, хлопьями летевшей от комбайнов. Все новые и новые копны устилали скошенное пространство до самого горизонта.

– Мой хлеб! – не без гордости сказал Анонимус. – Продам за границу, а тамошние бизнесмены наше российское зерно продадут нашему же правительству за нефть или золото. Прямая выгода всем!

Мехдойка

В большом загоне из горбылей бродило с полсотни тощих коров. С холма бежал по тропинке фермер, то и дело оскользаясь на коровьих лепешках.

Пал Иваныч преградил ему путь тростью.

– Куда?
– В банк. Просить кредита. Нечем платить зарплату дояркам.
– Где же твоя частная прибыль?
– Прибыль ушла на корма, которые съедены.

Анонимус предложил фермеру кредит тысяч на сто. Но заломил такие проценты, что фермер, и до того глядевший на Анонимуса с недоверием, и вовсе махнул рукой.

– У меня дома пятизарядное охотничье ружье... – намекнул фермер. – Позавчера застрелил двух рэкетиров и скормил их свиньям. Но все равно комбикормов не хватает.

– Могу подкинуть вагончик импортного кормозаменителя. В нашу фирму идет состав кормов со Шпицбергена, – Анонимус зашуршал бумагами, намереваясь тут же подписать с фермером контракт.

– Тебя, парень, даже свиньи не станут жрать! – фермер хмуро оглядел новоявленного предпринимателя. – Мне настоящий корм нужен, а он в дефиците.

Старик, оглядев фермерское хозяйство на холме, спросил, почему повалена мехдойка?

Оказалось, что позавчера пронесся ураган и повалил доильные агрегаты.

– Давайте поднимать! – воскликнул старик.

Но Анонимус сразу отказался от тяжелой физической работы. Это, дескать, не его призвание.

– Зачем мне мехдойка? – отмахнулся фермер. – У меня труд ручной, а для мехдойки солярки нет. Побегу дальше, за кредитом.

И он помчался дальше по тропинке, понимая, что ни от Анонимуса, ни от Пал Иваныча помощи ему не будет.

Расталкивая мычащих коров, появился парторг Тазиков со своей неизменной папочкой. Другой рукой он придерживал шляпу.

– В чем дело, товарищи? – воскликнул воодушевленно Тазиков. – Какие вопросы решаем? Какие сделаны оргвыводы? Почему плохо организовано соцсоревнование? Где Доска почета? В честь кого сегодня будет поднят флаг Трудовой славы? Кому вручаем переходящий Красный вымпел?

Анонимус несильно ударил его под дых. Тазиков на минуту скрючился, затих. Но вскоре отдышался и как ни в чем не бывало продолжил свою речь:

– Где-то здесь, товарищи, должен находиться райком, мне надо сдать отчет по взносам. Я заполнил специальный бланк. Задолженность в отдельной графе. Я – парторг, мне к людям надо идти, вести работу с массами! А вы кто такие? Вы люди или коллектив?

Пал Иваныч ласково шлепнул Тазикова костылем. Много раз они с Тазиковым сиживали рядышком на различных совещаниях и конференциях.

Возле поваленной мехдойки толклись в грязи недоенные коровы, ревели на всю округу.

Но вот подъехал грузовик, с него соскочили несколько человек и тут же принялись забивать животных ножами, деловито перепиливая коровам гордо. По навозным лужам захлестала дымящаяся кровь. С забитых коров сдирали шкуры, разделанные туши грузили в фургоны-рефрижераторы.

Пал Иваныч хотел подняться на холм, чтобы выяснить причину такого варварства, но Анонимус увлек его в сторону, сказал, что фермер, видимо, продал свое стадо по цене коровьих шкур. А мясо сейчас никому не нужно, потому что цена на него высокая. В основном мясо в больших количествах поступает в замороженном виде из-за границы. И торговцы не заинтересованы в том, чтобы цена эта снижалась.

Коровья кровь струилась и журчала по оврагу – жидкость была темнее земли, взблескивала алыми переливами, пенилась в маленьких омуточках.

– Вот оно – реальное исчезновение так и не зародившегося вновь кулацко-фермерского класса! – воскликнул Пал Иваныч. – Так всегда было и будет. Истинного труженика во все времена ограбят, унизят, высмеют и вышвырнут. Хорошо, если этот бедолага-фермер сам в живых останется. Мнимый же «фермер на бумаге», жулик, не отличающий проса от репы, будет в это же

время жить в городе и получать доходы с бывшеколхозной земли, с земли, которой он никогда и в глаза не видел! Таков всегдашний принцип ограбления нелюбимой Родины!.. Струись, коровья кровь! Плачьте, невинные животные! Вы не виноваты в том, что родились и погибли в этом краю!

Пал Иваныч пытался скрипеть остатками зубов.

– Где моя конница? – кричал он. – Где мой револьвер!

Поцелуй

Как и предсказывал Пал Иваныч, Богиня Революции стояла на вершине холма в образе беломраморной статуи – обнаженная, веявшая холодком издалека.

– Вот она! – воскликнул старик, хотя Анонимус давно уже не отводил от нее своих щелеобразных глазок.

– Да! – только и выговорил он ошеломленно. – Ничего не скажешь, хороша! Жаль, что нет в ней ничего нового, живого. Давно разгаданная, с виду очень сонная девушка.

Оглядели статую со всех сторон и обнаружили, что дыхание в ней не угасло. Анонимус высказал предположение, что баба еще может сгодиться для конкурса Мисс Грудь, который он, Анонимус, собирается организовать. Но для подпольной порнографической студии не подходит – сонная, очень вялая дама!

– Тебе не сдобровать, ежели проснется! – хмыкнул Пал Иваныч. – Многие от нее получат по заслугам. Сейчас она застыла в «идологическом» недоумении, и никто, кроме меня, не сможет оживить ее.

– Давайте, я сделаю это своим поцелуем? – засуетился Анонимус. – Кажется, это можно сделать бесплатно.

– Не лезь...– крикнул старик, но было поздно: Анонимус уже облапил молодую полумертвую девушку.

Возле статуи находился высокий столб из неизвестного металла, на вершине которого развевался флаг цвета отчаяния, рассыпающий при каждом взмахе искры, словно лист раскаленного железа.

Анонимус еще сильнее сжал красавицу серыми ладонями, впился в ее губы долгим поцелуем, привстав на цыпочки. Но в следующую минуту был отторгнут, отброшен невидимой силой, словно его ударило током.

Полежав немного на траве, Анонимус очнулся, вытер ладонью лягушачьи подрагивающие губы. Он уверял, что от настоящей красоты и от ощущения счастья его отделял всего лишь тонкий слой импортной помады, партию которой он, Анонимус, закупил недавно в деревне Трезвиловка.

– Жди меня! – крикнул мраморной красавице Пал Иваныч. На глазах его выступили слезы. – Вот разберусь с «господами» жуликами и вновь тебя освобожу.

Вечная рожа

Там, где болотце начинается, в гуще зарослей увидели они большой канцелярский стол: старинный, пятидесятых годов, на точеных фигурных ножках, покрытый сверху зеленым сукном в чернильных пятнах.

– И здесь меня опередили! – с досадой воскликнул Анонимус. – В самом глухом месте, на болоте, наши конкуренты открыли новый офис! Интересно, что они здесь берут: торф или камыш для веников?

Пал Иваныч, хлюпая в сапогах по болоту, подошел прямо к столу, раздвигая руками осоку.

Неожиданно над столом возникла огромная, метра четыре в диаметре, физиономия.

– Слушаю вас, гражданин! – глухо буркнула Рожа. Болотные стоячие озерца запузырились. Говорила Рожа с ненавистной чиновничьей вежливостью.

От слова «гражданин» Пал Иваныч поначалу остолбенел, затем еще больше рассердился:

– Зачем ты сюда уселась, вечная Харя? – интересовался старик. – Ты, помнится, в двадцатом году затачивала для меня карандаши!

–Вы конкретно по какому вопросу, господин старик? – спросила Рожа, делая вид, что не узнает Пал Иваныча.

Туловища у нее как бы вовсе и не было, один лишь огромный круг лица с рассеянным взглядом.

– Всю жизнь я боролся с бюрократизмом, но вы размножаетесь словно тараканы, – негодовал старик. – Ну что мне с вами делать?

– Не мешайте производить дела! – чудовище макнуло гусиным пером в чернильницу и заскрипело по листу бумаги, выводя заранее определенное слово.

– Эту личность придется исторически опротестовать! – старик перемещался к луже, над лысиной вилась стайка комаров, недолго думая, он ткнул гвоздем тросточки в круглый розовый подбородок.

Мгновенно вся Рожа, надутая наподобие резинового шара, лопнула. Над болотом пронесся запах смрада, заквакали лягушки.

– Правильно! – похвалил Анонимус. – Конкуренты нам здесь не нужны. Я тоже противник чиновничества. Никогда нельзя получить у них нужную справку. Самый простой документ запутают и замордуют.

Наши путники прошли дальше и обнаружили в склоне овраг ларек, вырытый в виде пещеры. На прилавке стандартный набор: куртки, джинсы, жвачки.

– Это еще что такое? – снова рассердился Пал Иваныч. – Зачем спекуляция? Кому здесь, в овраге, нужны твои жвачки? Да я лучше глину буду жевать! – старик обращался к продавцу, дремавшему над своим товаром. Но вот продавец поднял голову. Физиономия его также была отвратная на вид, вся сплошь в зеленых крупных шишках.

– Палочкой, гвоздиком ткните его, Пал Иваныч! – подзуживал Анонимус. – Это мой конкурент, я сам хотел поставить в этом овраге киоск с жвачками, потому что здесь иногда играют дети.

Пал Иваныч ткнул несколько раз в тупое шишкообразное лицо, но из шишек вместо гноя стали выползать зелеными змейками денежные купюры.

Продавец торопливо хватал их, не упуская ни единой, швырял в кассовый ящик.

– Пойдем отсюда, – вздохнул старик. – Пусть эта мокрица сидит в глине, если ей нравится.

Анонимус вздохнул, обернулся, погрозил своему конкуренту кулаком.

И деревня была неподалеку – в широком объеме оврага. Здесь еще сохранились соломенные крыши, печки топили по-черному – дым выходил клубами из дверей.

Анонимус сказал, что он уже был в этой деревне, и она очень ему не понравилась, народ здешний ничего не понимает, ничего не хочет. Здесь даже слова «бизнес» слыхом не слыхивали, не говоря уже о таких всемирных понятиях, как «брокер» или «менеджер».

– Знаю я эту проклятую деревню! – ворчливо отозвался Пал Иваныч. – Народ здесь и в самом деле тяжелый. Когда-то я приказал выпороть полдеревни за то, что не понимали слово «социализм».

– Представляете, не хотят покупать импортные кроссовки, предпочитая ходить в лаптях! – возмущался Анонимус. – Глупее этих мужиков я никогда никого не видел. Хотел приватизировать общественный амбар, так они даже расписываться не умеют: наставили под договором крестов. А ночью амбар возьми да и сгори, какой-то идиот закурил под соломенной крышей.

– Вредительство у них в крови, – подтвердил Пал Иваныч. – Во времена Тамбовского восстания эти карюзлые мужички с кольями на мой пулемет бежали, как идиоты... После 61-го года, когда рабство отменили и колхозникам стали выдавать паспорта по разрешению Хрущева, который спутник запустил, – эта деревня всё еще оставалась памятником Рюрико-Сталинской Руси. Мокнет соломенная Россия от дождевых заповедных слез. Никому она, брат Анонимус, по душевному состоянию не нужна, одни лишь цари да вожди над ней изгаляются. Но в последние годы стала осуществляться мечта Тургенева, бродившего с ружьишком в этих местах – над хатами черноземных мужиков вместо соломы начал появляться шифер, те, кто богаче, кроют дома железом. Исчезает настоящая старая деревня – последний памятник крепостному праву и социализму.

– В цивилизованном обществе каждый памятник должен привлекать туристов и приносить прибыль, – заметил Анонимус. – Деревенские люди в этом смысле очень консервативны: я предлагал им вложить деньги в строительство церкви, крест на картонной коробке намалевал для рекламы – так мужики всё допытывались, кто будет строить, в каком месте и в какие сроки? Просто так они дать деньги отказались.

– Они тебя по физиономии определили, что жулик.

– Но где же она, знаменитая религиозность русского народа? – не унимался Анонимус. – Почему они не позволили сделать на ихнем религиозном чувстве бизнес?

– Религиозное чувство я из них революционно выбил, теперь они нехристями живут, – пояснил старик. – Я их, шельмецов, под наганом переводил из язычества в социализм, минуя христианство. Делали вид, что изучают марксизм, шевелили губами на политзанятиях, а толку никакого. В годы коллективизации я тут сплошную грамотность устроил, отчитался в исполком, но уже через три дня они читать и писать снова разучились.

Подняв тучу пыли с грунтовой дороги, затормозила шикарная машина, сверкающая позолотой. На месте пассажира сидела белая Морда, похожая на сметану в тазу. Морда протянула Анонимусу долларовую бумажку и велела поймать соловья.

Анонимус быстренько спрятал доллар.

– Но как же его поймать? – испуганно пролепетал он. – Эти деревенские такие бестолковые. Они вам и корову отдадут, и лошадь, но соловья ни за какие коврижки не станут ловить. Я уже пробовал организовать фирму по отлову и продаже соловьев – прогорела за одну неделю! Лопнул уставной фонд в размере семьдесят шесть рублей пятьдесят четыре копейки.

– Какого тебе еще соловья, свинья? – грозно подступил к сметанообразной Морде Пал Иваныч. – Не дозволяю! Я, хоть и интернационалист, но к искусству не равнодушен и нашу соловьиную песню никому не отдам.

– А я не собираюсь слушать этого соловья, я его съем, – Морда с презрением оглядывала двух плохо одетых ничтожеств. – Я хочу, чтобы мне подали жареного соловья, и мне его подадут!

– Но как же вы его съедите? – удивился Анонимус. – Ведь в соловье нет ничего, кроме его голоса.

– Потому и хочу его слопать, чтобы совсем ничего не было.

– Револьвер... – стонал в бессилии Пал Иваныч. – Где мой револьвер?

– Меня не застрелишь! – усмехнулась Морда. – Уже пробовали конкуренты: сквозь сметану пули пролетают, а дырочки вновь белым затягиваются.

Морда велела вернуть доллар и заявила, что лично пойдет в деревню уговаривать и подкупать мужиков насчет соловья.

Анонимус замешкался с возвращением доллара, но сметанная Морда не стала ждать, двинулась по направлению к деревне, пообещав, что за этот доллар Анонимус расплатится миллионами процентов.

Пал Иваныч пригрозил ему вдогонку ревтрибуналом.

Сметанная Морда между тем чинно удалялась, теряясь в зарослях лопухов. В правой руке чудовища сиял импортными наклейками пакетик жвачек, с помощью которого Морда задумала подкупить деревенский народ.

– Обратно Морда уже не вернется! – предсказал злорадно Пал Иваныч. – Сжарят его заместо пирога. В годы продразверстки в этой деревне бесследно исчезали продотряды, а во времена гражданской войны целые полки пропадали.

Позолоченная иномарка гордо раскорячилась на бугре. Шофер, сияя золотыми зубами, вышел наружу, закурил сигарету из красивой блестящей пачки. С неохотой угостил одной сигаретой Анонимуса, хотя тот просил «парочку», затем раскрыл поочередно все дверцы автомобиля.

– Зачем ты это сделал? – поинтересовался Анонимус. – Мухи в салон налетят. Они тут жирные, навозные, оставят пятнышки на обивке.

– Надо выветрить дух начальника! – объяснил шофер. – Невероятно вонюч, но связи огромные.

Анонимус, не слушая шофера, ходил вокруг автомобиля, поглаживал золоченый кузов – это золото предназначалось для золочения церковных куполов, но Морда каким-то образом перекупила металл еще до повышения цен.

Анонимус ужасно завидовал Морде и говорил, что если бы он мог погасить солнце и продать его по кусочкам, то он купил бы себе точно такую же тачку, а может быть и лучше; Анонимус уверял, что хотел бы покрыть бы свой автомобиль вместо золота слоем платины, купленной по спецканалам с секретного завода.

– Мечтай, мечтай, болван! – сплюнул досадливо старик. Плевок взбил фонтанчик пыли в дорожной колее. – Мне бы сюда походную пушку... Сколько я, брат Анонимус, церковных куполов повалял и распаял! Но я не думал, что это золото пойдет на такие вот самодурства.

– Не горюйте, Пал Иваныч! – Анонимус похлопал старика по узкому сухому плечу. – Если вы мне поможете приватизировать эти земли, я поставлю вам на этом бугре памятник из алюминия. Дешево и сердито!

– Пошел ты со своим алюминием. Если хочешь знать, идиот, в районном музее вот уже десять лет на плюшевой подставке среди прочих героев установлен мой натуральный бронзовый бюст.

– Бронзовый бюст можно переплавить за бугор под видом цветного лома, – хмыкнул Анонимус. – Наш фирма собирает бюсты разных вождей и гонит металл за рубеж на изготовление электроники. Из одного вождя средних размеров получается десять компьютеров!

Анонимус хотел и дальше рассуждать, но умолк, потому что Пал Иваныч опять замахнулся на него костылем.

Тетя Клава

Всю дорогу старик ворчал: Религий Патриотович называет его в публичных выступлениях «большевистской падалью», однако отказался от дуэли, которую предложил ему Пал Иваныч. Причем выбор оружия был за Религием Патриотовичем – вплоть до «идологического». Напугался перевертыш, сбегал в милицию пожаловался, провел пресс-конференцию с районными демократами, записался на всякий случай в церковную общину.

Вскоре наши путники увидели другой сарай, именовавшийся буфетом, имевший соответствующую вывеску.

Заведовала им тетя Клава, женщина внушительной наружности. Она умела справляться с буянами, да еще, бывало, поколотит самого строптивого. Кулаки у нее крутые, желтые, словно сырные головы. Умеет пустить в ход тряпку, швабру, гирю. К ней-то и зашли Анонимус с Пал Иванычем, решив пропустить по кружечке перекисшего, но все-таки пива.

Тетя Клава была во всех отношениях смелая женщина. Когда в 85-м году, в разгар борьбы за трезвость, к ней приехал первый секретарь райкома и приказал вылить пиво на землю, она ответила с достоинством: плати семьсот рублей и делай с этим пивом что хочешь!

Долгожданное пиво, кислое, но все еще духовитое, шибающее в голову. Анонимус осушил три кружки, ворчал вполголоса, икая: со временем он выкупит этот буфет и станет торговать свежими продуктами.

А еще он попросил Пал Иваныча купить зачерствелый пирожок и бутерброд с засохшей, свернувшейся в трубку колбасой.

Зубы у маклера были небольшие, зато острые, словно гвозди.

Появились подозрительные типы со свертками, скрылись за синей засаленной занавеской, пошептались с тетей Клавой. Так же деловито вышли обратно с полной авоськой.

Анонимус с завистью смотрел им вслед: умеют люди проворачивать свой бизнес!

– Со мной однажды сыграли шутку в данной забегаловке, – рассказывал старик со снисходительной усмешкой. От пива он захмелел, жесты его стали благодушными. – Купил я у тети Клавы торт для своего боевого товарища, бывшего полкового комиссара, которого трижды спасал от расстрела. Принес, значит, гостинец к нему домой, открыл, а в коробке вместо торта человеческая голова в целлофан завернутая. По факту данной покупки было возбуждено уголовное дело, но преступника, разумеется, не нашли, и голова никем не была опознана.

– Жуткие чудеса творятся в таких вот захудалых пивных! – поежился Анонимус. –Не пора ли нам уходить отсюда?

– Может, еще пирожок хочешь? – Пал Иваныч расщедрился, засунул руку в нагрудный карман гимнастерки, зашелестел деньгами. – И кружку пива возьму, пей, хрен с тобой.

– Нет, благодарю... – Анонимус оглядывался по сторонам, затем поспешил выйти на улицу.

Пал Иваныч допил пиво и вышел вслед за Анонимусом, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу посреди выгона.

– Однажды я прямо-таки ожил, услышав это дефицитное слово – «пиво»! – разглагольствовал Пал Иваныч. – Случилось это в 86-м знаменитом году, когда нас приучали есть торты и запивать их чаями. Как на грех я был с большого похмелья, а мне в тот день предстояло руководить семинаром атеистов.

Я с раннего утра бегал по всему райцентру, не мог найти ни самогона, ни браги, ни даже одеколона на складе, хотя прежде этим одеколоном частенько выручался, предъявляя удостоверение народного контролера. И тут вдруг встречается мне молодой приятель, сотрудник районной газеты. В руках у него – прямо чудо! – канистра свежего, только что в Ельце купил, пива. Представляешь, душа Анонимус, как я обрадовался! Я обнял этого славного малого и прослезился.

– Не представляю... – хмыкнул Анонимус. – Я пил во времена социализма, а теперь некогда – надо деньги делать. Скоро открою собственный пивзавод в городе Ничтожске, и вы, дедушка, будете пить мое пиво за мой счет – сколько вам угодно. Я ведь русский человек, и у меня щедрая русская душа!

– Что такое? – Пал Иваныч с удивлением взглянул на него. – Да ты, никак, нормальной личностью делаешься?

– Я не жадный... – тонкая ниточка рта растянулась в довольной ухмылке. – Я, батя, не жадный, но и ты, пожалуйста, не трясись над каждым гектаром бывшей колхозной земли. Погляди на себя – ты самый бедный старик в нашем районе! Как ты одет!.. Какой у тебя дом!.. Не жмись, не жмись, дедушка, над землей! Каждому школьнику известно, что Вселенная расширяется и земля, соответственно, тоже.

– С чего ты взял, что она расширяется? – старик опять вмиг рассвирепел, лицо его исказилось одутловатым пивным гневом. – Кто тебе сообщил такую лживую глупость? Я не позволю позорить материализм. Если бы Вселенная расширялась, я бы чувствовал это всей пролетарской душой. Вот уже полдня хожу с тобой и ощущаю, как моя фуражка все теснее сжимает мне голову. Стало быть, Вселенная сжимается!

Старик приподнял сталинскую фуражку за грязный козырек, помахал ею над лысой головой – от макушки, словно реки по коричневому глобусу, сбегали вниз, к седым бровям тонкие ручейки пота.

– Ты, голубчик Анонимус, стал заговариваться. Тебе пора лечиться от алкоголизма.

– Слава богу, от социализма я уже вылечился! – воскликнул Анонимус. – А пил я потому, что не мог жить при вашем строе, нарушающем права человека и предпринимателя. Но теперь пришло мое время, и я вволю потанцую на ваших разложившихся парттрупах.

Из-за кустов к ним уже мчался бывший парторг Тазиков с листами бумаги в зубах. Листы эти, отпечатанные на райкомовском ротаторе, разъясняли положение о временных партгруппах.

Тазиков на ходу кричал, что создавать партгруппу можно лишь при участии представителя райкома партии.

– Хрен два ты потанцуешь на моей группе революционной крови! – Пал Иваныч схватил Анонимуса за грудки, выкрикивал ему в лицо. Тот испугался и временно забыл, что он на этот момент является новым хозяином жизни. – Мою группу крови пили мамонтовцы и антоновцы. Меня четырежды выводили расстреливать и дважды приводили в исполнение. Но Богиня Революции хранила меня, и пули не достигали хрупкого металлического сердца. Меня уважали, потому что я залил страну кровью, смешанной с мечтой.

На порог пивной вышла тетя Клава и крикнула, чтобы расходились по домам.

– Не мешайте проводить партсобрание! – сделал ей замечание сумасшедший Тазиков, заполнявший бланк протокола.

Бывший парторг был небрит, кончик длинного носа побелел от умственного напряжения. Вся его одежда облепилась гроздьями старых и молодых репьев. Вокруг шляпы оплелся стебель повилики с красными и фиолетовыми цветочками.

– Я вот вам сейчас... мать вашу... запротоколирую! – Тетя Клава схватила швабру, сделала два внушительных шага к собравшимся.

Анонимус бросился бежать, утаскивая за собой Пал Иваныча.

Тазиков пытался разъяснить тете Клаве премудрости ведения партсобрания, за что получил солидного пинка.

Очутившись снова за кустами, Тазиков принялся разглаживать смятые листы бланков.

– Итак, товарищи... – хлюпал он носом. – Считаю данное собрание открытым!

Секретный забор

На полосе гофрированного металла был нарисован большой плакат: «Летайте самолетами Аэрофлота».

Анонимус высказал предположение, что это предприятие имеет отношение к авиации.

– Не разглашай секретов нашей обороны! – Пал Иваныч приложил палец к губам.

Анонимус сказал, что ему вовсе даже не интересно глядеть на этот забор. Мало ли на свете заборов, сделанных ив прочного материала и замаскированного рекламой?

Поверх забора была натянута в два ряда колючая проволока. Пал Иваныч не преминул заметить, что колючая проволока – единственное изобретение запада, которое он уважает. Колючая проволока – дневной сон человечества! Без колючей проволоки двадцатый век никак не смог бы состояться.

Помимо надписи, приглашавшей пользоваться услугами Аэрофлота, был еще портрет стюардессы. Анонимус не преминул заметить, что слухи о красоте стюардесс преувеличены. Подумаешь, девица в голубом берете!

У нее короткая казенная улыбочка! Такую он, Анонимус, не возьмет в свой будущий офис даже уборщицей.

А еще на заборе была надпись: «Близко не подходить и руками не трогать – частное владение!»

– И здесь новые феодалы объявились... – ворчал старик.

В воздухе стояла приятная духота после недавнего короткого дождика. Над ближним лесом светлело небо. Отчетливо пахло землей и мокрыми ромашками. Над лесными опушками поднимались клубы пара, словно дымили угасавшие костры.

Анонимус подошел к плакату, отлепил у стюардессы бледно-розовый ноготь.

– Не люблю секретов! – фыркнул он доставая из кармана перочинный ножик, которым попытался царапать металл забора, но не сделал даже полоски. – Вот стану богатым, куплю все мировые секреты с целью перепродажи. Я открою общедоступную биржу военных секретов.

Пал Иваныч показал ему кукиш.

Возле забора пасся на привязи теленок, он с любопытством поглядывал на людей, пощипывал сочную траву.

– За наличку такой объект не укупишь... – Анонимус вздохнул, спрятал перочинный нож в карман. – Забор очень даже солидный.

– Сам ты безличная тварь... – Пал Иваныч убедился в прочности забора, ткнув в него гвоздем палки.

Не успел Анонимус закончить фразу о длинноногих девушках, которых он купит для своего будущего офиса, как часть забора отъехала на колесиках, открывая дымящее пространство заводов, малиновый жар шлака, вываливающегося из печей. В нос ударил запах металлической гари.

Раскрылись ворота ангара – оттуда выкатился странный механизм, напоминающий доисторического ящера, шагающего вперевалку на огромных утиных лапах. Чудовище взмахнуло перепончатыми алюминиевыми крыльями, но не взлетело, а сделало плавный скачок вперед, дохнуло огнем, словно сказочный змей.

Раздавив нечаянно лапой теленка, помяв кусты, чудо-юдо остановилось и смотрело на людей горящими рубиновыми глазами. Тонкие струйки обжигающих лучей, вылетавшие из зрачков, прочертили холмы, срезая вершины дымящей земли, словно горбушки хлеба.

– Самолето-дракон! – прошептал Анонимус, прячась за спину Пал Иваныча. – За границу бы такого продать! За валюту!

Анонимус перетрусил до свинячьего духа, и Пал Иваныч грубо оттолкнул его. Старик заявил, что никому не позволит продавать новейшее военное существо.

Чудовище снова дохнуло огнем, и половина леса вспыхнула, птицы умолкли.

– Не дури, черт! – воскликнул Пал Иваныч. – Где ты, железный дракон, раньше был, когда я с малым отрядом сражался против превосходящих сил белых? Ежели хочешь, скушай этого несчастного полубуржуя, мечтающего получить задарма всю Россию?

Пал Иваныч обернулся, показывая пальцем на Анонимуса, присевшего от страха.

Чудовище отрицательно покачало головой: нету, мол, аппетита.

– Чем же ты кормишь свое стальное пузо? – удивился старик, поглаживая огромный коготь, впившийся в землю с глубиной плуга. – Это какой-то новый металл, смесь всех твердостей мира! – воскликнул он. – Смешалось-свершилось! Значит, скоро и в самом деле конец света.

– Нам нужен мир! – сказал Анонимус, выпрямляясь в полный средний свой рост. – Ты же нас учил, Пал Иваныч, на пионерских сборах, что мир всем нужен!

Он попросил старика разузнать, как называется это техническое изобретение и какова его примерная стоимость в долларах.

– Не знаю, как называется этот змей, но ты, человечишка, перестань подванивать... – старик сморщил нос. – Напрасно я кормил тебя пирожками с ливером.

Чудовище попятилось задом, замахало перепончато позванивающими крыльями. От них пошел такой сильный ветер, наши путешественники, словно тюки сена, покатились с холма.

Дракон взлетел, сделал круг над горевшим лесом и, пыхая огненными столбами, скрылся за кромкой дымящего горизонта.

– Пойдемте скорее отсюда! – Анонимус помог старику подняться. – Мы наблюдали военный секрет, а это не поощряется. Нас могут задержать, а время это деньги.

– Дракону мы с тобой не нужны – он помчался выполнять невыполнимые заветы! – задумчиво произнес старик.

Пуховая проповедь

На следующем бугре совсем ничего не увидели, кроме двух столбов, врытых в землю. К столбам была привязана веревка, на которой сушилась перина, слегка промоченная недавним дождиком.

Старик высказал предположение, что это истинно кулацкая собственность, потому что у бедняков – он знает точно! – перин отродясь не водилось, спали на мешковине, набитой соломой, и потребовал у Анонимуса складной нож, который тот вручил ему дрожащей рукой.

– Зачем портить имущество, Пал Иваныч? – вздохнул Анонимус, опасливо оглянулся. – Не лучше ли приобрести перину согласно закону о приватизации? Тем более, кругом ни души. Возьмем ее с собой, а на следующем холме продадим.

Пал Иваныч, освирепев неподвижным лицом, открыл лезвие, с хрустом вспорол поверхность перины. Влажный пух лениво взлетел, окутывая фигуру старого большевика туманным образом

– Я, товарищ Анонимус, согласно диалектике, открыл тебе дорогу без всякого желания и предусмотрения. Ты есть не что иное, как проклятье обалдевшего социализма.

– Но вы же сами говорили, что история ведет к процветанию согласно истмату! Теперь нам, Анонимусам, предстоит подбирать из грязи вашу идею о смысле объединения людей, но уже на коммерческой основе. Мы с вами хотим одинаково добра для людей, но разными способами.

– Да, соц-Вавилон не состоялся, но и капиталисты под напором кризиса признали свое моральное поражение, – Пал Иваныч снова вонзил ржавое лезвие в перину. Здесь пух был более сухой, летел сильнее и гуще, скрывая лицо старика белыми облачками.

– Я тоже был пионером, был тимуровцем! – всхлипнул неожиданно Анонимус, с жалостью глядя на перину. – На конкурсе школьных рисунков я занял первое место и домой шел вприпрыжку от радости.

– Зато я, господин Анонимус, знаю тайну народа! – старик еще несколько раз ударил по несчастной похудевшей перине. Возле пыльных сапог ветерана лежал белый слой пуха.

– Я тоже знаю, – перебил его Анонимус и нетерпеливо замолотил серыми кулачками по перине, вышибая из нее нижние слежавшиеся перья. – Тайна народа в желании иметь.

– Врешь! – Пал Иваныч резким жестом отстранил его от перины, давая понять, что расправляться с ней лишь его, старого большевика, привилегия. Хотя теоретически старик был за отмену всех привилегий вообще. – Тайна народа в желании отдать себя целиком. Я гляжу в оба конца своего сердца, вросшего в историю с корнями, и ужасаюсь. Сердце, пан Анонимус, – главная могила мысли. Возвращение всегда отвратительно, поэтому я командую: марш-марш вперед! Кто пойдет в атаку?

– Я! – завопил Анонимус, исступленно кидаясь к перине, с намерением рвать ее ногтями. Но Пал Иваныч сильно толкнул его рукой.

– Ты, братец Анонимус, желаешь взять от трупа раздираемого ненавистью мира еще не совсем протухшие куски, а я изо всех сил пихаю тебя назад. Дьявол зажигает в тебе свою лучину. Но закрытое слово – это не батон колбасы.

Анонимус, обессилев в споре, плюхнулся задом в пуховую кучу, целиком скрываясь в поднявшемся белом сугробе, словно в завихрениях метели.

– Я напрасно раскулачивал эту бедную страну! – признавал свою ошибку старик. – Но мы еще оживим Богиню Революции, она пустит в ход свои грозные молнии. А ты, Анонимус, не смей целовать ее вторично, она не для тебя.

Анонимус, скрывшись по плечи в белом, плакал щелками испуганно взблескивающих глаз, стряхивал пух с головы, с серых мышастых волос.

– Когда я стану богатым, за мной тоже пойдут массы! – всхлипывал он. – Я их просто куплю. Их веру в меня, надежду на меня. Когда у меня будет на счету миллиард долларов, я назову себя лучшим оратором края. И никто мне не возразит, а тех, кто будет возражать, я тоже куплю.

– Молчи, окончательное существо! – прикрикнул на него Пал Иваныч. – В тебе нет протяжинки, ты слишком торопишься. Я тоже когда-то торопился и сделал много мертвых прыжков. Моя жизнь – расставание всех со всеми, хотя я почти вплотную подвел людей к материалистической интернациональной любви. Я почти усмирил алчные неразумные народы...

– А кто будет отвечать за растерзанную перину? – спросил Анонимус.

– Революционно спишется по акту.

– Тогда пойдемте отсюда поскорее, пока не вернулся хозяин перины.

Они двинулись дальше, на следующий холм, и Пал Иваныч всю дорогу ворчал: не нравилось ему слово «хозяин».

Воскресение

Похоронная процессия, которую они встретили, насторожила Пал Иваныча. Люди, несущие гроб, были еще более безликими, чем Анонимус. Видимо, они были более удачливым в жизни и могли позволить себе потерять лицо для прочего мира.

Зато гроб, который они несли, сиял хрусталем. Даже старик на него залюбовался, хотя он терпеть не мог всяких похоронных принадлежностей.

Венков было в избытке. Их не только несли, но и везли в запас – на стволах пулеметов и танковых пушек. Танки и бронетранспортеры охраняли процессию, катили с хрустом и лязгом вдоль обочины полевой дороги, приминая заросли поспевающей кукурузы.

Безликий человек молча вручил нашим путникам венок.

– Кого хороним? – деловито осведомился Анонимус.

– Здешнюю Славу и Память! – ответило неопределеннее лицо, словно бы вырезанное из листа картона.

– Не знаю никакого Славика... – попятился Анонимус. – Был у меня один знакомый Вячеслав, организатор хит-парада в деревне Трезвиловка. Сейчас он занят поставкой лягушек для инофирм.

Но венок нашим путникам был вручен непреклонно. Пал Иваныч с Анонимусом были поставлены на указанное место в колонну, и шествие возобновилось.

Вечерело, но свет был ясный. Лязганье танковых гусениц производило тяжкое впечатление, однако Анонимус надеялся, что поминки будут хорошие и он, наконец, по-настоящему пообедает.

– Неужели, умерла, голубушка? – Пал Иваныч неожиданно всхлипнул. – Да нет же, врете вы все! Она жива, жива!

Старик схватил венок обеими руками, шнырнул его на пыльную дорогу. Венок звякнул зелеными железными листочками. Пал Иваныч крупными шагами двинулся к гробу, расталкивая безликих солидных людей в одинаково черных костюмах с белыми бахромчатыми цветками в петлицах.

– Вставай, милая! – Пал Иваныч кинулся к прозрачному сияющему гробу и, навалившись на него всем телом, увидел мертвое лицо красавицы, которую они с Анонимусом видели на одном из холмов. На губах ее алыми пятнами темнели остатки импортной помады. – Подымайся, светлая! Наведи справедливость своей алмазной рукой!

Красавица открыла большие карие глаза, встала. Сияющий гроб с хряском развалился на куски от первого же ее движения.

Толпа безликих, жадно пыхтя, принялась эти куски подбирать.

Богиня Революции стояла, как и прежде, на вершине холма, и все вокруг озарилось несказанным сиянием, словно опять наступило утро.

Бандиты, охранявшие процессию, принялись палить в женщину изо всех стволов, но пули высекали из ее лица лишь гневные искры.

– Прочь!.. Да здравствует!.. – кричал, задыхаясь, старик, защищенный ее пуленепробиваемым телом. – Молнию, деточка! Сделай молнию!..

Анонимус лежал на земле у ног Пал Иваныча, пули не задели его.

Алмазная красавица подняла величественным жестом белую руку, и тысячи молний, вспыхнув голубизной, сожгли в прах всех нападавших.

Анонимус, быстро опомнившись, принялся составлять опись оставшегося оружия с целью его дальнейшей реализации.

Пал Иваныч выхватил из его рук блокнот, разорвал пополам.

Анонимус, не унывая, поднял с земли осколок хрустального гроба, спрятал в карман.

– Выброси... – посоветовал Пал Иваныч.

Бросив прощальный взгляд на Богиню Революции, оставшуюся стоять посреди поля, путники начали взбираться на следующий холм.

Михаил КВАДРАТОВ

персефона

девой персефоною
сорваны подосланы
голытьба и лед
нарисуй зелёное
дерево над островом –
только не спасёт

не зажгут фонарики
не раскроют ноженки
ёжики весны
возле птичьей фабрики
вечности заложники
будут казнены

по такому случаю
свозят на трамвайчике
в чёрно-белый ад
полчаса помучают
солнечного зайчика
а потом простят

***

где-то в мире
в цокольной квартире
почти сосед условный инвалид
нечасто спит и по ночам глядит
глядит наружу из подземных окон
вверху искрится чёрный волчий кокон
со временем он понимает – это знак
и всё не так

он тих он медленно выходит
идёт искать
в его надписанном фланелевом мешке
латунный молоток игольный циркуль
коробка мела
в углу он видит белую собаку

Михаил Квадратов родился в 1962 году в Сарапуле. Окончил МИФИ, факультет экспериментальной и теоретической физики, кандидат физико-математических наук, живет в Москве. Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Новый берег». Автор книг «делирий» (2004), «Землепользование» (2006).

корзину и пчелу
он замечает дикие народы
его никто не ждёт
он бесполезен для любых людей
ну, может, путает, чего уж –
вон весело гудят пружины и разъёмы
и мир показывает чудные картинки
но как-то так всё...

...а по дороге из солнцево в одинцово
он случайно находит искомое слово
произносит смеётся
не помнит снова

***

а если вечером на танцы не пойдем,
нас вечер примется наказывать дождем;

зазубренными искрами покажет,
как можно портить горделивые пейзажи,

из тучи в пустоту пускать ненужный дым;
и город поползет по рельсам грязевым,

назло желая пасть на дно открытого колодца,
но остановится и мелко затрясется,

и дрогнет парк, и с каменных посыплются кустов
стада латунных белок с бельмами болтов;

...ну вот, ты этого, наверное, хотела,
(гляди, еще припомнят гибель третьего отдела)

потом, конечно, будет новый день, и бабочки в росе,
но виноваты, гады, все

Василиск Гнедов

Эй, давай, не ленись, загляни в небо –
Там на небесах Василиск Гнедов,
В голове его торчит золотое Солнце,
Он блистающими звездами плюется,
Ковыряет небо жестяными сапогами,
Громыхает, гад, треугольными слогами,
Круглыми словами обложит, сука.
– Ну-тка тащи его вниз – будет гаду наука.
– Ну-тка сшибай его суровыми словесами.
– Нет ужо, давайте, волоките сами.

полупоэма

-1-

в сферах небесных
светлы нетленны
лунные песни,
а на земле нам –
нудно, безлунно;
в парке зарыты
две маргариты
книжником бруно

в теплом подвале
серые нитки,
белые мыши;
долго ворчали
дуры чухонки
на почтальонку –
нету открытки,
сверху не пишут

старые ставни
в тесной кладовой
забраны камнем,
крашены винным
или бардовым;
и мешковина
вышита красным;
что там – неясно

что там – не видно

-2-

обзывал врагами,
а на луне вон – песни;
говорил – повесится
всего на пару месяцев,
ерзал по креслу,
обещал воскреснуть
бабушке и маме;
знали – обманет

(мы на полнолуние
жили на луне,
полюбили боль;
повиси с мое
на стальной струне,
на басовой соль)

-3-

а на воскресение
прилетят незваные
сестры милосердия
братья черепановы

истуканы вещие
отроки отважные
пальцы перекрещивать
взглядами поглаживать

высохшие плечики
согнутые ручеки
вы меня замучили
люди человечеки

я опять за облако
вона как

маленький

как-то нелегко
холодно
сделайте укол
в голову
стану я опять
маленький
буду рисовать
сабельки
проколю больших
стрелами
а карандаши
белые

мальвина

вчера под вечер умерла мальвина
мальвине было девяносто восемь
не спрашивай – такой бывает осень
в саду звенит оранжевая глина
и старость на хрустальном паровозе
за озеро недорого подвозит
не спрашивай – везёт поближе к дому
в котором радостно и всё знакомо

вышел месяц

укатилось смешное солнце –
отлепилось заплатой от неба –
сквозь дыру в небосклоне конница
входит в северный город феба
нечем нынче укрыться нечем
улыбается виновато
крошка-месяц в сиреневом френче
будет резать – круглая дата

***

вздорные гномики вздернули моцарта
сонные роботы съели мефодия
мы еще снимся вам, милая родина?
как вам живется там?
кто эти люди – суккубы, инкубы ли?
просто играли потертыми тайнами?
...просто проснулись тогда слишком рано мы
в день, когда умерли

Наталия АЗАРОВА

***

мир зримый зимородок
оттаяла ли ялта
по льду ли люди
не умерло ли море
устав смотреть на ничего
из ничего сплела косичку

Москва
январь 2010

маньеризм

конский глаз
пронзителен как глаз
сырой креветки

октябрь – ноябрь 2010

***

ноябрь – подённая работа дневника
ручки послушны и шариковы
дни поручены – их меньше
каждого окна темь
сообщает душе
долю своей тьмы

пока не
рисовой рассадой
оракульной
свиток из кишок снега

Москва
1 ноября 2006

Наталия Азарова родилась в Москве, окончила филологический факультет МГУ, доктор филологических наук. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Воздух», «Крещатик» и др. Автор книг «Телесное-лесное» (2004), «Цветы и птицы» (2006), «ШПУ. Шутки после ужина» (2006), «Буквы моря» (2008), «Соло равенства» (2011).

***

ноябрьский полдень
кальян настольных рыбок
огнетушитель запрятанный

Москва
2 ноября 2011

***

от полуденной номенклатуры
прогулки
ах! оторвались –
возникла
посередине корня
лужа

дерево сухой мадеры

Мадера
19 января 2011

***

ночью
земной мячик
срывается с балкона
и отскакивает
обратно

Москва, Остоженка
27 августа – 1 сентября 2011

***

алупка готовится к
холоду
юг
забивают фанеру
пальцы одевают в саваны
ктото укутал кактус
море скатали
звёзд поубавили
жизнь как безлунная линза
дух от холода съёжился

Алупка
5 января 2011

синхронно

это проще прошлого
думали
но вот машина ломается
и не хочет чиниться
по частям и растёт во всякие
масштабы
всё бóльшие и бóльшие и бóльшие
всегда забывая о прошлом и о гнёздах
будущих
синхронизируя
отсобачить всё же описание
пока оно заворачивается во
время и его уже незаметно
из-под пространства

Ялта
7 ноября 2011

пирамида ампира

воду поднимают в горы
по бамбуковым трубам
воду отрезали от гор
бамбуковыми ножницами

мимо воды еду на трамвае по уровню
сна последнему в пророческой
иерархии и на уровне дрёмы
делаю поворот на горку

парным ключом бамбука
перед
картиной жнецов

Москва
1 ноября 2006

***

полосат твой голос о господи
окóнчатне твои башенки доходные
по бокам моим именинные пуговицы
ежегодная звёзд очередь

через нос жизнью дует
через раз утром будят

то мои неупорные предрассудки
всласть демисезонны
то утраченные причины
осень из сил последнего слитка
будущего мало
нужно ещё что-нибудь

Москва
23 сентября 2011

***

надолго
тысячелетие
(а – только – что – зажгли)
ноли горящим – воском
сотнями – десятками – стекали
– в – год
(а он уже в свечном запале)
ра – й в по – дар – ки – ад –
куранты
кругом – в – рай
(теперь нескучный)
чересполосится
чистилище – палитрой – парк
опомню утром
горстку ангелов – на – острие

Москва – Нью-Йорк
2 января 2004

***

тысячелетие крутится новым креслом
от окна к окну
реплики разбросаны по рельсам
яузы белого винограда из-за
пера́ папирус
развернуть
некоторые ручкой строчки стручки
– пока шикарны камыши
особенны последним сосны –

Москва
28 февраля – 1 марта 2006

***

десять дней до женской империи
взвиться-фурией?
никнуть-парией?
зову дерево
потесниться
пустить
детей
посмотреть
первыми

2003

***

да мы все под радугой ходим
ночь перекрёстной вспыхивая мошкарой
умирая моими старыми студентами
предплечиями моей мамы ломаясь рук
плацебо творительным скорость
оглушительна украинская ночь

вдруг лунный пленум
что же это за тожесамость того же
впереди терраса интимнее космоса

Херсон – Днепропетровск, 16 июня
Прага, 17 июля 2011

Вера КОБЕЦ

Рассказы

КИНО И КНИГИ

Все вылеты почему-то задерживали. Стеклянное здание аэропорта, казалось, вот-вот расплавится. В буфете скандалили, надсадно плакали дети, в воздухе расплывалась сонная одурь.

Между ними сидели четверо. Старик грузин, от которого сильно несло чесноком, рыхлая женщина, увешенная раздражающей глаз бижутерией, толстая ноющая девочка и военный в зеркально начищенных сапогах.

Он пытался читать. Это был Кортасар, рассказ о пробке на дороге, томящихся от жары людях, торжестве раскаленного железа над слабой и бренной плотью. Рожденный в пампасах рассказ кипел и пенился в стеклянном кубе затерянного среди бескрайних песков транзитно-нелепого советского аэропорта и бурно выплескивался со страниц, перелицовывая действительность на фантастически-фантазийный трагикомически киношный лад. Грузин превратился в грузина из фильма Данелии, ярко раскрашенная толстуха с дочкой явно принадлежала к толпе персонажей Феллини, а военный, пожалуй, имел отношение к мистеру Питкину в тылу врага.

Он попробовал усмехнуться, но усмешка не получилась. Ирреальное намагниченное пространство все жестче втягивало в свой круг. Пытаясь сбросить с себя этот морок, он еще раз посмотрел на соседей. Грузин так и сидел, уставившись в пространство, обливающаяся потом мама Рома вытащила из сумки яблоко и попыталась сунуть его дочке, но та, оттолкнув ее руку, захныкала еще громче. Странные жесты, странные реакции... Гротескная полнота девочки была, вероятно, болезненной. Перед глазами мелькнул вдруг странный младенец-урод. Господи, только «Соляриса» не хватало. Вздрогнув, он торопливо перевел взгляд дальше. Военный, положив левую ногу на правую, сосредоточенно созерцал свой сапог. Почему-то возникло желание встать, подойти и щелкнуть его по макушке. Глядя на эту макушку и прикидывая, что будет, если он в самом деле позволит себе встать и щелкнуть, он вдруг увидел позади военного пушистую черную шапочку и словно серебряным грифелем нарисованный в воздухе профиль. Посадка головы казалась гордой, нежной, но как можно в такую жару сидеть в вязаной шапочке? Он моргнул. Нет, это, конечно, не шапка, а волосы. Грива курчавых волос вокруг тонкого, белого, или же нет, именно серебристого и словно тающего в воздухе лица. У него дух захватило. Снова повеяло чем-то инопланетным. Синдром жары, мираж. Опустив голову, он трусливо спрятался в Аргентине. Крики рожавшей там, на шоссе, женщины слились с криками в углу зала. Блеснули глаза, блеснул нож. Он устало откинулся на неудобную жесткую спинку красного дерматинового сиденья. Последние месяцы приходилось работать чуть ли не сутками. Вымотался, устал, а тут еще эта задержка. «Остановка в пустыне». Через несколько лет Бродский даст это название первой книге стихов, созданных там – в другом полушарии, в эмиграции.

Уснуть. Но кудлатая черная голова, прозрачное лицо и длинная нежная шея сразу вошли в полудрему. Глаза, едва намеченные острым кончиком карандаша, загадочно улыбнулись. Оставь

Вера Кобец родилась в Ленинграде. Закончила Восточный факультет ЛГУ и аспирантуру Института философии АН. Кандидат исторических наук. Автор множества публикаций в периодике (в том числе на английском и финском языках) и трех книг: «Побег» (СПб: Изд-во им. Н.И. Новикова, 1998), «Сладкая жизнь эпохи застоя» (СПб: Амфора, 2005), «Прощание» (СПб: Амфора, 2011; премия имени Н.В. Гоголя). Выпущено десять переводных книг, в том числе произведения классиков XX века У. Голдинга, А. Мердок, Ф. Рота, К. Оэ. Член Союза писателей СПб и Союза российских писателей. Живет в Петербурге.

меня, – попросил он, – ведь тебя нет, ты просто мне померещилась. Она молчала, но все вокруг искрилось от ее улыбки, улыбка благоухала – тонкие чуть прорисованные губы были по-прежнему плотно сжаты.

Хватит. Он встал, крутанул шеей, нагнулся, разминая затекшее тело, положил книжку на протертый дерматин и медленно пошел вдоль кресел. Колени грузина были на удивление худые и острые, ноги расплывшейся мамаши изуродованы узлами вен, сандалии дочки покрыты серым налетом пыли, и блеск сапог военного удивительно контрастирует с ними, но белая юбка сидящей рядом с ним девушки контрастна всему, что есть в этом зале. По другую сторону от нее сидела старуха с лицом в веселых морщинках и гусем в клетке, потом двое подростков, наверное, братьев, один из них спал, запрокинув голову и широко раскрыв рот. Рядом с братьями пожилой человек в старомодном, кажется, чесучовом костюме и очках в золотой оправе. Прямо чеховский доктор или дедушка Коли Колокольчикова из допотопного фильма «Тимур и его команда». Может, и доктор ему мерещится? Постояв возле киоска, где могли бы продавать соки и минеральную воду, он дал себе слово все же набраться храбрости и взглянуть ей в лицо, вздохнул, собирая волю в кулак, и двинулся прежним путем обратно. Дедушка Колокольчиков дремал, спавший подросток, наоборот, проснулся и, сладко зевая, оглядывался. Гусь шипел. Белая юбка девушки походила на парус, военный изменил позу: сидел теперь, положив правую ногу на левую... «Господи, и когда это кончится!» – вздыхала, обмахиваясь газетой, толстуха, девочка ела шоколад и причмокивала, облизывая перепачканные пальцы, грузин вежливо подтянул тощие ноги, давая ему пройти. «Спасибо», – сказал он и, обессиленный, плюхнулся в свое кресло. Чертовски хотелось набить себе морду, но он аккуратно открыл Кортасара и сумел сфокусировать взгляд на странице.

Пытаясь прорваться вперед, машины карабкались друг на друга. Совокупляясь, тут же производили на свет новенькие блестящие разноцветные особи. Крик рожающей женщины, хрип умирающего – всё смешалось. Вопли и ругань неслись к небу, но небо – сверкающее и гладкое небо – молчало. «Да где ж тут начальство? – взвизгнула вдруг толстуха. – Пусть дадут жалобную книгу! Они что, за людей нас не считают?» «Да теперь уже скоро», – успокоил ее грузин.

«Трус, трус, трус, – стучало в мозгу. – Чего я боюсь? Чего?» Он пытался сосредоточиться, но мешал скрежет металла и крики женщин. Жара, пыль, асфальт, пустыня до горизонта.

Где-то над головой захрюкал, пытаясь прочистить горло, динамик. Значит сейчас или никогда.

Он быстро поднялся, прошел мимо четырех кресел, огромным усилием воли сократил мышцы ног и остановился. Лоб серьезный. Скулы высокие и вылеплены на славу. Брови вразлет. Девушка улыбнулась, глаза смотрели доверчиво и спокойно. Где-то, когда-то он видел, да, видел это лицо.

«Внимание! Граждане пассажиры!...» Всё сразу зашевелилось. Просыпались, отряхивались, хлопали себя по карманам, подкрашивали губы. Рев моторов перекрывал уже голос, объявляющий номера рейсов, но еще можно было успеть, она была еще здесь. «Ну, наконец-то», – толстуха с дочкой, проходя, умудрилась наступить ему на ногу, кто-то ткнул в спину чемоданом – и он невольно обернулся. Наверное, как раз в этот момент девушка встала. Прижимая к груди Кортасара, он смотрел, как она идет прочь. Силуэт, словно очерченный серебристым карандашом, мелькнул еще раз в толпе и скрылся.

***

Четверть века спустя после этого томительного ожидания в аэропорту он сидел у себя на даче, смотрел, раздражаясь, как его дочь Наташа, только что выкупавшись, лежит животом на траве в липнущем к телу платье (точь-в-точь кадр из «Лолиты» с Джереми Айронсом), и размышлял, почему, собственно, эта девочка так ему неприятна. Хамит, но они все теперь хамят. Вертит задом, но они все теперь вертят. Нет, не все. И будь она дочкой той девушки из аэропорта... Пресекая эту нелепую мысль, он встал и, подойдя к дочери, попытался увидеть, что же она читает. Наверно, какую-то дрянь. Но все-таки это книга, а не журнал, рекламирующий прокладки. Он нагнулся – и не поверил своим глазам. «Вот уж не думал, что тебе нравится Кортаса́р», – небрежно сказал он,

стараясь не выдать волнения. Девочка обернулась. Словно завешенные шторками серо-зеленые глаза медленно поднялись ему навстречу. «Писателя Кортасáра не существует, папочка. Это – писатель Кортáсар».

КИСТЬ РЯБИНЫ

1.

При переходе во второй класс меня наградили похвальной грамотой и книгой «Снежная королева». Впереди было лето на даче, и это не радовало. Я с удовольствием сразу пошла бы во второй класс. Лето в Юкках (удобно, что близко к городу) не сулило мне ничего нового. Прошлым летом мы были в Гаграх, на следующее собирались в Крым. Это звучало привлекательнее, но спроси кто меня, я и тут выбрала бы не Крым, а второй класс. Школа давала защиту и нравилась больше, чем каникулы. Но и каникулы надо было терпеть.

Второго июня мы уселись в машину и выехали. Шувалово, Парголово, Осиновая роща – и почти сразу Юкки. Дом стоял в конце улицы, на краю луга, вдруг обрывающегося откосом. Однажды я не успею затормозить и полечу вниз, нелепо подпрыгивая в седле. Страх – оттого что смерть близка (сомнений в этом не было), а потом стыд, когда я, исцарапанная и грязная, все же сумела зацепиться за кусты и взобраться по косогору к себе на луг. Плакала не от боли, а о жалости к себе. Свист ветра, мое «о господи, господи, господи», бьющие по лицу ветки – и позорное возвращение домой, попреки няни.

Это было счастливое лето. Единственный раз за все детство я была предоставлена самой себе. Взрослые заняты. Всевидящее око дремлет. Луг – только мой. Иногда по нему пробегает ветер, и трава превращается в волны. У-у-у, – дую я тогда вместе с ветром и бегу, широко раскинув руки, или просто сижу, обхватив колени руками и представляю себе, как бежала бы: у-у-у! Длинные светлые дни, ни одного дождя, молоко в кружке с голубым ободком, солнце щекочет лицо и греет затылок, божья коровка ползет по руке долго-долго. Если пошевелиться, взлетает, хотя нет, не взлетела, ползет по длинному тонкому стебельку. Нарушит это сонное блаженство происшествие. Соседская собака, которой я много раз приносила остатки супа и кости, вдруг почему-то схватит меня за руку и глубоко вонзит в мякоть крупные желтые зубы. Меня увезут на несколько дней в город, а луг скосят. Жестоко, безжалостно. И когда я вернусь, вместо цветов и травы, в которых жужжала у самой земли интересная, суетливая, запутанная жизнь, передо мной будет лежать оголенный, обезображенный холм. И станет внятно слово «непристойность». И мелькнет страх: а как быть, если она и ко мне подберется? Но все это мимолетно. Как если бы бабочка, пролетая, задела крылом.

Бабочек, пока луг не скосили, кружилось много. Потом они разом исчезли. И появилось новое осознание времени. «Тогда, когда луг еще не скосили». Навек отодвинутое, ушедшее. Было – и нет. Чувство сладкой тоски, сильнее всего – где-то в животе. Зажмуришься – и видишь ромашки, клевер, львиный зев, белые звездочки, ажурное плетение, нежные вывернутые лепестки. Все это было и осталось в памяти, но теперь невозвратно.

«А теперь попрощайся с морем», – говорил еще раньше, до луга, до школы и первого в жизни первого сентября безуспешно пытающийся казаться спокойным взрослый голос. Мы были на бульваре, под ногами шуршали мелкие камушки, пахли магнолии и олеандры, все такое привычное, но «попрощайся» – и мои страшные слезы: страх перед расставанием и невозможность его осознать. Не владела этой наукой, а теперь овладела. Чувство собственной важности распрямляет, дает небывалую легкость и новое ощущение довольства своим телом. В первый (он же последний) раз в жизни это довольство наполняет чистой радостью, без всякой примеси неловкости или смущения. Холодным июльским утром – воздух пронзительно резок, по небу плывут ярко-белые облака – я открываю окно и по пояс высовываюсь наружу. На мне синяя майка, руки и даже плечи открыты. Обычно на майку что-то надето, но сейчас я предпочитаю так. «Катенька,

ты простудишься», – говорит тетя Шура. Она умывалась под тренькалкой и теперь идет к дому, в серой вязаной кофте, с переброшенным через плечо полотенцем. «Не простужусь, мне тепло!» Я полна снисходительности к ее дряблым мучнистым рукам, осторожной походке, разболтанным босоножкам. Я чувствую, как плотно облегает меня майка, как туго натянута на щеках кожа и как ее гладит ветер. Мне хорошо. И из этого ощущения счастья, своего превосходства над старенькой тетей Шурой и силы сжатого, как пружина, тела возникает (опять же в первый и последний раз) желание и возможность игры.

2.

Дом, где мы сняли комнаты, только-только достроен. Опилки, доски у крыльца. Даже гамак негде повесить. Дом не слишком-то привлекателен для жилья, но дача промежуточная, на один сезон, сойдет. Да и жить будут только дети с няней. Взрослые – наезжать по мере возможности.

Хозяин тракторист, хозяйка чаще всего в огороде. По крыльцу ползает годовалый мокрый и грязный ребенок. Увидев, как мать подхватывает его на руки и, причмокивая, целует, я быстро поворачиваюсь спиной, смотрю туда, где сразу за забором, в густом саду, стоит генеральская дача. Пока тракторист не построил свой дом, эта дача была последней в ряду. Вид на луг открывался из *ее* окон. А теперь... И я дачу жалею. Но смотреть на нее мне нравится. Точнее, не на нее, а на сад. Там «шум листвы», а у нас только две тощие рябины. «Участок голый, но это не страшно: в пятидесяти метрах роща». В рощу я так ни разу не дохожу. Игра, которую я придумала, тянет в другую сторону. Несколько дней подряд я играю в «бедную девочку», робко жмущуюся у ограды прекрасного барского сада. Высаженные с той стороны высокие кусты загораживают почти всё, и, создавая картинку, приходится опираться на собственное воображение и долетающие время от времени реплики. Например: «Нет, клубничное! Хочешь попробовать пенки?» Варенье – это «Евгений Онегин». Там в первой картине Ларина с няней варят его в саду, а Татьяна и Ольга поют за тюлевым занавесом «Слыхали ль вы?». Я часто изображаю Татьяну. Сижу «склонив головку» или «мечтаю». Иногда я срываю перышко лука и, прищурившись, смотрю в то-о-оненькое отверстие. Что-нибудь видишь? – спрашивает меня шелестящий голос. «Да, – отвечаю я. – Даль». Слово «даль», как и слово «окрестности» появилось недавно. Все новые слова я ощупываю, проводя языком по губам. Слово «даль» самое сладкое. «Пойдем со мною в даль», – шепчу я, и как раз в этот момент раздается истошный крик: «Нет! Только через мой труп! Через мой труп! Ты слышишь?» Мужской голос – кажется, наконец приехал генерал, – бухает неразборчивыми тяжелыми словами. «Слова падали, точно камни», – говорю я и, встав с грядки, вытягиваюсь во весь рост. Генерал представляется мне закованным в металлические доспехи. Он грозен, и на шлеме вьется красное перо. То, что перо не вьется, я понимаю, но не может же шлем быть с лентой. Конечно, нет. С шарфом? Панночка завязала дорогой шарф на рукаве Андрия, но ведь могла и на шлеме. «Обедать! Сколько раз тебя звать?» – доносится нянин голос, но мне везет: я еще успеваю дослушать финал. Ба-ба-ба-бах, рушится камнепад слов, а потом раздается страшный стук. Калитку сорвал с петель, думаю я, и, как выясняется позже, не ошибаюсь.

3.

Младшей сестренке Галочке всего два года. У нее диатез, для нее надо готовить особо. И вообще она слабенькая. Няня почти не отпускает ее от себя, предоставляя мне полнейшую свободу. Но иногда меняет тактику и требует помощи. Две главные мои обязанности: ходить в конец улицы за молоком и в дом с настурциями за ягодами. Ягоды надо брать только здесь, потому что у этой Клавы все почему-то родится лучше, чем у соседей. Клава довольно противная, смотрит на меня неодобрительно и говорит с подковыркой. Я отвечаю «смиренно» (еще одно новое слово, и очень кстати, я ведь по-прежнему играю в «бедную девочку». Бедные девочки частые персонажи обожаемой мной «Золотой библиотеки». Они все разные, но в общем, делятся на два сорта. Одни действительно бедные, сироты, другие «бедные понарошку» – на самом деле их украли или потеряли в *суматохе* и скоро отыщут (по родинке или брелоку), отвезут в Лондон или в прерии, где они будут кататься на пони, смеяться и помогать по-настоящему бедным девочкам, если те

сохранили доброе сердце и помогали тем, кто потерян с брелоком, в период вынужденных испытаний. Чаще всего я играю в бедную понарошку – роль дает больше возможностей, – и, медленно двигаясь в конец улицы, прислушиваюсь, когда же подъедет карета и из нее выйдет нарядно одетая дама. Она грустна. Семь лет назад цыгане похитили ее дочь. Но слезы не погубили ее доброты. Забота о бедных сиротках – главное в ее жизни. Дама ласково улыбается и протягивает мне руку. Я протягиваю свою. На безымянном пальце у меня пятнышко, очень похожее на Британские острова. Дама смотрит на родинку – и вот уже крики «О боже, воды мне, воды!» Смех, слезы, поцелуи, и, утомленная, я засыпаю в прелестной комнатке, стены которой обиты розовым шелком. Хорошо! Только глупо. И я сама это понимаю. Глупо и не достойно такой большой девочки. Но ведь никто не узнает! И все равно стыдно. Эти две мысли по очереди, как из окошек: высунулась и спряталась, спряталась и высунулась. И мордочки у них хитрые. Ну и пусть себе. Я ведь иду за молоком. («Чудом избежав смерти, она в этот солнечный день с задумчивым лицом шла по безлюдной, неширокой дачной улице».)

«Вот, вот та девочка!» Я вздрагиваю. Может ли быть, что сказка про потерянную дочь и в самом деле окажется правдой? Не случайно ведь у меня такая родинка! Хочу я вдруг оказаться счастливо найденной? Нет. Не уверена. И что они так кричат?

«Моя невестка видела, как ты катаешься на велосипеде, и считает, что ты и Софочка должны стать подругами. Как хорошо, что мы тебя встретили. Мы даже у Клавы про тебя спрашивали». Все это произносит низенькая старушка с блестящими из-под толстых очков глазами. В другое время я назвала бы ее загадочной волшебницей, но сейчас она больше напоминает сову. Рядом с совой высоко прыгает и радуется румяная (щеки, как нарисованные) девочка, с кудряшками, очень похожими на кудряшки Тома из книжки «Негритенок Том». «Знакомьтесь, знакомьтесь, – хлопочет старушка. – Скажи нам, пожалуйста, как же тебя зовут?» – «Катя», – я смотрю под ноги. Сама слышу, какой противный и скрипучий голос, но что они ко мне пристали? «Как здорово! – верещит эта Софа. – У меня тут на даче подруга Анечка, и еще я дружу с ее сестрой, но они уехали в Евпаторию. Давай будем дружить, ты что любишь делать?» «Пойдем, мы покажем тебе наш дом», – тянет меня старушенция. «Нет, мне сейчас нужно за молоком», – говорю вежливо, но при этом показываю, что не слишком-то рада знакомству. Однако Софу с бабушкой не сбить. «Хорошо, – рот у совы растягивается до ушей, – расскажи нам, где ты гуляешь, и мы завтра придем к тебе». Луг, мой луг! Но может быть, играть с этой толстушкой будет не так уж и плохо?

Они уходят, оборачиваясь, и весело машут мне рукой.

4.

«Ну, что подсматриваешь? Заходи», – голова генеральши выныривает совсем рядом. Толстая, с пестрым шарфом вокруг головы она напоминает нашу школьную уборщицу Раису, и все-таки я не против с ней познакомиться: ни для чего – просто так.

«Калитка с той стороны. Не заперта», – толстуха улыбается уголком рта, и я вижу, что она больше похожа не на Раису, а на завуча Марью Анисимовну и еще, что глаза у нее набрякшие и красные, наверно, плакала. Сорванная калитка подперта деревяшкой. Прохожу в щель, но делаю вид, что тянула за ручку («она робко вошла в густой сад, неуверенными шагами приблизилась к ступенькам, ведущим на веранду») и медленно, всё рассматривая, хотя рассматривать особенно и нечего, иду на голос генеральши. Она в самом деле стоит на веранде, в красивом халате с драконами: «Давай скорее. Сейчас кино будет». Входим. Опустив шторы, она включает телевизор. Я разочарована. Ведь телевизоры бывают только у соседей. Они сидят в темной комнате перед маленьким мутным экраном и дружно гогочут. К счастью, тут все приличнее. Ни табачного дыма, ни кислого запаха – неизменного спутника комнаты с телевизором. Здесь просторно, проветрено и сидеть можно в удобных мягких креслах. Экран сначала рябит, но постепенно маленькие серые фигурки словно бы обретают жизнь. «Ах, – восклицает генеральша, – и зачем он это делает?»

Действие происходит в Баку. Весна, оттепель. Нефтяники идут с работы и поют. Девушки ходят около дома в кокетливых светлых брючках и босоножках на высоких тонких каблуках. Глядя

на них, мамы и улыбаются, и тревожатся, а во дворе полощутся, как флаги, развешенные на веревках простыни и наволочки, и смешная игрушка (зайчик) бодро прыгает по асфальту. Игрушку потеряла маленькая девочка, но белозубый нефтяник, влюбленный в ее сестру, к счастью, увидит зайчика и возвратит шестилетней хозяйке: «Твой? Держи». И все было бы хорошо, но откуда-то вдруг появляется стиляга и кружит девушке в брючках голову, увидев это, герой-нефтяник перестает улыбаться, садится в поезд и уезжает в Москву, но это, оказывается, не страшно, уезжает он ненадолго, а это даже необходимо, чтобы его невеста успела раскусить стилягу, соскучиться по нефтянику и сшить себе платье с большим круглым вырезом и пышной юбкой. А потом всё затопляет ликующий марш, и все поют, а на деревьях распускаются цветы, но генеральшу не успокоить: «Счастливый конец! Ха! Через год она забеременеет и он начнет шастать, а уж про то, что будет через двадцать лет, и думать тошно. Все они одним миром мазаны». Выключив телевизор, она обращает ко мне сверкающие в темноте глаза: «Ты слушай, слушай, пригодится». «В словах ее крылась какая-то страшная тайна», – думаю я, возвращаясь к уже надрывающей горло няне: «Ну где тебя носит? Котлеты стынут».

5.

Отлично, только о чем же я думаю? Кажется, о любви.

Стоя на тумбочке или на спинке кровати и упираясь головой в потолок – он низкий и пахнет деревом, – я закрываю глаза и пытаюсь представить что-то прекрасное. Фильм в генеральшином телевизоре вдохновил. Только в кого влюбиться? В нашем первом, теперь уже втором «а» есть три кандидата, годные в равной степени. Павлик, Алеша и Юра. Алеша, Юра и Павлик. Все трое светловолосые и голубоглазые, как Олег Кошевой, все трое носятся по коридору и кричат «полундра!». Надо сосредоточиться, сделать усилие, выделить лучшего. Несколько дней подряд я пытаюсь найти решение – и вдруг осеняет. Конечно! Моими героями будут все трое. И море будет. Но не такое ласковое, как в Гаграх или бакинском фильме. Море будет суровым, ветер – сбивающим с ног, и Павлик погибнет, сорвавшись с коварной скользкой скалы, Юра, пытаясь спасти его, прыгнет вниз, но бурные волны сомкнутся и над его головой. Ужасно! Нужно хотя бы рассказать об их гибели, и под этим же воющим, с ног сшибающим ветром мы с Алешей, подбадривая друг друга, бежим через лес: туда, к людям. Скоро, – шепчет Алеша, – скоро мы выберемся из чащи, но именно в этот момент роковая случайность махом уничтожает возможность счастливой концовки. Алеша проваливается в расселину. И, оплакав его, я одна выхожу на пестреющую цветами поляну – на сочный, живой, нескошенный луг. Гремит, ликуя, марш. Гремит? Да. «Теперь все хорошо», – шепчу я и прыгаю на пол. «Ты что там делаешь? Дом развалишь!» – кричит хозяйка Тамара.

Все они сидят в кухне. Тракторист, голый по пояс, Тамара в грязном переднике и ее сестра Люся – гостит на каникулах, учится в седьмом классе. На столе между ними стоит сковородка с картошкой, и они разом, как по команде, тычут в нее свои вилки, а потом вместе жуют, ухмыляясь, поглядывая. Если бы они знали, какую трагедию я только что пережила! Прочь – и я выхожу на свой лысый луг. Он успел, правда, вернуть себе подобие благопристойности, и, широко раскинув руки, я приветствую свое царство, а кто-то или что-то услужливо подсказывает подходящие случаю слова: обновление жизни! Я вздыхаю; грудь распирает от радости. И вот тут-то и появляется Софа с мячом и скакалкой. Старушка-сова, улыбаясь, семенит следом. В руках у нее складной стульчик. Расставив его, сова распушает перья и растворяется в полном блаженстве. «Я люблю прятки. Будем в прятки?» – говорит Софа. И я, как взрослая, снисходительно отвечаю: «Как хочешь. Но где же тут прятаться?» Будь я взрослой, наверняка бы добавила: «Ну что ты так шумишь? Можно потише?» Но я не взрослая, и поэтому я молчу и терплю. «Тогда давай в пятнашки», – добродушно предлагает Софа, и я милостиво соглашаюсь, а вскоре мне делается по-настоящему весело. Я бегаю лучше Софы и могу даже дразнить ее, подпуская и в последний момент уворачиваясь. Но когда задремавшая сова открывает глаза и, разгладив взъерошенные перья, говорит: «Ну, думаю, наигрались. Софочка, нам пора», – именно Софа огорченно надувает

губы, а потом тут же стряхивает неудовольствие и жизнерадостно спрашивает: – «До завтра?» – а я лишь неопределенно пожимаю плечами и с удовольствием чувствую, что не взяла на себя никаких обязательств. Все же играть в сироту куда интереснее и, спрятавшись в кусты, я сочиняю себе новую историю. Оказывается, меня забыли на вокзале. Нет, мама вышла на станции купить яблок, а поезд тронулся. Или я вышла посмотреть на яблоки? Но кто бы меня вот так, одну, отпустил? Неважно. Главное, какая она, моя настоящая мама? Какую маму я хотела бы иметь? В поисках идеальных образцов обшариваю память и наконец нахожу ее. Это мама двух девочек, которая ехала с нами в одном вагоне, когда я была еще маленькой. Выйдя из своего купе, я тогда тихо пошла по коридору, осторожно заглядывая в открытые двери. Ни ветерка. Из-за жары все спали или чем-то обмахивались и смотрели в одну точку. А в их купе было прохладно. Тонкая темная ткань занавешивала окно. Женщина в чем-то легком, с широкими рукавами, лежала, опершись рукой на локоть, прижавшись спиной к стене и чуть подогнув ноги, а девочки играли в выемке ее тела, защищенные с двух сторон, поглощенные куклами и кукольной посудой. Мама с ними не разговаривала, только смотрела, но им – я это чувствовала – было очень хорошо. «Катя! Ты где? Иди, я тебе почитаю», – крикнули мне. И я вернулась к себе, в наше плавящееся под солнцем купе.

6.

Луг уже снова зарос высокой травой, когда вдруг приезжает моя настоящая (или все-таки не настоящая?) мама. Я возвращаюсь домой с молоком, а она уже в комнате, и няня ей на меня жалуется. Мама слушает, молча кивает. Увидев меня, говорит: «Ну, пойдем поиграем». – «Пусть хоть поест сначала», – ворчит няня, и мама пожимает плечами.

«Ну, что возьмем? – спрашивает она, как только я отодвигаю тарелку. – Серсо? Мяч?» – «Всё равно», – бурчу я. Мы берем мяч и выходим на улицу. «Веди, ты тут все лучше знаешь», – говорит мама. Мы выходим на луг, и я вижу: он уже занят. Вдалеке, но все-таки на моей территории кто-то уже играет в серсо. И даже не кто-то, а Софа. Мы видим друг друга одновременно и, захлебываясь от радости, Софа кричит: «Мама! Смотри! Это пришла моя подруга!» Топоча и размахивая руками, она бежит мне навстречу, а следом за ней, улыбаясь, идет тоненькая и стройная женщина. С маленьким круглым лицом, пушистыми темными волосами и тонкой шеей, охваченной черной бархоткой. Платье, кажется, голубое, но это я вижу неясно. Она подходит все ближе, движения плавные, легкие. Она какая-то очень живая, и это меня смущает. От смущения начинаю разглядывать свисающий с бархотки медальон. Вот он действительно голубой. Фарфоровый, с белыми жилками-разводами. «А мы уже хотели к вам стучаться, – говорит мама Софы. – Я так рада, что девочки подружились». Радость танцует вокруг нее, как стая бабочек. Но чем-то она похожа на маму, тихо лежавшую в купе рядом с двумя игравшими в куклы маленькими дочками. «Рита Файнберг», – говорит она, протягивая руку моей маме. Мама стоит чуть за мной, и я ее не вижу. Но чувствую удивление, даже какое-то неодобрение. Улыбка на лице Софиной мамы меняется. Трудно сказать, как я это угадываю, но мне предельно ясно: ей кажется, что моей маме не понравилась ее фамилия, ее это задевает, и мы тоже перестаем ей нравиться. Но всё это ошибка. Моей маме не важно, какая у нее фамилия, ей просто непонятна эта манера представляться. Сколько я себя помню, она никогда не протягивала так руку и уж тем более не говорила «Ира Страхова». Ее зовут Ирина Алексеевна, ее так *называют*. И Софину маму она бы тоже стала назвать по имени и отчеству. Если б они познакомились. Но я не помню, чтобы мама знакомилась с кем-то на даче или на прогулке. Знакомые – это уже знакомые. Мы какое-то время играем вчетвером в мяч. Софа, очень довольная, веселится, я злюсь на нее, пропускаю мячи и хочу, чтобы все это поскорее закончилось. На другой день на луг никто не приходит, и мне это нравится.

7.

Дожди зарядили сразу после отъезда мамы. Из дома носу не высунуть. Но у меня плащ с капюшоном. Я пробегаю через двор и прячусь под навес из толя, сделанный чтобы защищать строительные доски. Там я сижу, как на необитаемом острове. Иногда с книжкой, чаще – так. Несколько

раз генеральша подходит к своему забору и зовет меня. Подняв капюшон, я бегу вокруг сада к калитке. Ее так и не починили. «Ну? Чем тебя развлечь? – генеральша вроде как шутит, но тут же достает из шкафчика плюшевые игрушки. – Что будем делать: ссориться или любиться?» Я с удивлением замечаю, что играть в ссору Мишки с Барбосом ей нравится куда больше, чем мне. Когда наконец наше представление окончено (все это, по-моему, похоже на кукольный театр), она громко вздыхает. Игрушки – внука, но внука давно не привозят. «И сижу тут одна-одинешенька, – жалуется она. – Ну скажи, разве можно не любить мать? А ведь не любит». Один раз она начинает плакать, и вот тут меня словно выносит на большую сцену. «Только в несчастной соседской девочке, такой же одинокой, как она сама, бедная женщина находила какое-то утешение», – говорю я про себя, а вслух: «Не грустите! Все обойдется». «Это точно, – сразу же соглашается она. – Давай есть варенье». К варенью у нее всегда присказки и прибаутки. Мне это не нравится, они похожи на хор Пятницкого, который мы с няней дружно прихлопываем, стоит ему зазвучать по радио. А генеральша довольна. Подмигивает. Однажды встает и без музыки, подпевая себе, начинает отплясывать. Я пугаюсь. Хотя нет, не пугаюсь. Но потом уже больше не откликаюсь на ее приглашения.

Еще раз приезжает тетя Шура. Я вместе с ней хожу в магазин – деревянный и выкрашенный в ярко-синее. Чтобы войти, надо подняться на крыльцо. Крыльцо с резными балясинами (блины, балалайка, балясина). А в магазине удивительный запах. «Это от деревенского хлеба», – говорит кто-то. Или я сама это придумываю? Однажды дверь оказывается заперта, и мы долго ждем на крыльце. «Разборки у них. Заведующая проворовалась», – поясняет пришедшая сразу за нами женщина. И я вдруг понимаю, что знаю эту заведующую. Видела в самом начале лета, когда кто-то из взрослых прихватил меня в магазин («Нечего на одном месте сидеть, пойдем погуляешь»). Тогда тоже пришлось ждать на крыльце, а потом словно из-под земли появилась она – низенькая, коротко стриженная, с проседью, в сатиновом халате. «Завмаг пришла», – одобрительно прогудел мужской голос. «Что такое завмаг?» – спросила я шепотом, и мне пояснили: «Заведующая». И вот эта заведующая – уверенная, деловитая, – «Задержали меня по дороге, на целых три минуты опоздала, но, к счастью, солнышко; считайте, позагорали», – проворовалась. То есть она воровка. Как это? Немыслимо, загадочно.

После отъезда тети Шуры я хожу в магазин одна. Иногда сворачиваю на улицу, ведущую к озеру. Аккуратно обхожу лужи, слушаю шум деревьев – это все старые березы. А еще вдоль заборов рябины, такие, как и у нас. Теперь они все в красных ягодах. Хозяйка сказала: много рябиновой ягоды – осень дождливая. Разве у нас уже осень? «Катенька!» Кто это вдруг так далеко от дома? Оборачиваюсь. Меня догоняет, почти догнала очкастенькая старушка-сова. «Давно тебя не видела. Как поживаешь?» – «Спасибо, хорошо», – отвечаю я голосом благовоспитанной девочки. Сова смешная, но меня почему-то не смешит. Говорит слишком уж сладким голосом. «А наши в Анапе, – сообщает она, сияя. – Пишут, тоже дожди. Но купаются каждый день». Вспоминается толстая Софа, медальон на черной бархотке, нежная шея. Каким-то девочкам везет с мамой, но все это глупости, и нельзя так говорить. «Побегу! Я иду к Александре Прокофьевне», – сообщает сова. «Бестактность старой женщины потрясла девочку», – констатирую я и, довольная, вежливо говорю: «До свиданья».

Кончается лето, скоро переезжать, готовиться к школе. Но меня почему-то гораздо меньше, чем весной, манит к себе второй класс. В школе мне хорошо, но я наперед знаю, что будет. А здесь столько нового. И я всё разглядывала сама. Никто мне ничего не объяснял. Я сама придумывала объяснения. Так, как хотела. И делала все, что хотела. От этого было немножко жутко, но здорово. Через два дня едем в город, а я не собрала гербарий. Никто не напоминал, вот и не собрала. Теперь нужно срочно поправить дело.

Ближе к вечеру выбираюсь во двор. Трава мокрая-мокрая, но это даже приятно. Я срываю лист подорожника, лопух, невесть откуда взявшийся под навесом репей, трилистник заячьей капусты. Потом тянусь вверх – достать кисть рябины. Она послужит украшением моего сбора. Срываю целую ветку. Смотрю на зеленые листья и красные ягоды. Знаю, что их не едят, и осторожно засовываю в рот. Невкусно. Но хорошо. «Она съела горсть ягод и тихо зажмурилась. Рябиновые

ягоды – причастие». И откуда такие слова? Похоже, что я и сама их пугаюсь и опрометью бегу в дом. Но потом пересиливаю себя, останавливаюсь и со значением повторяю: «Лето прошло. Но со мной кисть рябины».

НАДЕЖДИНСКАЯ УЛ.

Солнце светило вовсю. Старая толстая девочка Оля шла по улице Маяковского, снова ставшей Надеждинской. Утро прошло бестолково, и ей было грустно. Но вдруг отворилась дверь гастронома и появилась ее подружка-ровесница Соня. От неожиданности обе громко рассмеялись. Прохожие не оборачивались. Они шли по делам и на глупости не отвлекались.

– Куда это ты собралась? – отсмеявшись, сказала Соня.

– К тебе. Звоню с утра, а у тебя короткие гудки. Опять ты плохо положила трубку.

– Нет, это Китти ее сбила. Обожает прыгать на телефон.

– Если бы только на телефон! Помнишь, как чашки хвостом смахнула?

Всплывшая в памяти картина развеселила подруг еще больше. Стояли, перегородив весь тротуар, сверяли впечатления, восстанавливали детали. Красивая стройная женщина в красном платье с летящей юбкой, не сбавив темпа, обошла их и уже удалялась.

Оля не удержалась, завистливо посмотрела ей вслед. «О красный парус в зеленой дали», – тихо продекламировала Соня.

Стало как будто темнее. Туча? Нет, солнце палило по-прежнему. Надо было решать, куда же теперь, но тут из подъезда выскочила Коробейникова.

– Опять протечка! – с ликованием закричала она. – Бизнесмен залил. На этот раз по-настоящему. Так что попался заяц. Оргии! У него чуть не каждый день оргии. Заплатит как миленький. Вчера я видела обои итальянские. Такие краски, пальчики оближешь. Идемте, поможете выбрать. А вечером все ко мне. Отметим на славу!

Коробейникова отвлекла от мелькнувших печальных мыслей, и Оля с Соней были ей рады. Все вместе отправились в магазин «Дом».

Когда с делами было покончено, наступило время обеда, но жара начисто отбила аппетит: о котлетах и супе страшно было подумать. Купили мороженое и степенно двинулись в свой любимый «больничный садик». Как всегда, сели на угловую скамейку. Сладко пахло липовым цветом. Тень листвы колебалась, рисунок ее беспрестанно менялся.

– Вот точно так мы сидели когда-то с папой и обсуждали, куда поступать после школы, – сказала Соня. – Он очень хотел, чтобы я пошла в медицинский, а мне хотелось на искусствоведение.

– И ты сумела сделать по-своему, – одобрительно закивала Оля.

– Это было не трудно, – Соня задумчиво улыбнулась. – Родители посовещались за закрытыми дверями и решили, что в первую очередь надо учитывать мои желания. А зря. Думаю, из меня получился бы неплохой врач. Никому это не говорила. Тебе – первой. – Она застенчиво улыбнулась и ойкнула: мороженое подтаяло и уже капало на юбку.

– А у меня все решилось само собой, – Оля вытащила платок и старательно вытирала руки. – Сколько я себя помню, тетя Жака всегда твердила: «Химия, и только химия. Химия – лучшая профессия для женщины», – Оля сдвинула очки на нос и рассмеялась. Смех был заразительный: Соня тут же его подхватила. Старик на скамейке поодаль проснулся, повернул голову, посмотрел на них и снова задремал.

– Смеюсь с тобой столько, сколько, наверное, никогда не смеялась, – отирая глаза и отдуваясь, сказала Соня. От жары, ветра, возни с мороженым она выглядела совершенно растерзанной. Густые пряди со всех сторон выбились из прически. – Всю жизнь мечтала обрезать волосы, – сказала она, пытаясь заткнуть их на место. – Но так и не решилась.

– Почему? – задрав голову к небу, Оля смотрела на облака.

– Папа очень гордился моей косой. Да и вообще...

– Я понимаю, – перебила Оля. – У нас к этому было такое же отношение. Прощали только тетю Жаку. «У нее, бедной, такие скверные волосы, что, увы, приходится стричься». А ты зря не решилась, – Оля вдруг выпрямилась. В густой тени липы она была теперь больше похожа на энергичную, хотя и слишком полноватую студентку. – Тебе пойдет стрижка. Будешь смотреться моложе, честное слово.

Соня хихикнула.

– Точно-точно. У тебя волосы немного вьются – оттого ты и ходишь всегда растрепанной. А если тебя подстричь, они встанут короной. Послушай! Ты станешь почти красавицей. Соня, тут в двух шагах парикмахерская. Пошли. Вот так, не раздумывая, – Оля бурно вскочила. – Идем! Идем, я тебе говорю! Ты даже не представляешь, какая будет метаморфоза.

Схватив красную, как кумач, Соню за руку, она попыталась поднять ее со скамейки.

– Оставь! – в Сонином голосе явно слышались слезы. – Оставь меня, слышишь? – щелкнув замочком сумки, она вытащила платок и принялась отчаянно сморкаться.

Оля сразу притихла и осторожно опустилась на скамейку. Потом нагнулась, подобрала прутик и начала чертить им по песку.

– Я хочу рассказать тебе одну историю, – сказала она, не глядя на Соню.

– Лучше потом. Хорошо?

– Хорошо.

Они помолчали. Почему-то было неловко, хотя вообще-то ничего и не случилось.

– А! вот где вы спрятались! – Коробейникова налетела, как вихрь. – А я звоню-звоню – нет голубушек. Пошли скорее – стол накрыт.

Сопротивляться было бесполезно, да и не хотелось. Шустрая Коробейникова просто летела по Надеждинской, Оля и Соня с трудом за ней поспевали.

– Анна Петровна, помилосердствуйте, – взмолилась, наконец, Соня, но Коробейникова только рассмеялась. Белая блузка надувалась на ней пузырем и словно пощелкивала под ветром. Коротенькую седую косичку охватывала черная резинка. «Вперед! – кричала она, оборачиваясь. – На штурм!»

– Тебе не кажется, что она вылитый Суворов? – с трудом одолевая одышку, спросила Соня.

– А мы кто – суворовские солдаты?

С грохотом распахнулась дверь. Да, комната впечатляла.

Потолок в желто-бурых разводах. На полу куски штукатурки. Старые голубые обои и пузырятся, и свисают клочьями. Карниз на одном крюке. Плашки паркета покорежены. Но в центре стол, покрытый белоснежной скатертью, а на нем царственный арбуз, окруженный причудливым разноцветьем всех мыслимых и немыслимых яств.

– Пришлось, естественно, и самой поработать, – сияя, объясняла Коробейникова. – Но в основном, это действительно протечка: он, видите ли, неплотно закрутил кран. Но как расплатился! Мне всегда нравились люди с размахом. Тут, правда, деньги шальные, хорошо если не фальшивые. Иду завтра с утра и трачу до копейки. Ну а теперь рассаживайтесь.

– Анна Петровна! – говорит Оля, когда они поднимают бокалы. – Скажу прямо: вы меня восхищаете. Вы умеете идти к цели. Это такое редкое качество. Пользуйтесь им на здоровье!

– И пусть все льющиеся с потолка дожди непременно становятся золотыми! – весело кричит Соня.

Коробейникова церемонно раскланивается.

– А теперь время выпить за бизнесменов и бизнес, – рассудительно говорит она, наливая по новой.

Съесть всё им, конечно, не удается, и Коробейникова заявляет, что продолжение праздника – завтра с утра. «Приходите пораньше, и будем сидеть до победного. Выставлю водочку и наконец-то поучу вас уму-разуму», – хохочет она вслед, глядя, как они осторожно, держась за перила, спускаются с лестницы.

Перспектива пить водочку старых девочек не привлекает, но они давно поняли, что сила – на стороне Коробейниковой. Она не злая, но очень уж любит командовать.

– Боюсь, она и меня заставит устроить протечку, – подавленно говорит Соня.

– Ты с ума сошла!

– Вот именно. Не подумала и сказала ей, что надо мной буянят.

– Так над тобой буянят алкаши. От них никакого толку.

– А ее принцип «брать за горло жилконтору»? Помнишь, как она с ними воевала?

Вечер теплый. Небо приобретает сиренево-нежный оттенок. Домой не хочется. Обе идут неторопливо. Проходят мимо дома, где жил Хармс.

– Оля, а ты мечтала когда-нибудь сделаться взрослой... В школе... или потом?

– Нет, – улыбаясь и глядя на флюгер, венчающий угловую башенку, говорит Оля. – Я знала: у меня не получится.

– Всегда знала?

– Пожалуй, – Оля какое-то время молчит, а потом начинает рассказывать: – Однажды к маме зашла сотрудница их института. Анна Аркадьевна. Имя-отчество как у Анны Карениной, а похожа на Анну Маньяни. Разумеется, ее сразу же усадили за стол. И она сходу начала что-то расхваливать, не то посуду, не то скатерть. А когда протянула к тарелке руку, мы все вежливо отвернулись: ногти у нее были огненно-красные. В жизни потом не видела таких красных ногтей. Матиссовский красный? Не знаю. На ужин была запеканка. Она положила кусочек в рот (тоже, конечно, огненно-красный), взмахнула свободной рукой, затрясла пышной головой, сказала «м-м-м... восхитительно», и мы все трое как-то смущенно заулыбались. Словно она поставила нам пятерку. Хотя откуда у нее право расставлять нам оценки? Но это я уже потом подумала, а тогда просто слушала вместе со всеми. Она не рассказывала ничего интересного. Как собралась испечь пирог – и сожгла его, как на пари сама белила потолок. Ничего интересного, понимаешь? Но мы все слушали, раскрыв рты: и мама, и дед, и я. А потом она встала и, зашумев платьем, вышла. Это уж было полной нелепостью. Какой шум платья, когда она была в черной шерстяной юбке и свитере. Мама с дедом вышли за ней в прихожую, а я сидела насупившаяся и пыталась понять, чем она меня так задела. И вдруг догадалась: она была взрослая. Первая взрослая, которую я увидела не в кино, не на сцене, а в жизни. Подумать только: открытие! Но потом вдруг укололо, и словно бы кто-то сказал: «Да, вот они какие, взрослые. А ты хоть сто лет проживи, а взрослой не будешь».

Молчали. Оля вся ушла в воспоминания, а Соня – в раздумья. Так дошли до Манежного и уселись возле собора.

– Ты ведь хотела рассказать какую-то историю, – с неожиданной жесткостью в голосе сказала Соня.

– Да. Но вообще-то рассказывать нечего. Просто однажды, один-единственный раз, я ездила в Дом отдыха, а потом срок закончился, я села в поезд и вернулась.

Соня фыркнула:

– Он тебя провожал?

– Нет, его срок закончился раньше.

– Он был женат?

– Не знаю.

Делалось поздно, и, не сговариваясь, они отправились в обратный путь. Пора было и по домам; пора.

– Оля, а ты когда-нибудь?..

– Нет.

– Откуда ты знаешь, что я хотела спросить?

– Догадалась.

– Правильно догадалась. А сейчас я спрошу о другом. Ты боишься смерти?

До Сониного дома оставалось всего несколько шагов.

– Нет, – отвечает Оля. – Не боюсь. Мне в нее не поверить. Как-то попробовала – и не получилось. Какая смерть, если я до сих пор ловлю на язык снежинки, да и снежки лепить люблю.

– И я люблю, – говорит Соня. – Раньше как-то не получалось, но прошлой зимой неожиданно выучилась. Вылеплю крепенький такой и целюсь в дерево.

– Попадаешь?

– А как же! Доживем до зимы – покажу.

Смеяться они начинают одновременно и так, смеясь, и расходятся, но какое-то время рассыпчатый тихий смех еще словно звучит над Надеждинской.

Просыпается Оля от страшного звона. Откуда-то с высоты низвергается водопадом, и бьется вдребезги много-много посуды. Но у нее ведь нет кошки Китти... Господи, телефон! Оля хватает трубку. Сердце колотится, готовое не то выскочить, не то прямо в груди разлететься на сотню осколков. Соня! Что-то случилось. «Да!!!» – кричит она в панике, но в ответ слышит Сонин голос:

– Я тебя разбудила? Я только хотела спросить одну вещь.

Жива и даже говорит внятно. Значит, все обошлось? Оля судорожно хватает ртом воздух:

– Подожди, я приму корвалол.

В ужасе от того, что наделала, Соня слушает, как стучит бутылочка о стаканчик, как шумно и тяжело дышит Оля. Наконец, дыхание начинает выравниваться:

– Ну, и о чем ты хотела меня спросить? – Оля пытается говорить саркастически, но голос звучит не язвительно, а по-детски жалобно.

Соня крепко сжимает трубку. Ей очень хотелось бы открутить время чуть-чуть назад. Какая она дура! Ведь надо было сначала подумать. Сколько раз папа говорил «всегда надо сначала подумать».

– Оля, – жалобно говорит она. – Когда ты рассказывала об Анне Аркадьевне...

– О ком?

– О даме с ярко-красными ногтями, которая за чем-то приходила к твоей маме... – Соня с трудом удерживает слезы. Всё так глупо. Как можно было не посмотреть на часы! Да и зачем смотреть? Ведь она знала, что еще не утро.

– Соня, не мямли...

– Мне очень совестно.

– Мало похоже на вопрос.

Соня вздыхает. (Папа, сидящий в кресле, горько покачивает головой. Мама неодобрительно приподнимает брови.)

– Ты сказала: «Первая взрослая, которую я увидела не в кино, не на сцене, а в жизни». Правильно?

– Правильно.

– Ну а твои домашние? А учительницы?

Оля долго молчит и потом отвечает:

– Мне это как-то не приходило в голову. Но ты права, тут есть над чем подумать. Утром пойдем в Летний сад и все обсудим.

– Утром мы идем завтракать к Анне Петровне.

– Ничего, прогуляем. Прогулка в Летний сад как прогул завтрака у Коробейниковой. Звучит?

– Звучит, – отвечает Соня. Трубка уже повешена, но они все равно смеются вместе: каждая у своего телефона.

***

Если взять в руки карту города или взглянуть на вывешенные над воротами таблички, увидишь, что улица Маяковского так и осталась Маяковского, а вовсе не обратилась снова в Надеждинскую. Но к нам это никак не относится.

СИЛА ХАРАКТЕРА

Пригласили в гости, а дальше прихожей, можно сказать, не пустили.

Я, правда, не сразу понял, что это прихожая. Мягкая мебель, картины. Хозяйки очень любезны. Наперебой предлагают: «Чай? Кофе? Или, может, бокальчик вина?» Когда прощались: «Мы

были так рады... Надеемся вскоре... Осторожно: здесь гвоздь торчит...» Приятные дамы. Я вышел, насвистывая. На другой день звонок: «Мы все еще вспоминаем...»

Через неделю (нет! через полторы) я снова там очутился. И снова улыбки, чай, кофе. Скучновато. Зато отдыхаешь. И лестно: так уж они вокруг тебя вьются, обхаживают. А ведь младшая – пианистка, доцент по классу рояля. «Надо бы пригласить вас на выступление моих учениц». Это она сказала в марте. (Или в апреле?) Неважно. Важно, что я обрадовался. При моей, так сказать, застенчивой любви к музыке вдруг оказаться знакомым с консерваторками – это, друзья мои, оль-ля-ля, если не ог-го-го!

Когда я впервые шел к сестрам, я даже и не подозревал, куда направляюсь. Ведь знаком я был только со старшей, Екатериной Аполлинарьевной. Она на пенсии, но продолжает преподавать. Ведет английский на государственных курсах. К моменту, когда она меня пригласила домой, я занимался у нее уже третий год. А вообще-то я инженер с пятнадцатилетним стажем. Библиофил; хорошо разбираюсь в живописи. А вот со слухом у меня неважно, и, вероятно, как раз поэтому я особенно трепетно люблю музыку. Стать вхожим в дом к женщине, способной сыграть все четырнадцать вальсов Шопена, было для меня тем событием, от которого на глазах выступают слезы и грудь – теснит. Конечно, вначале я пожалел, что Матильда Аполлинарьевна не выступает в концертных залах. Но, с другой стороны, она очень полная, краснолицая. Освоившись, я перестал относиться к ней как к богине муз, и радовался, что речь идет не о ее выступлении, а только о концерте учениц. Не исключено, что самая хорошенькая окажется и самой талантливой. Я запомню летающие по клавиатуре руки, голубое платье с воланом. А лет через тридцать, сидя почетным гостем на ее сольном вечере, шепну с грустной улыбкой соседу (тоже почетному гостю): «А ведь я помню ее девятнадцатилетней. Уже тогда было ясно, какое ей предстоит будущее!..»

Прошло два месяца. Я бывал у сестер все чаще. Стоило мне исчезнуть хотя бы на несколько дней, как у них начинался чистый переполох. «Вадим! Ну где же вы? Тилли (это Матильда Аполлинарьевна) купила замечательного кролика. Тушеный кролик под луковым соусом – объедение. Вы непременно должны прийти».– «Спасибо, Екатерина Аполлинарьевна, с удовольствием». И я шел, хотя я, скорее, вегетерьянец, а в этот день собирался присутствовать на заседании Общества библиофилов. Шел, ел, хвалил, просил добавки, прикидывал про себя, когда будет прилично уйти, но, едва говорил что-то о позднем часе, как они просто стонали: «Вадим! Ведь еще десяти нет. Ведь у вас дети дома не плачут». Поругивая их про себя, я все же не мог не признаться, что быть для кого-то, так сказать, лучом света во мраке будней – это, пожалуй, приятное ощущение. Постепенно я привыкал к нему, оно нежило, словно грелка или любимая кошка Екатерины Аполлинарьевны, нет-нет, да и забиравшаяся ко мне на колени. «Мисси у нас нелюдимка и, в общем, гостей не жалует, но вот к вам у нее отношение особое. Чувствует, вероятно, как мы вас любим», – в два голоса пели сестры, и я ощущал себя падишахом.

Однажды теплым весенним днем, сидя удобно, нога на ногу, в кресле и неспешно прожевывая куски восхитительнейшего бисквита, испеченного, разумеется, не без оглядки на мой визит, я почувствовал глубокую, в каком-то смысле даже физиологическую потребность сказать моим милым хозяйкам что-то особенно приятное, и капризным тоном внимательного, хоть и слегка уставшего от бесконечной заботы любимца спросил: «Да! А когда же великий день? Наверное, уже скоро?» – «О чем это вы?» – заботливо переспросила моя добрейшая англичанка. «О заключительном этапе пятилетнего марафона учениц нашей дорогой Матильды Аполлинарьевны», – шутливо кланяясь в сторону младшей сестрицы, игриво пояснил я. «Так он уже состоялся. Алина Фомкина играла хуже, чем могла бы, но, в целом, я довольна», – с удовольствием расправляясь со своей порцией сладкого, благодушно ответила Тилли. От неожиданности я подавился. Ахнув, сестры вскочили и, подбежав, принялись колотить меня по спине. «Я говорила, что бисквит в этот раз получился сухим, – трагически вскрикнула Екатерина Аполлинарьевна. – Яйца нужно покупать самые свежие, непременно на рынке. В магазинах всегда не то качество!» Они были трогательны в своем неподдельном отчаянии, но я всё же не дал сбить себя с толку. Испытанное разочарование было чересчур сильным. Голубое платье с воланом – я столько раз видел его в

мечтах. Мне хотелось, чтобы они ощутили всю глубину проявленной оплошности, раскаялись, попросили прощения. «Жаль, что мне не пришлось побывать на концерте», – отчетливо проговорил я, когда они, наконец, успокоились, и был подан свежезаваренный чай, а Мисси, вспугнутая всеобщим переполохом, снова свернулась в клубок под лампой. «Вадим, вы всегда слушаете первоклассных исполнителей. Зачем вам какие-то неоперившиеся девчонки? Расскажите-ка лучше, как идут дела в Обществе библиофилов», – с разгорающимся энтузиазмом попросила Матильда Аполлинарьевна, и я вынужден был подчиниться.

Вскоре «концертный инцидент» совершенно изгладился из моей памяти. В городе одна за другой открывались интереснейшие выставки, я всюду бывал, а сестры, ссылаясь на ноги Екатерины Аполлинарьевны, сидели дома. Однако им очень хотелось быть в курсе событий, и они непрерывно требовали меня к себе. Иногда это досаждало, но они так радовались моим приходам, так хлопотали. Тилли пекла для меня по какому-то невероятно сложному рецепту «тающий во рту» слоеный пирог с капустой (я с детства терпеть не мог пироги с капустой, но как-то упустил момент, когда еще прилично было сказать об этом), а Екатерина Аполлинарьевна не пропускала дня, чтобы не сказать: «Вы наша главная связь с миром. Без вас мы просто гнили бы в своем углу». Конечно, теперь, когда наступило лето и прекратились занятия, это могло быть отчасти верно, но всё же я начал иногда с раздражением отмечать, что очаровательные старушки немного лукавили: на фоне нежно-зефирных вздохов об одиночестве то там, то сям мелькали различные имена. Сегодня это была Юлия Павловна, которая всегда умеет заговорить до смерти. Завтра – Леонтий Абгарович, для которого существуют только две темы: Грибоедов и Грузия. Уже насмеявшись вдоволь над этим занудой, я с некоторым ошеломлением соображал, что Леонтий Абгарович – автор недавно с большим интересом прочитанной мной монографии о декабристах и пытался убедить беспрестанно прикладывающих пальцы к вискам сестер, что для меня несомненно было бы удовольствием как-нибудь встретиться с ним под их гостеприимным кровом. «Вадим, как вы не понимаете, он безнадежен», – нараспев говорила Екатерина Аполлинарьевна, и я, внутренне чертыхаясь, вновь возвращался к отчету о выставке акварелей в корпусе Бенуа.

«Вы изумительный рассказчик. Слушая вас, впору вспомнить Андроникова, – сказала однажды в августе Тилли, и я почувствовал себя так, словно меня наградили орденом. – О чем бы вы ни говорили, это захватывает. А вот на прошлой неделе к нам приходили мои давнишние выпускники, и можно было умереть со скуки, хоть они и рассказывали о Риме». – «О Риме?» – «Да, Леня ездил туда на конкурс Тосканини. Фортепьяно было его специальностью, но потом он переключился на дирижирование». Это уже издевательство, – думал я, глядя на безмятежное спокойствие, разлитое по ее кругло-красному лицу. Она что, не слышит себя? Не понимает, как это звучит? «Тилли права, – заговорила, на миг отрываясь от своего вязания старшая, – если бы Галя не сыграла Равеля, вечер пришлось бы считать совершенно потерянным». Я встал. «Как? Уходите? Но ведь еще...» Однако я не слушал. Дрожащими пальцами застегнул плащ, постаравшись влить в голос сарказм, сказал: «До свидания». «Вы скверно выглядите в последнее время, Вадим», – озабоченно констатировала Матильда Аполлинарьевна. – В чем дело? Боюсь, что вы недостаточно калорийно питаетесь». «Кха!» – вылетело из моей скрученной спазмом глотки. «Осторожнее, гвоздь!» Я хлопнул дверью. Я точно знал, что ноги моей у них больше не будет.

Но прошло несколько дней, и я понял, что сделал из мухи слона. Если посмотреть здраво, что, собственно, произошло? Да, выяснилось, что в квартире есть рояль. А для меня, зная о моей любви к музыке, никогда ничего не сыграли, радостно принимали в комнате, которая, в общем-то, была просто прихожей. Да, подтвердилось, что, несмотря на мои намеки и даже прямые просьбы, меня отказываются принимать вместе с другими гостями. И в чем же все-таки трагедия? Рояль для Матильды Аполлинарьевны чисто рабочий инструмент. То же самое, что для меня кульман. Неудивительно, что дома она предпочитает отдыхать, не имея его непрерывно перед глазами. А гости... Гости – дело хлопотное. Так стоит ли удивляться, что две пожилые дамы предпочитают, чтобы они приходили по одному. Визит супружеской пары для них уже перегрузка. И в результате, как я сам только что слышал, никакие рассказы о Риме не компенсируют непосильного напряжения. Если

раскинуть умом, всё становится на свое место и незачем хватать шапку в охапку. В общем, когда Екатерина Аполлинарьевна позвонила сказать, что они с сестрой очень соскучились, я только слегка помялся перед тем, как принять приглашение прийти непременно сегодня, так как капустный пирог уже в духовке, и Тилли будет в отчаянии, если я не полакомлюсь своей любимой хрустящей корочкой. Голос Екатерины Аполлинарьевны звучал необыкновенно тепло и взволнованно, и, поняв, что мне тоже было тоскливо без этих вибрирующих грудных нот, таких одинаковых у обеих сестер, я быстро собрался, а по дороге – совсем неожиданно для себя – купил еще букет астр.

Приятно было после небольшой размолвки вновь подходить к знакомому дому, приятно чувствовать, как полностью и без остатка рассосалась саднившая душу обида. Сестры встретили меня криками радости. Стол был уже накрыт. Пирог? Да, пирог, но кроме того, еще целая вакханалия вкусностей. И даже маленький графинчик водки. От растроганности у меня слегка защипало глаза. «Ура!» – по-гусарски воскликнула Екатерина Аполлинарьевна, поднимая свою размером с наперсток рюмочку. «Ура!» – откликнулись мы с Тилли. Пир покатил горой. «Да, мы заслужили сегодняшний праздник, – блаженно откидываясь на спинку стула, выдохнула совсем раскрасневшаяся Матильда Аполлинарьевна. – Вадим, вы представить себе не можете, что тут было вчера! Вместе с нами – четырнадцать человек!» «И по какому поводу собралось это многолюдство?» – чувствуя уже, что все рушится, спросил я машинально. «Ах, голубчик, прослышали, что Джон Лоуэлл согласился прийти поиграть для Тилли (они со студенческих лет знакомы), вот и сбежались. Сидеть было не на чем. Не говоря уж о том, что дышать просто нечем!»

На этот раз я заболел. Конечно, можно сказать, что я просто-напросто простудился, но не будь я так зол, простуда не перешла бы в воспаление легких. Когда старушка Екатерина Аполлинарьевна в первый раз позвонила узнать, «как у меня дела», я чуть не бросил трубку. «Чертова старая дева», – злорадно прошипел я вслед ее «до свиданья, Вадим, поправляйтесь», и испытал хоть какое-то облегченье. «Чертовы старые девы», – повторял я опять и опять и мстительно показывал им язык. Тетушка, с которой мы после смерти мамы жили в квартире вдвоем, беспомощно разводила руками: «Вадик, у тебя такой жар. Может быть, тебе лечь в больницу?» Но я не хотел в больницу. Там нельзя будет орать «проклятые старые девы», «чертовы перечницы», «грымзы паскудные», там даже шептать это будет неловко. После третьего или четвертого звонка они прорвались-таки ко мне в дом. Бледные от волнения, нагруженные диетическими котлетками и фруктами. «Я боюсь за него», – сморкалась в платочек тетушка. «Мы все уладим. Необходимо, чтобы Вадима лечил настоящий врач. Участковые – просто бумагомаратели». И они в самом деле привели чудесного врача. У него была аккуратная серебряная бородка и добрые коричневые очки. Он был похож на доктора из детской сказки. Я не хотел с ним разговаривать – и он не настаивал. Тетушка принесла из аптеки выписанную им микстуру и поставила рядом с моей кроватью. Прошло около часа, и я, сам не зная как, потянулся к бутылке и выпил полную столовую ложку.

Я болел долго. Доктор в добрых очках навещал меня. Сестер я отказывался принимать, но каким-то волшебным образом в комнате каждый день появлялся свежий букет цветов. Я догадывался, что крепкий куриный бульон, которым меня поили, варила Тилли, а малину, протертую с сахаром, изготавливала старшая сестра. Однажды я попросил доктора передать им мою благодарность. На следующий день они пришли, и Екатерина Аполлинарьевна читала вслух Диккенса – «Домби и сына». «Теперь вы быстро поправитесь, – прокашлявшись и слегка похрустев пальцами, сказал мне на другой день доктор – думаю, что в *моих* посещениях нужды больше нет». И он оказался прав. Вскоре я уже выходил на улицу. Приятно было идти по обсаженной деревьями дорожке, имея с одной стороны Екатерину, а с другой – Матильду Аполлинарьевну, приятно было выходить из подъезда и видеть, как они поджидают меня на скамейке, скрытой наполовину в тени кустов. Я креп, и мы строили планы. Решено было вместе съездить в «Пенаты», а если погода позволит, то по воде в Петергоф. Потом, подумав, сестры решили отложить Петергоф до следующего лета: «Зачем рисковать, Вадим? Вам надо остерегаться ветра. Лучше давайте пойдем в Таврический сад». Я давно выздоровел, я ходил на работу, а они продолжали каждый день навещать меня. Трогательные и нежные, добрые феи, не устающие осыпать меня дождем подарков.

В последних числах сентября, в среду, Матильда Аполлинарьевна пришла одна. «Катина ученица попросила о дополнительном уроке, а мне как-то страшно было оставить вас одного». Я посмотрел на нее глазами, полными благодарности. Она улыбалась, на ней была шелковая малиновая блузка, и краснота лица казалась на ее фоне легким румянцем. Вынимая из сумочки принесенную для меня книгу, Матильда Аполлинарьевна опустила голову, и я вдруг увидел, какой благородный, точеный у нее профиль. В этот раз я впервые задумался о ее возрасте, вспомнил кое-какие рассказы сестер о детстве и осознал вдруг, что хотя я обращаюсь к ним обеим по имени-отчеству, а они зовут меня просто Вадим, Матильда Аполлинарьевна старше меня всего лет на восемьдесять. Когда она ушла, я принялся взволнованно вышагивать по комнате. Конечно... да... если взглянуть иначе... и все-таки... Сказать, что наутро я был влюблен, было бы безусловно некоторым преувеличением. Но сказать, что я был готов – или почти готов – сделать Матильде Аполлинарьевне официальное предложение руки и сердца, значит представить дело близко к истине. Во время работы я с нетерпением ждал вечера, хотелось проверить свои впечатления, ощущения. И... что вы думаете? Матильда снова пришла одна. Проговорила что-то невнятное, объясняя. Я даже не слушал. Ясно было, что всё это уловки, что она хочет быть со мной наедине. Когда же это началось? – соображал я лихорадочно. – Во время моей болезни? До? После? Я вспомнил пресловутый пирог с капустой. Конечно же, это был знак. А я не понял. Потом концерт Лоуэлла, на который, кроме меня, они пригласили решительно всех. Я, как болван, умудрился увидеть в этом насмешку, а это был уже крик души. Меня наказывали за непонятливость, за равнодушие, но когда я заболел, всё простили, и сейчас ждут, ждут, ждут. Душа моя танцевала. Внешне я был по-прежнему сдержан. Мне нужно было хотя бы несколько дней: собраться с силами, найти правильные слова. «Ну а теперь приходите уже вы к нам», – сказала Матильда, вставая. – Боюсь, как бы Катя не начала вас ко мне ревновать». Мы рассмеялись, этот смех сблизил нас. Как мне легко с ней, – подумал я – и вдруг решился. К чему, в самом деле, откладывать? «А как вы думаете, у Екатерины Аполлинарьевны и в самом деле могут быть основания для ревности?» – зацепился я за удачно подброшенную мне реплику. Тилли, глубоко заглянув мне в глаза, улыбнулась: «Мы с Катей прожили вместе всю жизнь. Ей ревновать ко мне – то же, что к собственной руке». «И все-таки возможны ситуации, – я тоже смотрел ей прямо в глаза, – при которых вы вдруг окажетесь разъединенными...» Я замолчал. «Да, и какие же ситуации?» – подбодрила меня Тилли. «Ну, например замужество». Матильда Аполлинарьевна прыснула: «Вот это уж, я думаю, ни мне, ни Кате не грозит». «Значит ли это, что если вам сделают предложение...» – «Я отвечу: благодарю вас, но не будем вести себя курам на смех». – «И вы так скажете, даже если руки вашей попрошу я?» У нее отвалилась челюсть. Не в переносном, а в прямом смысле. Рот распахнулся, как будто кто-то дернул снизу за веревочку. Глаза налились ужасом. Можно было подумать, что ей поднесли к лицу паука. «Что с вами?» – спросил я, и в самом деле ничего не понимая. Она замахала руками: «Забудем, забудем этот глупый разговор. Будем считать, что его не было. Ведь его не было, да?»

Она ушла. Я был раздавлен и чувствовал, что это непоправимо. Как вы догадываетесь, пауза была недолгой. Дня через три позвонила Екатерина Аполлинарьевна. Голос звучал оживленно и бодро. «Вадим, я достала вам книгу о Павловских парках, помните, ту, которую вы хотели иметь». – «Спасибо». – «Что значит “спасибо”? Вы должны вскрикнуть от радости и примчаться ее забрать». – «Не думаю, чтобы мне следовало появляться у вас теперь». – «Какие глупости! И что значит “теперь”? Теперь и всегда, вы же знаете, что мы без вас жить не можем». Я молчал. «Вадим! Вы меня слышите? Немедленно ноги в руки – и к нам. Тилли готовит ужин. Ну как, ставить для вас прибор?» Сопротивляться было бесполезно. И все-таки я попытался выторговать себе хоть малую малость. «Хорошо, – сказал я, – через полчаса выезжаю. Но с условием: вы больше не будете заставлять меня есть пирог с капустой». Екатерина Аполлинарьевна от души рассмеялась. Смеялась долго, переходя от тонкого хи-хи к меццо-сопрановому хха-хха. Наконец, очевидно отерев глаза и высморкавшись, бодро сказала: «Ну, я рада, что чувство юмора снова при вас. А что касается пирога, всё в порядке. Тилли как раз ставит его в духовку».

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

***

Рассеянный ум лоботряса с Бассейной
(не той, что Некрасова ныне, а той,
у парка Победы) был притчей семейной.
Как парк, разрастался сюжет нелинейный
над слепками с грёз и могильной плитой,
Расеей на ум навалившейся, чтобы
рассеянных мыслей народец собрать
в небесный Петрополь, в заказник особый,
когда ветхих слов приоткроются гробы
и добропобедную выпустят рать.

Рассеянье – это условие встречи
когда-нибудь где-нибудь... Определим
точнее тот миг в категориях речи –
и вот уже он Вавилона далече:
всё тот же небесный Иерусалим,
где снова сойдёмся мы, как в Петербурге.
Все нити сюжетные сходятся там.
Сыграем с судьбой в города или в жмурки,
на ощупь на слове друг друга и юркий
ловя её смысл, предназначенный нам.

2010

***

Здесь, между кладбищем и заливом,
между прошедшим (увы!) и будущим
(будет ли?) жить дураком счастливым,
диким глядясь вероятно чудищем
на пустыре унылого *ныне*,
не замечать его зла язвящего,
не уповать на мираж в пустыне,
впрок тиражируемый навязчиво,
и открывать по наитью море,
плеск его слыша в немолчном шелесте
сада над вечным *memento mori*,

Борис Лихтенфельд родился в 1950 году, живет в С.-Петербурге. Публиковался в журналах «Обводный канал», «Часы», «Волга», «Арион», «Звезда», «Крещатик», «Нева», «Зинзивер», «Дети Ра», «Слово\Word», антологиях художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова..» и «Петербургская поэтическая формация», «Лучшие стихи 2010 года» и др. Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (2000), «Метазой» (2011).

и не стыдиться своей замшелости,
как эти камни, знать своё место
в этом пространстве и в этом времени,
не содрогаться от ласк норд-веста
под облаками и под деревьями...

2010

Ялкала

Игорю Марковскому

Долгое озеро. Память недолгая.
По берегам холмистым
тишь-благодать. Диалектика дохлая
тлеет по русским марксистам.

Старший в Финляндии независимой
здесь умирал, а младший
план стратегический прятал под лысиной
по овладенью падшей.

Третья империя, крахнув с Плехановым,
красной сменилась – четвёртой.
Пятая возвещена Прохановым
с верою в чудо твёрдой.

Виллы на месте концлагеря финского,
долгий забор-антитезис...
Новая Русь напирает воинственно,
Китежем снясь и грезясь.

Разум, пленённый своими монстрами,
жарится на мангале.
...Ходит молва, что на этом острове
трупы в войну сжигали...

Перетерпевшая зиму лютую,
белка грызёт орехи...
Отвоевав, следы свои путают
тысячелетние рейхи.

Долгое озеро. Долгие проводы
пришлых идей, гудящих
над нашим скотством, как слепни и оводы,
канувших в долгий ящик.

...Знал я старуху, сестру Зиновьева,
выжившую в ГУЛАГе –
истинном воплощении снов его
о всенародном благе.

В памяти поступь её тяжёлая,
брови густые, жёсткий
блеск её тёмных зрачков – два жёлудя –
и подбородок в шёрстке.

А на заре коммунизма брезжащей
Анечке страх неведом:
Гриша и Ленин в своём убежище
Анечку ждут с обедом.

Впрочем, тогда скрывались не здесь они.
Озеро было другое,
где, как в засаде, в досадном бездействии
пламенные изгои...

В тёмной истории мельком неяркая
(нрзб) страница:
слов не сотрёт *Питкя-ярви*, *Ялкала*
сдвинутая граница.

Долгое озеро. Долгие прения
непримиримых марксистов...
После бредово-апрельского прения
май всепобедно-неистов!

2011

***

Когда живописных средств языка
едва хватает на фон, подобный
тревожному рокоту, и зыбка
далёкая цель, ближний план подробный
почти невозможен, а если вдруг
проявится, выплывет из тумана
на стрежень свободной речи, как струг
лихого казачьего атамана,
то разве что в контурах бледных, но
довольно и этого, чтоб картина
на миг ожила: если фон и дно –
тождественны, а речевая тина
трофеи, сброшенные за борт,
хранит от означенности, опутав,
то темень, разъевшая натюрморт,
живее отчётливых атрибутов.

2010

***

Смертельным не зови симптом
болезни чистой белизны!
Будь въяве независим в том,
о чём в ночи свербели сны!

Покинув речь, фонемы те
десть поразят в полсотни зим.
С влеченьем к вечной немоте
недуг твой не соотносим.

Утихнут менестрели стай.
Отточие – авгура зуд...
Всю жизнь в уме перелистай!
Один ты на снегу разут.

Пока глазами ты не врос
в ту ночь, где с колыбели сны
в тревожный замкнуты невроз,
терпи уколы белизны!

2009

Владимир ИВАНОВ

Аналогия

Индейцы, не имевшие первоначального представления
о корабле, долгое время не могли увидеть
приближающихся кораблей Колумба,
а видели лишь пустой горизонт
и странную рябь на воде.
Из научно-популярной программы.

Рябь бежит от нуля, от нуля-корабля,
И кричит пустота по-испански: «Земля!» –
То есть, слышишь ты звон, но не скажешь, где он,
Как любой, минимально нормальный, гурон.

В наших зрячих затылках опять копошня,
Нам когда-то вот так же не дали огня.
Как ни в чем не бывало, мы шли сквозь него
И не делалось нам ничего.

И пока нам молчали про зыбкость воды,
Мы тропу натоптали туды и сюды –
То на Кубу, то с Кубы – обратно, пешком,
То за ромом, то за табаком.

Да, и, кстати, от выпивки и табака
Ни один ирокез не загнулся, пока
Нам в башку не вдолбили об ихнем вреде,
Так же, как об огне и воде.

Так что пусть и с Колумбом не слишком спешат –
Будет хуже, когда разрешат.

Брак

Зеркало марки «Мария»
Надо искать до умру.

Треснувшие, кривые
Курят они по утру.

Владимир Иванов родился в 1976 году в г. Городец Нижегородской области, закончил Нижегородский юридический институт МВД РФ, живет в Костроме. Печатался в журналах «Арион», «Новый Мир», «Октябрь». В 2009 году в издательстве «Арион» вышла книга стихов «Мальчик для бытия».

Тот – в ухо заехать грозится,
А с тем – я вообще не знаком.

Кому повезло отразиться
В голубке своей голубком?

23.09.2011

Свойство

Ложка дегтя или даже, пардон, дерьма
Нашей бочке – тьфу – промешал и нету,
Промерзаем до русла порой, где зима,
Но садимся в лодочку там, где лето.

Где-то бомбу сбросят, взлетит плотва...
Не взлетай! Обломится – мы плотнее
Той плотины из мертвого вещества,
Той воды – за нею.

Бегущему человеку

Покидайте опасное место быстро...
Из инструкции по поведению в лесу
при лесном пожаре.

Теперь, уж, не отвертишься, ты – Лес,
ты – Я и есть – и заяц, и осина,
и вспыхнувший, как порох, соловей... –
одних кровей с тобой – Моих кровей.
И ни отца, ни сына.

Леонид ЛЕВИНЗОН

Рассказы

ДОЖДЬ

Ну вот. Осень. Утром бодренько помылся, оделся, и бегом. Стою на остановке – дождь идет. А по мне хоть град. Воротник поднял, и все дела. Жаль, зонтик не взял. Не люблю. Если б любил, обязательно взял бы. А так – приходится мокнуть. Холодно под дождем. Но зонтик? Нет, только не зонтик. Стою себе в темных очках. Автобус мимо проехал. Не заметил что ли? Пожалуй... Или шофер решил, что дождь... дождь все спишет. Может он и прав, я ведь тоже склоняюсь к этому. Так и представляю того шофера: пожилой, на лбу морщины, но не от раздумий, точно не от раздумий, во время движения думать не просто, всего лишь зарубки на память. А что? Думать вообще некогда – работа, дом, дела вечные. Да и о чем, собственно? А если еще выпил... У-ух! Вот и получается, весь день и последующие двадцать лет работаешь в конторе, бумажечки исписываешь, а морда – будто на трех войнах побывал. Как-то так устроено – морда скукоживается не важно от чего. Так вот. Едет водила. А около него какая-нибудь старушенция пищит:

– Я пожалуюсь! Я пожалуюсь! Как это? Где это? И почему первый автобус за три часа? Я вся замерзла! Где ваша забота о человеке? И почему нет двадцать шестого?!

Шофер напрягает морщины и молчит – некогда ему отвечать. А старушенция все заводится и требует. Она бы и рада сесть, но сами знаете, если граммофончик заиграл, сразу не отключишь.

Наконец, очередная остановка, шофер видит человека в темных очках и думает:

– Проеду, точно проеду. Ведь не заметит – недаром в темных очках. Странно – осень, и в темных очках. Вообще у меня особые обстоятельства – дождь, старуха, морщины, полно пассажиров. Проезжает остановку и говорит в сторону:

– Сзади двадцать шестой, сзади. А автобусов не было, потому что дождь. Колеса скользят, мотор чадит, на бензин подорожание, водителей не хватает, начальство проворовалось, но что мне начальство, когда я уже на трассе? И вообще, я знаю только то, что я еду и открываю двери. Открыл, закрыл, открыл, закрыл.

Но старуха уже отошла, села и ничего не слышит. Она сосредоточенно копается в сумке. Она купила сегодня молоко и булочку, сыр и рыбу, но на улице дождь, она выбежала поскорей, а зачем выбежала – забыла.

Забыла проверить чек и теперь его ищет, вдруг обманули? Например, взяли за рыбу дважды, а за хлеб трижды? Что в кошелечке у нас? Пять монеток и еще десять. Додали, не додали? Нет, нет, не возражайте, это вопрос принципа. Тяжело возвращаться, но в таком деле самое главное принцип. Государства рушились из-за несоблюдения принципа. Интересно, чека нет, а на душе облегчение, хотя это наоборот. Но иногда, то, что наоборот, правильнее. Старуха перестает копаться, и смотрит в окно. А там человек в темных очках рукой машет.

– Как же он в магазин ходит? – думает старуха. – Ему же чек не проверить. Видит, наверное, плохо. Или воображает. Точно воображает, как этот противный шофер – даже не ответил. Вот, довоображался, проехали.

Дождь. И автобус проехал. Уж как я старался, рукой махал, и все-таки не взяли. Я ведь как

Леонид Левинзон родился в 1958 году. Закончил медицинский институт в Санкт-Петербурге, в 1991 переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, работает в медицинском центре. Лауреат «Русской премии» 2010 года по малой прозе, повесть «Акакий Акакиевич» вошла в шорт-лист премии им. Марка Алданова в том же 2010 году. Печатался в журналах «Октябрь», «День и ночь», «Зарубежных записках», «Новом журнале», «Иерусалимском журнале», «22».

думал? Я всех вижу в своих очках. А меня никто. Думал, это понарошку. Так, играемся. А он проехал и не заметил. Всерьез воспринял. И что теперь делать? Снять темные очки? Они ведь против солнца, а не против дождя. Ничего не скажешь, момент выбора. Вдруг и следующий не заберет? Да, что-то я не додумал. А вот! Еще автобус! Здесь я, здесь!! Проехал. Собака, просто собака. Следующий год – год белой собаки, мне должно повезти. А то, такая жизнь – с работы на работу. Может, начать галстук носить? А что? Неплохо бы смотрелся. В темных очках и в галстуке? Интеллигентно. Иду, например, по коридору. Высокий, прямой. В галстуке.

– Простите!

– Простите, что?! Вы, вообще, мне? Почему я? Так, луна! Что, сегодня ночью вообще не было луны?!

Нет, галстук – это серьезно. Он внушает серьезные мысли. Ты сразу член общества. И общество тебя уважает. Я думаю, мне бы сразу повысили зарплату. Да, по факсу бы прислали распоряжение: «Тчк ЭЛЭЛ повысить Тчк». Именно так. А на сколько – мол, сами думайте и попробуйте только ошибиться. Вкусное слово «факс». Вкусное слово «Тчк».

Не буду я галстук носить. Просто не буду и все. Разве что в дождь. А недавно я встретил одного человека. Я понимаю, вам это неинтересно, вам интересен дождь. Но все-таки... он шел навстречу, широкий в талии. Я ему сказал:

– Здравствуйте!

Он скользнул взглядом, сказал:

– Да, да.

И всё. В двенадцать ноль пять я поздоровался, в двенадцать ноль шесть он уже шел от меня, блестя лысиной в ужасном свете электрических ламп. Вот так и жизнь проходит. Ну это к слову, не обращайте... Так вот. Мне он, этот человек, не понравился. Я почувствовал к нему неприязнь. И не потому, что он совсем не похож на меня, а потому что он сытый. Есть такая порода людей, сытость которых отражается в глазах, лице, руках. Они, обычно, даже не миллионеры. Так, сытые. Хотя возможно, он хороший врач и больные говорят ему спасибо, а не больные, толкаясь между собой, ходят мимо в толпе. Или адвокат по квартирному вопросу. Точно! По квартирному! У него хорошие дети, хорошая жена и всё в жизни последовательно: родился, состарился, умер. Счастливо подбрасывая правнука вверх. Только вдруг схватился за сердце, сказал – ах! И вот, уже музыка. Все плачут и потихоньку расходятся. Неудержимо расходятся. Как-то в последнее время замечаю, что хороший человек, становясь сытым, все больше говорит «да-да» в ответ на приветствие. Начнешь ему объяснять про свои не сытые дела и растерянно замолкаешь. Что ж, понятно, у него жена, дети, права, обязанности, квартиру в этом году надо поменять, времени на все не хватает и в четыре часа спортзал, а ты задерживаешь. Остановишься, пробормочешь:

– Извини...

– Ну пока... – хлопнет тебя по плечу.

Уйдет – муж, жена, дети, спортзал, и вообще темнеет. Да нет, я понимаю, это внешнее. На самом деле столько подводных камней. Бывший друг уйдет, ты останешься и украдкой хлопнешь себя по плечу, как это? Встанешь и, поправив темные очки, молча пойдешь. Не завидуя, не жалея, просто пойдешь своей дорогой. Потому что важно идти своей дорогой. Задаешь себе условие и идешь.

Дождь. Интересно, сколько он будет продолжаться? Всю осень или только один день? Я хотел бы – всю осень. А сейчас я куплю летнюю шляпу. Почему летнюю? Потому что осенью я всегда жду лета, а летом мне всегда некогда. Вот автобус подойдет, ведь он когда-нибудь подойдет? Остановится под дождем, терпеливо ожидая. Я войду внутрь и спрошу про двадцать шестой. Мы ведь все не очень отличаемся друг от друга. Ведь и меня на самом деле заботит, где двадцать шестой. Потом сяду. Я поеду покупать шляпу. Хотя я уже вчера пытался купить. Но так и не купил. Почему? Самому непонятно. Подходишь, примеряешь – то шляпа большая, а голова маленькая, то шляпа маленькая, а голова большая. Но я думаю, это несоответствие когда-нибудь кончится. А пока, пока я выхожу под дождь. Он идет все сильнее, сильнее, уже и домов не видно, и погоды не видно. Дождь.

Иерусалим
21.11.05

В ТЕЛЬ-АВИВЕ

В Тель-Авиве надо ходить пешком. Только тогда ты почувствуешь его дремотную левантийскую сущность, отдающую сладостью помоек и затхлостью пыльных манекенов. Пусть дикие желтые кошки следят за тобой длинными презрительными глазами, и солнце, растопляя желания, всё ощутимее грозит сверзиться тебе на голову. В таком городе надо жить на крыше, писать стихи и спускаться вниз единственно чтобы искупаться в море да закупить вперед продукты, обеспечив себя едой еще на несколько жарких влажных дней. Вот, на одной из таких крыш, в комнатке с залихватской надписью на двери «мушкетерская», проживал и проживает высокий, уже не молодой человек с длинными русыми волосами. Готовит себе салаты, сидит у компьютера, принимает гостей.

Сегодня у него крепенький лысоватый Алексей из Иерусалима и широкоплечий черноволосый Олег, каждую минуту палящий мятую папиросину «Беломор».

– В ней масел нет, – объясняет, – чистый табак. Но, мужики, такая полезная вещь. Задумано именно для работяг: только нагрузил тачку – погасла. Что ж, остановись, перекури. Отвез тачку – погасла, опять перекур.

Звонок. Олег отвечает:

– ...отец Макарий, отец Дионисий... Да, договорено, да, места...

Закончил.

– Туристический бизнес, мужики, – извиняется, – паломники... То пусто, то густо...

– Олег, ты уже выучил испанский?

– Читаю Борхеса. Встаю в пять утра, пока жена спит, и начинаю.

– Что-то мы заговорились, – замечает хозяин.

Разливает хитрое пузатое бренди. Подняли стаканчики, еще раз подняли.

– Был недавно в Днепропетровске, – Олег борется с беломором. Затянулся. – Ночевал в коммуналке у тети: часы тикают, на стене ковер с лебедем, на этажерке подшивки «Нового мира», «Юности», через дверь запах уборной. Где они, семидесятые? Ау?

– А у меня свой Днепропетровск, – Алексей вольготно расположился: откинулся назад, вытянул ноги, – там, где я живу, за многоэтажками пустырь: высохшая трава, при ветре скрипящая будто железом, одинокая дорога, сожженная автобусная обстановка. Репейника только нет да лопухов.

– А ты был в Днепропетровске?

– Не-а.

– Ну, за Днепропетровск! – предлагает хозяин.

Подняли, еще раз подняли. Раз – и кончилось бренди.

– Сколько не растягивай...

Поднимается Олег, поднимается Матвей – хозяин.

– Пойду, провожу, – говорит.

Гость из Иерусалима поднимает с полки атлас, изучает: миллионы людей раскрашены разными красками. Положил обратно.

Стук в дверь. Входит серьезный человек Дмитрий с женой Галей и его друг профессор Иванов.

– Вот, – обижается с порога профессор, – «В Новостях недели» кто-то под псевдонимом Шломо Иванов пишет разные глупости, а мне звонят и выясняют отношения.

– Где Матвей? – Спрашивает Дмитрий.

– Пошел Олега провожать.

– Да ну! Значит, он был?

– Конечно, был, вон бренди пустое.

– Жаль, давно не видел. Как он?

– В Рамат-Гане с Ирой.

Порывшись в портфеле, Дмитрий вытаскивает водку «Лобзик».

– Дима, а почему ваша водка так называется?

– Да лобзиком по желудку, – говорит профессор Иванов.

– Брось, это просто оригинальное, привлекательное коммерческое название.

Открывается дверь, заплетая ноги, входит совершенно пьяный Матвей, за ним, толкая его в спину, появляется маленькая нахмуренная девушка.

Иерусалимец ахает:

– Он же трезвый выходил!

– Вот, привела, – говорит девушка, – полчаса не мог открыть дверь на крышу.

– Она же не закрыта!

– Не мог!

Матвей делает два шага и падает в кровать. Девушка уходит. Изо всех сил борясь с опьянением, Матвей изрекает непонятное:

– Пирожки...

– Что, пирожки? – не понимает профессор Иванов.

Но Матвей уже спит.

Смеркается. Рябит маленький телевизор, Дмитрий рассуждает о политике. Профессор кивает. Разливает «Лобзик», еще разливает. Кончилось. Как-то неожиданно кончилось. В общем, сколько не растягивай...

– Галя, поставь чайник! – командует Дмитрий.

Галя фыркает:

– Я в гостях.

Дмитрий горестно вздыхает и продолжает тему.

– Дима, помолчи! – не выдерживает Иванов.

– А что?

– Был у нас тоже один профессор, все политикой интересовался. Даже с наушниками ходил, новости слушал...

Иванов делает паузу.

– Ну и что?

– Умер. А политика осталась.

– Дурак ты, Иванов. Алексей, как ты завтра?

– Не знаю. Подожду – Матвей проснется, решим.

– Ладно, мы поехали.

Иерусалимец еще посмотрел телевизор в полосах: блондинки – Россия, брюнетки – Израиль. Потрогал экран. Выключил. Вышел на крышу. На крыше девушка, приведшая Матвея, гуляет.

– Девушка, спасибо.

– Вместо того, чтобы говорить спасибо, лучше бы проследили за ним. Если бы не я, он бы упал с крыши.

– Спасибо.

– Ему лечиться надо. Это запой, я знаю. У меня еще в Дрездене были проблемы с братом.

– Вы из Германии?

– Да.

– И давно в Израиле?

– С девяносто четвертого, а что?

Девушка нахмурена, резка, руки в карманах тоненького свитерка оттягивают вниз ткань и резко обозначают соски. У девушки, оказывается, полная грудь.

– Давайте чай попьем?

– Не, не хочу. Пойду спать. Ему надо в общество анонимных алкоголиков записаться, – советует напоследок.

Закрывает за собой дверь.

Гость, нарушая правила, спускается по лестнице и уходит к морю. По дороге ночные клубы, пабы, гуляющие девчонки, парни. Еще холодно, и на голые плечи девушек накинуты куртки. Дорогу заступает амбалистый.

– Эй, дядя? – подмигивает.

Алексей поднимает глаза.

– Не хочешь? Пип-шоу «Капуста».

– Почему «Капуста»?

– А что, оригинальное коммерческое название. Детей в капусте находят, разве не знаешь? Ну, зайдешь?

– Нет.

Обогнул препятствие и мимо фонтана на набережную: огни, небоскребы. Напротив Оперы множество свечей – память о теракте.

А наутро Матвей рядом долго ходит, шмыгает носом, что-то делает. Гость проснулся, посмотрел:

– Матвей?

– Да так. Будешь?

– Может не надо?

– Да я чуть-чуть. Между прочим, – проговорил с обидой, – вчера Семен-магазинщик обвинил меня, что я ему пирожки рассыпал.

– А ты?

– А я обиделся.

– А кто рассыпал?

– Я случайно. Попытался ему заплатить, а он красный стал и говорит: Иди, Матвей... Какое он имел право? Ну, будешь «Лобзика»?

– Тебе надо в общество анонимных алкоголиков.

– Это тебе надо. Так не будешь?

– Нет.

– Ладно, я допью.... Кстати, салаты в холодильнике.

Допил «Лобзик», посмотрел на пустую бутылку, сказал грустно:

– В общем, сколько не растягивай...

Отключился.

Гость походил по комнате, поднял с пола плотно исписанный листок. Стихи...

Душа сбегает в ночь. Ей глупо
Смотреть в компьютер, мять кровать,
Торчать в окне, впадая в ступор,
И с кошкой мелочно страдать...

Разжал пальцы, листок спланировал обратно на пол.

Звонок:

– Алексей, ты что?

– Да вот, Матвей опять напился.

– Жди, заберу.

Сели, нарушая правила, в машину, поехали в старый Яффо.

– Что машина? – рассуждает по дороге Дмитрий. – Железо! Купил за три тысячи – и бегает. Хочешь, подскажу, где купить?

– Не надо!

– Как хочешь. Ага, не занято! Выходим. Галя, смотри, какая женщина! – обращается к жене. – Ты по сравнению с ней полный ноль!

– Ты тоже, – спокойно отвечает высокая, тоненькая Галя в неожиданной белой панаме. – Кстати, тут есть хорошие рыбные рестораны.

Дмитрий делает вид, что не слышит.

– Туалеты, – обрадовался, – подождите.

Трое останавливаются. Галя говорит:

– Вы не находите, что он как-то странно понимает сказанное?

Ждут. Смотрят на море, где в узкой бухточке скопились яхты.

– Интересно, как они отсюда выплывают? – задумчиво спрашивает Алексей.

– Вертолетом, – отвечает профессор Иванов, неуместно смотрящийся среди гуляющих левантийцев в своем строгом костюме и светлой рубашке с галстуком.

– Ну и где же Дмитрий? – когда надоедает смотреть на яхты, волнуется иерусалимец.

– Он с собой ничего не взял? – интересуется Галя и почему-то смотрит на Иванова.

– Да вроде Диккенс в машине остался, – неуверенно отвечает профессор.

– А то прошлый раз, – Галя поворачивается к Алексею, – взял с собой Библию. Я говорю: – Ты что, с ума сошел? Так ведь его не переубедишь!

– Небось, год сидел?

– Полчаса, – отвечает вместо Гали профессор Иванов, – всего полчаса, но вышел в кипе.

Появляется Дмитрий.

– Что расселись, пошли? Вот, Алексей, – обращается к гостю, – напиши, как мы ходили по Яффо!

– Как не пошли в рыбный ресторан! – добавляет злопамятная жена.

– Молчи, глупая! Напиши, как в ящиках лежали креветки и рыба, как резко пахло морем, и араб в штормовке с опущенным на голову капюшоном приплясывал своими длинными молодыми ногами в джинсах около ящиков. Кричал: двадцать! Пятнадцать! Двадцать! Только сегодня! Только сейчас! Как стояли спинами ко всем нахохленные насупленные рыбаки со своими длинными удочками, как играли в воде дельфины...

– Интересно, где ты видишь дельфинов? – интересуется Галя.

– Неважно, это художественное допущение! – отмахивается Дмитрий. – Как солнце то появлялось, то исчезало, и сразу становилось холоднее, и люди никак не могли приноровиться к этой меняющейся погоде, ходили кто в майках, кто в куртке. И вдруг небо заволокло, и сыпануло дождем, рассыпалась крупная тяжелая капель, но быстро, походя, и опять появилось, как бы дразнясь, солнце, и рядом на прогулочном кораблике вдруг засвистел в большой свисток капитан в такой замечательной фуражке и закричал грозным голосом:

– Все по местам! Отдать швартовы!

Под корабликом загудело. И, сначала переваливаясь, а потом гордо выпрямившись, кораблик поплыл прочь изо всей силы крича «Золотой Иерусалим» громкоговорителем.

– И еще расскажи... – продолжает Дмитрий.

– Как мы не пошли в рыбный ресторан! – упрямо добавляет Галя.

– А не пора ли нам «Лобзика»? – интересуется профессор. – Что-то мои профессорские мысли начинают разбегаться.

Дмитрий сосредоточенно думает.

– А что, в принципе правильно, у нас дома и борщ к нему имеется.

– Борщ это хорошо, – благосклонно кивает профессор Иванов, – горячие закуски самые хорошие.

Но как ни растягивай....

Через несколько часов убегает назад дорога между Тель-Авивом и Иерусалимом, в маршрутке здоровенный негр, китайцы, два араба, румын, пять экономящих деньги филиппинок на одном сиденье и теплый от «Лобзика» некий лысый. Начинает было дремать и вдруг раскрывает глаза: навстречу по бордюру, качаясь от ветра, идет молодой религиозный еврей. Глаза в восторге, руки раскинул, белая рубашка вырвалась из брюк, пузырится, в руке шляпа. Идет и не падает.

Иерусалим
15.04.05

Алексей ГРИГОРОВИЧ

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ

Повесть

Алексей

Моя жизнь подбиралась к концу, и вот вдруг неожиданно я испытал острую потребность перенести произошедшее со мной на бумагу, начиная с последних событий, послуживших причиной приближавшемуся концу – желание, в сложившихся обстоятельствах больше похожее на насмешку. Записывать свои мысли для меня вообще не свойственно – несмотря на то, что я всегда испытывал склонность к гуманитарным наукам, я никогда не писал ничего, что представляло бы собой художественную ценность, ограничиваясь сухими научными работами и докладами, не имел никогда личного дневника или популярного в наше время блога, и даже мой блокнот для заметок находился всегда в идеальном, каком-то лабораторном порядке. До чего же, должно быть, будет неприятно и скучно в литературном плане повествование, написанное человеком, привыкшем к писательскому моциону, ограниченному сухим набором заученных фраз. Если бы у меня были читатели, я бы, должно быть, сделал кокетливый реверанс в их сторону, попросив простить нудность моего слога, однако таковых у меня не имеется и быть не может – и потому еще более удивительно то, что я все еще держу в своей левой руке ручку, а не бутылку плохого портвейна.

Право же, я уже достаточно рассказал о себе – рассказал даже слишком много, потому что этот рассказ посвящен вовсе не мне, и только мой вечный, переходящий все границы эгоцентризм и то, что уже с утра я уже успел изрядно *набраться* – все же я сумел выжать из своего закостеневшего рассудка хоть одно живое, нормальное слово – так вот, только не вытравленная любовь к апломбу и общая нетрезвость не дают мне приступить к главному. Должно быть, если размышлять с литературной точки зрения, я сделал довольно изящное вступление – в меру краткое и в меру честное, и перед глазами воображаемого мною же обладателя этих записок уже успел бы возникнуть достаточно обыденный образ, нещадно эксплуатируемый писаками всех мастей: спившийся интеллигент, в прошлом явно интересный мужчина, теперь же подверженный перманентным приступам самокопания и, вероятнее всего, глубоко разочаровавшийся в женщинах: одна из них, юная красотка с ореховыми глазами, бросила его, предпочтя какого-то молодого балбеса на дорогой спортивной машине. Возможно, это и соответствует правде в какой-то мере, но теперь, теперь меня уже не интересует уже ничего, связанное с этим человеком.

Если бы у меня осталась бы к нему хоть капля участия и любопытства, я бы, должно быть, начал бы следующий абзац так: «я встретил ее на вечеринке у своей старинной знакомой», или же даже с чего-то еще более безнадежного – вроде «однажды я женился». Но, конечно же, за неимением этих бесполезных качеств, я, пожалуй, начну с самого начала, насколько только оно мне известно.

***

Ее мать была родом из Югославии – именно ей главная героиня моего повествования обязана своим прекрасным, непривычным для русского слуха именем. На какую-то часть хорватка, на какую-то – русская, она была амбициозной молодой девушкой, которая точно знала, чего хочет от жизни, – поэтому в семнадцать она покинула Загреб и переехала к сердобольным родственникам в Ленинград. Она поступила на физический факультет университета и совершила лучшее, что только могла сделать в своей жизни – влюбилась в отца моей драгоценной знакомой, который имел

Алексей Григорович родился в Саратове, живет в Санкт-Петербурге. Образование и работа с литературой не связаны.

историю еще более занимательную, чем его любовь. Он учился на последнем курсе химфака и был сыном одного советского дипломата, имя которого я, говоря по правде, запамятовал – память стала в последнее время подводить меня – весьма важной шишки, и столь же безымянной для меня – память, память! – индийской девушки, наверняка такой же черноглазой, как и моя давнишняя знакомая. Как водится, они были едва знакомы. Поначалу это была довольно бестолковая влюбленность, основанная на выдумках, редких переглядываниях и подслушанных историях; ее первое время – три осенние недели – были для хорватки самыми невыносимыми за всю ее короткую жизнь: прекрасный молодой человек, богатый по меркам времени сверх всякой меры, красивый и почти столь же умный, как и гениальная юная студентка, не испытывал никакого интереса ни к чему, кроме единственной своей возлюбленной – химии, о чем давно знал весь университет, уже махнувший на безнадежного одержимого рукой. Никто не помнил, чтобы когда-нибудь он оказывал кому бы то ни было, женщине или мужчине, знаки внимания, и она, одна из десятка влюбленных в него студенток, ничем поначалу не выделялась для него среди прочих. Он, конечно, о ней слышал – она тоже стала чем-то вроде местной знаменитости из-за своего выдающегося ума, но никакой заинтересованности не проявлял – первые личные встречи были лишены и намека на взаимность, как только ни старалась она понравиться ему.

Девушка без конца винила свою нескладную наружность или же слишком бойкие, неженственные манеры, полагая, что причина его холодности может лежать в ней самой и только в ней, и уже успела пройти все степени любовный тоски, когда в один из ничем не примечательных дней на границе зимы и осени он сам не подошел к ней с заветным и простым предложением – пройтись по городу после занятий, и улыбнулся, и ничем не объяснил этот неожиданной переход от полного равнодушия к юношеской напористости. Этот поступок не получил никаких объяснений даже после их женитьбы, после того, как родились дети, но, как полагает главная героиня моего повествования, ее отец, будучи мало сказать просто расчетливым и прагматичным, понял, что едва ли в жизни ему встретится человек более близкий по духу, чем эта неказистая югославская девушка. Я видел ее фотографию – быть может, она действительно не отличалась красотой, зато обладала невероятным интеллектом и набором прочих полезных качеств, редко разом встречающихся у молодых девушек: самодостаточностью, простотой в общении, полным отсутствием любви к глупому кокетству и отличным чувством юмора, что позволило ей стать для своего мужа прежде всего даже не любовницей, а другом, человеком, которому он мог доверять как никому в жизни.

Впрочем, после их сближения стало известно другое, не менее интересное обстоятельство жизни прежде равнодушного ко всем химика: только последние годы, проведенные целиком и полностью в Ленинграде, были для него столь целомудренны, однако школьная пора, когда он следовал за отцом по всему свету – Лондон, Москва, а в основном – далекий жаркий Дели, – изобиловала любовными приключениями всех мастей, закончившимися не вполне безобидно – в Индии он оставил свою внебрачную дочь, ненужного, случайного ребенка, из-за которого его родитель вынужден был ежемесячно раскошеливаться на определенную сумму. Впрочем, легкую на подъем молодую жену это не смутило, и через восемь лет в их доме появился «законный наследник» – маленький крепкий мальчик с черными глазами и упрямым характером. Я почему-то отчетливо запомнил их совместную фотографию. На ней молодая женщина, худенькая, со впалыми щеками и озорным подростковым взглядом, сидела на стуле, придерживая на коленях очаровательного ребенка, линия век которого из-за густых ресниц казалась сплошь черной; позади нее стоял матово-смуглый мужчина, смотря почти безо всякого выражения прямо в объектив. Он был по-настоящему красив, и черты лица его были мягкими, будто даже немного женскими, однако короткая бородка и этот странный, строгий взгляд добавляли ему мужественности.

Этот ребенок стал первым из их трех детей – через пять лет появился на свет второй мальчик, неожиданно заметно отличавшийся от старшего брата как характером, так и внешним видом, а еще через три – младшая дочь, единственная из всех героев моего повествования, которую я назову по имени, по ее прекрасному нерусскому имени – Драгана.

Со старшим братом, с которым Драгана была во многом схожа, из-за разницы в возрасте она почти не общалась – тем более, что сразу после школы он уехал в Москву, решив пойти по стопам своего удачливого деда. Он был – хотя, почему же был, если до сих пор он жив, и в последнее время

даже реже стал выезжать из страны, из-за чего я вечно боялся наткнуться на него на улице – человеком сдержанным, немного самовлюбленным, проницательным более, чем нужно, и, несмотря на то, что на вид казался скорее мягким и добросердечным, большинство знакомых – и я в том числе – старались как можно быстрее сглаживать все острые углы в отношениях с ним. К тридцати четырем годам он достиг невероятных высот, и жизнь его была будто написана, а не прожита. Каждый шаг был просчитан, и все восхождение к вершине напоминало великолепную шахматную игру. Если подобная аналогия уместна, он кажется мне отличником, над которым никому не хочется насмехаться, – редкое явление, и за свою долгую жизнь я не встречал человека, настолько соответствующего какому-то форсайтовскому, буржуазному идеалу успешности. У него есть всё – деньги, карьера, семья, даже парочка-другая старинных университетских друзей, с которыми он порой может скоротать вечерок и выпить ровно столько, чтобы не быть ни пьяным, ни трезвым. Иногда я думаю, есть ли все это для него счастье: власть, богатство, непримечательная жена, столь же безупречная, как и он сам, блестящая репутация и это особое, по-взрослому скрываемое детское хвастовство и самодовольство, заметное в каждом его движении и поступке? При всей его внутренней силе и остром уме странно было бы довольствоваться подобной жизнью, напоминающей скорее бессмысленное соревнование, однако что тогда мешает ему прожить ее по-своему? Я не могу ответить на этот вопрос; Драгана, должно быть, единственный человек, который точно знает ответ на него, – но, конечно же, она никогда никому не скажет.

Средний ее брат, однако, вырос человеком совсем другого толка, если не сказать противоположного. Из-за их «чудовищной разности» в детстве они находились в состоянии перманентной войны, причин и поводов которой не помнил уже никто, будто Драгана родилась уже с глубокой обидой на брата. Он обладал определенным умом и сообразительностью, как и все члены семьи, однако у него они выливались скорее в какую-то ловкость и практическую хитрость, позволявшую ему проворачивать ему любые незаконные дела, оставаясь безнаказанным. Этим своим талантом он гордился и, по слухам, активно пользовался – я говорю «по слухам», потому что никто, даже старший брат, ловко совавший нос в чужие дела, не мог сказать точно, чем сейчас он занимается. В Петербурге он отучился несколько лет на юридическом, потом бросил учебу и, промотавшись года три между двух столиц, переехал в США, где его след и теряется – конечно, он звонит домой (чаще брату) пару раз в месяц, бодрым голосом сообщает о том, что у него все прекрасно, с некоторой иронией спрашивает о своей «любимой» младшей сестренке и кладет трубку, проговорив без остановки полчаса, но ничего точно не сказав. Я ни разу не видел его лично, только знал по рассказам Драганы – сейчас она относилась к нему более спокойно, но все же не без некоторого презрения, полагая его весьма бестолковым молодым человеком, который зря растрачивает свои способности. Ему уже почти тридцать, говорила она, однако он до сих пор остается непослушным ребенком; свои слова она подкрепляла рассказом о том, как три года назад он неожиданно, без всякого предупреждения (что уже говорило для Драганы о многом) приехал в Россию, пробыл недолго у старых друзей в Питере и далее поехал в Москву, где безудержно пил все оставшееся время. На вопросы об источниках своего дохода он, просадивший в городе кучу денег, не отвечал, но от внимательного взгляда Драганы ничего нельзя было скрыть – в конце концов, она оказалась абсолютно убеждена в том, что брат ее весьма нечист на руку (скорее всего, наживается на незаконных финансовых операциях), знает не понаслышке о наркотиках и только чудом не проводит годы своей молодости за гостеприимной и крепкой американской решеткой. «Я не совсем понимаю, как люди могут быть... такими», – говорила она мне, и в этот момент ее обычно непроницаемое и застывшее, словно у статуи, лицо приобретало, наконец, живое, человечное выражение, и дальше я мог слушать ее уже только с превеликим трудом.

Я так долго разорялся о ее семье – право, сам не знаю, зачем, хотя нет никакого смысла и в совершении других действий, поэтому я, пожалуй, продолжу в своем прежнем занудном ключе исписывать один за другим бесполезные белые листы.

***

Драгана родилась двадцать седьмого июня тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года. В раннем детстве она мало чем отличалась от прочих детей, и назвать ее вундеркиндом было, по-

жалуй, нельзя, хотя она много раньше обыкновенного срока научилась говорить и читать. Ее образование было не принудительным, какое обычно получают дети в школах: весь процесс обучения проходил как бы между играми и общением с родителями и братьями, но даже если временами он переходило в занудство, это нисколько не утомляло ее. В восьмидесятых ее семья много ездила по Югославии, часто оставаясь на лето в Загребе, где маленькая Драгана умудрилась почти не напрягаясь выучить сербскохорватский до того хорошо, что в речи ее даже по приезде обратно в Ленинград путались русские и иностранные слова. Однако, несмотря на подобную способность к языкам, главным образом она с самого детства тяготела к математике – позже, в школе, на уроке ей было решительно нечего делать, а мать совершенно не знала, чем занять ум дочери, считавшей в уме, как калькулятор. Впрочем, подобное можно было сказать почти обо всех предметах: и биология, и химия, и уж тем более языки казались ей делом пустяковым, и дневник безо всякого напряжения со стороны обладательницы наполнялся исключительно отличными отметками. Учителя, тем не менее, ее недолюбливали: в первую очередь, должно быть, за то, что она все-таки была умна много более их самих, а так же за ее известную высокомерность и даже снобизм. Драгана не обращала ни на них, ни на школу никакого внимания, часто прогуливала без объяснения причин, но вела себя столь безупречно, что никто не мог обнаружить в ее словах и тени дерзости, хотя в последние годы она и дала повод для вызова родителей к директору.

В связи с вышеупомянутым происшествием, пожалуй, теперь бы мне хотелось прекратить это бессмысленное перечисление талантов и вспомнить ее характер, а главным образом – одну ее отличительную черту, из-за которой, говорю я себе, все и началось, и случилось так, как случилось, хотя знаю прекрасно, что во всем виноват я и только я сам. Выдающийся ум давал Драгане повод для гордости и вполне обоснованной самоуверенности, которую она проявляла редко, но сама ощущала непрестанно: чувство постоянного превосходства над прочими людьми вылилось в полное безразличие к их делам, исключая события ограниченного родственно-дружеского круга, к которому она всё же проявляла подобающее участие. В этот круг было сложно попасть: Драгана редко была довольна общением с кем бы то ни было, постоянно выискивая в человеке недостатки – по собственным ее словам, женщины были слишком глупы и не самодостаточны, а мужчины никогда не были готовы довольствоваться простой дружбой с подобной девушкой.

Тут-то я и подошел к главному: главному, о котором бы мне не следовало вспоминать, но тогда мои записки потеряют последнюю каплю смысла – и было бы глупо обрывать их, потому что никакого другого занятия у меня сейчас нет, разве что только тратить на выпивку последние деньги. Драгана бы одобрила подобный выбор – всяко лучше заниматься любым бестолковым делом, чем просаживать когда-то заработанные тысячи на то, что только разрушает организм. Хотя нет, сейчас я не так уверен насчет ее мнения – да, должно быть, для меня она скорее бы предпочла второе.

Естественно, тех мужчин, которые желали общения с ней, привлекал в основном не ее удивительный ум, а ее не менее потрясающая красота. Думаю, внешность Драганы была тем редким случаем совершенно классической красоты, которая не может подвергаться критике, потому что она была прекрасна объективно, и это математически просчитанное совершенство рифмовалось с ее склонностью к точным наукам. Мне бы так не хотелось повторять ее портрет еще и здесь, на бумаге – во-первых, он и так неизменно присутствует перед моим внутренним взором, а, во-вторых, все эти записи не имеют никакого отношения к литературе и я освобожден от каких бы то ни было писательских обязанностей: описания нрава героев, их внешности, даже озвучивания их имен, но нет, нет, все же во мне горит непреодолимое желание оставить здесь хотя бы малейший отпечаток ее облика. Итак: средний рост, стройная, не полная, но гладко-округлая фигура, сильные руки с прекрасными острыми пальцами, матовая и темная, почти как у отца, кожа и овальное лицо, которое действительно походило на лицо античной статуи и своим точеным великолепием, и тем, что выражение его чаще было холодным и безучастным, словно Драгана не могла пошевелить ни единым мускулом и только следила за всем внимательно черными бархатистыми глазами. Я до того хорошо помню его, что, наверное, если решусь нарисовать Драгану, вспомню точно число ресничек и каждую точку родинки посажу на нужное место. Если я закрою глаза, я знаю, что увижу ее так, будто сейчас она стоит передо мной, и тогда уже точно не смогу ничего с собой поделать, а только отброшу ручку в сторону и забуду про свои дурацкие записи: такое бывало много раз, и я знаю,

что за мимолетной эйфорией меня сразу накроет с головой стыд, который с каждым разом делается будто сильнее, окончательно омрачая единственное счастье, доступное мне сейчас, поэтому – я пишу дальше, медленно, старательно подбирая слова, подробно останавливаясь на всяком пустяке, потому что это так же, как и выпивка, помогает мне выправить свои мысли, чтобы они перестали виться вокруг одной точки, будто пчелы около улья.

Между прочим, я забыл про то, от чего недавно отступил – о том случае, когда родители ее неожиданно были вызваны в директорский кабинет. Случай, в общем-то, был едва ли не типичным: на перемене один из местных лоботрясов, конечно же, давно отметивший про себя красоту одноклассницы, наполовину в шутку, наполовину ради собственного удовольствия, со смешком шлепнул Драгану пониже спины. Вполне обыденной была реакция школьников: смех, улюлюканье, какие-то возгласы, однако сама Драгана повела себя немного иначе, чем прочие девушки в подобной ситуации, – резко развернулась и со всей силы ударила мальчишку в нос, отчего тут же по его лицу потек красный ручей, и, не давая ему опомниться, весьма метко и ощутимо пнула в коленную чашечку. Парень взвыл; нос был сломан, ноги сами подкосились, и он упал, пачкая кровью пол. Ученики сразу замолкли. В растерянности они переводили взгляд с корчившегося на полу парня на Драгану, которая, казалось бы, меньше всех была испугана этим происшествием. Она, на несколько секунд задержавшись взглядом на стонущем однокласснике, пожала плечами, будто не имела к этому никакого отношения, и отошла в сторону, доставая из сумки учебник.

Конечно же, она получила выговор, нос неудачливого шутника был сломан, и родители были вызваны немедленно. Директор посоветовал сводить к Драгану к психологу, но мать только хохотнула в ответ на это предположение, добавив, что все это совершенно нормально. Быть может, на это бы действительно никто не обратил внимания, если бы всё остальное время девушка была такой же вспыльчивой, но она впервые повела себя подобным образом – это и вправду наводило на определенные размышления, и, вернувшись домой, она как бы против своей воли вспомнила другие странности в поведении дочери: например, она никогда не слышала от Драганы, что ей нравится какой-то молодой человек или же приглянулась внешность известного музыканта или актера; кроме того, перебирая в уме любимые ее книги и киноленты, она отметила, что во всех них не делается акцент на любовной линии, или же она отсутствует вообще. Эти неприятные и непривычные размышления привели к тому, что вечером она зашла в комнату дочери без всякого повода, растерянно оглянулась вокруг (нагромождение вещей, однако очень чисто и нет беспорядка, Драгана сидит на диване и читает книгу), несколько секунд помолчала и вдруг заметила среди прочих компакт-дисков (Драгана – страстная меломанка) один с удивительно красивым молодым человеком на обложке; она взяла его в руки и спросила как можно непринужденнее:

– Ты считаешь, он красивый?

Это был, в целом, невинный вопрос, но он имел свой подтекст – и Драгана, от которой не ускользнет ни единый намек, тут же встрепенулась и ощетинилась, напоминая девушку, сломавшую сегодня нос озабоченному мальчишке:

– Со мной все в порядке, мама, но мы никогда не будем говорить на эту тему.

Это была последняя осень ее родителей. Мать, резко и безнадежно заболевшая в тот год, все больше к концу жизни думала о своем последнем странном ребенке, в котором было слишком мало от животного. Она начала думать, что Драгана, может быть, лесбиянка, но спросить не решалась. Зная, что ее средний сын ведет весьма беспорядочную половую жизнь, она почему-то испугалась той мысли, что ее дочь предпочитает женщин. Драгана догадалась об этих мыслях по тем взглядам, которые мать на улице бросала сначала на привлекательных женщин, а затем на нее, пытаясь уловить в ее глазах интерес или похоть. О том, что «вопросы пола» не занимали в определенный период и ее мужа, она будто забыла, и мысль о полной асексуальности Драганы не приходила, видимо, ей в голову. Она все собиралась сводить ее к врачу, однако не успела, умерев в один ноябрьский день, впервые за всю жизнь обеспокоенная и изнервничавшаяся.

Ближе к лету за ней последовал и отец. До последнего дня он оставался, пожалуй, лучшим другом Драганы – между ними было какое-то молчаливое понимание, любовь, не требовавшая слов. В девяностых он забросил науку и занялся предпринимательством, в чем и преуспел. У них было достаточно денег, и теперь отец, ранее человек скорее скупой, принялся тратить большие деньги на

дочь – зная ее характер, покупал во множестве пластинки, книги и фильмы, приобрел увесистый фотоаппарат, съездил с нею в Англию, Италию, Францию и Индию, в которую они теперь были влюблены вместе. Он был единственным человеком, с которым Драгана позволяла себе мечтать вслух – признак столь же серьезный, как и совместное дуракаваляние. Драгана ничего не говорила ему, но он знал, что ее не интересует то, что занимает обыкновенных девушек в ее возрасте, и никогда не считал это ненормальным; ничто не могло помешать ему, до того довольно холодному в проявлении чувств, найти в дочери последнее счастье, почти столь же глубокое, как не угасшая до последних дней любовь к жене.

В мае он умер – сбила машина. Драгана осталась одна в пустой гулкой квартире. Закончив предпоследний класс, она переехала в Москву к старшему брату, который теперь заменил ей отца – если его можно представить как друга и помощника, с которым установлено бессловесное согласие. Дома он бывал редко, но, когда по вечерам или праздникам им удавалось, наконец, остаться вместе, они понимали, как похожи, несмотря на разницу в возрасте: схожее точное, почти лишенное эмоций мышление, та же умеренность во всем и одиночество среди глупого мира. Брат тоже не интересовался ее личной жизнью, и она не задавала ему лишних вопросов, и они жили спокойной, полной участия жизнью, в которой не нужно было объяснять причину своей грусти, чтобы получить нужное тепло.

Это было трудное время, и именно брат помог Драгане пережить его. После школы она поступила на мехмат МГУ, однако почти до последнего курса по вечерам посещала занятия в Независимом Университете, находя их гораздо более полезными. Драгана верила числам больше, чем чему-либо на свете: любые законы могли меняться, даже общечеловеческие, но неизменными оставались правила математики, лишенные какого бы то ни было окраса. Числа в чистом виде, алгебра и геометрия, существующие в голове, совершенны, потому что они не привязаны ни к чему вообще, и именно этим заставляют говорить правду. Даже в физике существуют свои приближения, в физике возникают и исчезают теории, все бесконечно далекие от истины, присутствует подобное в химии; вовсе нечего говорить про науки «человеческие» вроде истории или лингвистики. Математика была для Драганы формой, в которую было облечено всё вокруг. Странно, говорила она, – в сущности, человек познает мир сразу с двух сторон: с субъективной и неточной, основанной на приближенных личных впечатлениях, – и со стороны математики, которая является самой логикой всех процессов. Ей все это казалось похожим на чтение одновременно и вопроса, и ответа к нему.

О, конечно, Драгана была превосходной студенткой. Не думаю, что у нее возникали какие бы то ни было трудности с обучением – все ее университетские проблемы были связаны с человеческими отношениями. Немногочисленные девушки, учившиеся с ней, считали ее невероятно заносчивой и высокомерной, стараясь насолить по каждому поводу, однако молодые люди, привлеченные ее невероятной красотой, подобного не замечали, и этим досаждали ей больше недоброжелательниц. Я помню, как она с раздражением говорила обо всех своих настойчивых ухажерах (самых разных – от умных красавцев до обыкновенных прыщавых первокурсников): я совсем не уверен, что они показались бы мне действительно столь мерзкими, если бы я встретился с ними сам, но Драгана своими словами заставляла меня в это верить. С точки зрения того, что можно было бы назвать «здравым смыслом», они не делали ничего плохого: никогда еще не считалось грехом чуть поухаживать за привлекательной девушкой, напротив – мужское внимание, тем более – внимание довольно интеллигентных молодых людей неизменно льстило женщине или же, по крайней мере, не казалось неприятным. Но Драгана – нет, Драгана была совсем иным случаем: она была рада видеть, что окружающие ее люди хотя бы не глупы, рада была разговорам и случайным встречам, но всё хорошее настроение сходило на нет, когда эти разговоры делались все более личными, а встречи – намеренными и длинными. Некоторые мужчины внушали ей непреодолимое отвращение с самой первой встречи, с того самого момента, когда она ловила на себе их заинтересованный взгляд; другие всё же как-то могли завоевать ее расположение, и отношения их даже порой перерастали в дружбу, но она знала, что это не продлится и года – они сорвутся, и вот знакомые сцены, повторяющиеся почти без изменений: она спокойным, уставшим голосом объясняет всё ничего не понимающему молодому человеку, он смотрит ей в глаза, и Драгана точно знает, о чем он думает (всегда оставалось два варианта: «мне же говорили!» и «ничего, постепенно это пройдет и тогда...»), либо же, в редких

случаях (такое бывало несколько раз), он пытается ее поцеловать, сам уже обезумев от близости такой красоты, и тогда Драгана ведет себя, словно ничего не изменилось со школьных времен: удар кулаком в нос или в пах коленом, она сильная, ее нельзя назвать хрупкой, крики, взаимная злость, она уходит и больше не разговаривает с ним.

Кажется, только один из всей этой череды мужчин не обманывал ее, сохранив ни к чему не обязывающую дружбу до самого конца, притом будучи способным действительно ее заинтересовать. Он учился с ней вместе и буквально жизни не мог мыслить без математики, до самого конца соответствуя стереотипам о подобных людях: свитер с оленями, толстые очки и полное отсутствие даже элементарных знаний о женщинах – именно такой собеседник при всей своей нелепости был идеальным для Драганы. Они общались редко, поскольку оба, в общем-то, были увлечены наукой сверх меры, но когда им удавалось выкроить время для разговора, неизменно получали от этого удовольствие: он не делал никаких попыток к сближению, она не подтрунивала над ним и с легкостью находила интересные темы (они никогда не разговаривали о личном, и Драгана даже не знала, где он живет). Наверное, они до самого конца жизни бы встречались иногда и сидели, на вид две совершенные противоположности, разговаривали бы о никому больше не понятных вещах и были этому рады, но такого не произошло: после нескольких лет в МГУ он уехал в Германию и потерял всякий контакт с Драганой, потому что для таких людей это было слишком – искать общения специально, когда времени едва остается на сон.

Однако в одном Драгана все же разительно отличалась от него: ее жизнь не была полностью заполнена только наукой. Я даже не берусь сказать, что было для нее главным – всё, чем только она не увлекалась, будто было равнозначно для этого удивительного создания, и среди прочих своих любимых занятий она не выделяла ни одного. Наверное, многим она казалась существом каким-то нечеловеческим, похожим на машину, но как были бы удивлены эти люди, когда бы узнали, сколькими интереснейшими вещами была заполнена жизнь Драганы; к примеру: музыка – самая разнообразная, от классических симфоний до тех малознакомых мне искусственных жанров, названия которых я запоминал с трудом, – особенно ей нравился дабстеп (так, кажется, это называется) и хардкор; далее – живопись, прежде всего – картины импрессионистов, умелые карандашные зарисовки и то, что сейчас в изобилии можно отыскать в Интернете – нарисованные при помощи компьютерных программ фантастические пейзажи с откровенно нереалистичными красками, какими-то невозможными крылатыми созданиями и прочими атрибутами параллельных вселенных, – она сама обожала рисовать такие картинки и часами просиживала над своим планшетом, который стал для этой серьезной взрослой женщины любимой игрушкой (у нее получалось здорово, просто невероятно здорово); кроме этого – кино (особенно старое, как главная ценность – Михаил Калатозов, Эйзенштейн и, как ни странно, Квентин Тарантино), книги (русская классика, XX век, фантастика), языки (про английский и сербскохорватский не стоит говорить, с отцом вместе занималась хинди, сама к концу студенческих лет почти в совершенстве выучила французский), теоретическая физика, путешествия, история – да всё, всё, что только есть в мире, о чем только мог узнать ее пытливый ум. Ее эрудиции хватило бы на трех профессоров, и день Драганы был расписан по минутам: конечно, большая часть – университет и учеба, работа (она всегда каким-то образом умудрялась сделать ее в максимально короткие сроки), но далее до самой ночи, и все выходные – множество самых увлекательных занятий, и на сон почти не остается времени; Драгана никогда не думает об этом, но я могу сказать с полной уверенностью – в этом мире, где существует еще что-то неизвестное, где всегда есть чем заняться и занять себя, даже если никто, кроме нее, не видит в этом смысла, она – счастлива, и так должно было тянуться вечно, – сказал человек, который сам же все это и разрушил.

Меня всегда поражал стиль жизни ее старшего брата – но, по сути дела, до определенного момента столь же безупречной была и ее жизнь. В двадцать лет она усиленно занимается, не оставляя себе и часу для отдыха, затем – блестящее окончание университета, далее, как несложно догадаться, отъезд из России – Англия, больше года заграницей, потом – вот, первая осечка, скандал, о причинах которого никому не было известно, она возвращается в Москву, где тут же находит новое место – высокая зарплата, даже некоторая известность, перспективы и, наконец, последнее, чего можно достичь в этом возрасте – брак по любви. Все это было действительно так, мне нечего добавить – разве только то, что о том, что произошло в Англии, я не знаю ничего, и только с полной

уверенностью могу сказать, что эта история ни коем образом не связана с личностью Драганы и некоторыми ее особенностями – нет, все было куда серьезнее, и я полагаю, что подобными вещами скорее должен заниматься ее старший брат, а не простой преподаватель истории. В Лондоне Драгане нравилось куда больше, чем в Москве, потому что она наконец-то была оставлена в полном покое: ей даже не приходилось говорить «нет», все устраивалось как-то само собой, и она была бы рада уехать из России снова, как только закончит здесь все проекты, но тут на сцене появляюсь я, и всё летит к чертям.

***

Бесчисленное множество раз я встречал в рассказах и фильмах подобные фразы: «мы встретились» (как более душевный вариант – перестановка этих двух слов) или «я познакомился с ней», и, признаться, они мне набили изрядную оскомину, но, похоже, в подобном случае и вправду не придумаешь ничего иного. Мы встретились на дне рождения у одной нашей общей знакомой – Драгана работала с ней бок о бок и называла даже своей приятельницей, а я, признаюсь честно, спал с ней довольно долгое время и был даже влюблен, а теперь сумел сохранить дружеские отношения. Это знакомство было следствием почти невозможного стечения обстоятельств: она совершенно не любила шумные компании, но в этот день приглашением не пренебрегла, мы больше не имели ни единого общего знакомого и не могли познакомиться более нигде, работали в совершенно разных сферах и вращались в разных кругах, а я умудрился приметить именно эту женщину среди прочих молодых красавиц и с упрямством барана решить, что она непременно должна быть моей.

Любовью с первого взгляда это назвать было нельзя, но красота Драганы задела меня сразу (признаю: конечно же, я испытываю большую симпатию к привлекательным женщинам). Она не показалась мне какой-то особенной, и я решил, что она ничем не отличается от прочих молодых девушек, возможно, только чуть более умна и горделива. Я понаблюдал за ней немного, отметил, что она будто бы чем-то недовольна, но пытается этого не показывать, и совершенно не пьет, большую часть времени сидит в углу и изредка перебрасывается фразами с виновницей торжества. Мне было тогда тридцать семь, а ей – около двадцати пяти, но я был преисполнен решимости, потому что уже успел выпить и к четвертому десятку еще не растерял свою самоуверенность. Она была даже частично небезосновательна: тогда я еще неплохо выглядел, хорошо одевался и считал себя достаточно образованным для того, что бы парой эффектных фраз произвести впечатление на молоденькую «девчонку». Нас познакомили, Драгана вела себя достаточно презрительно и порывалась уйти, раздраженная обилием людей вокруг. Я же тогда подумал, что поводом для ее скверного настроения послужила что-то обыкновенное женское вроде «он меня бросил», и даже попытался подвести Драгану к откровенному разговору, чем изрядно ее повеселил. Она начала подтрунивать надо мной, но я не обижался, напротив – ее штуки были небанальны и остры, что притягивало с первого разговора; глупость спасла меня – мы проболтали минут тридцать, Драгана упражнялась в остроумии, и настрой ее явно стал лучше, – но потом она же меня и подвела. Моя новая знакомая была одета строго – черные брюки, к тому же довольно широкие, похожая на мужскую белая рубашка и волосы собраны в хвост – однако даже так она выглядела чертовски привлекательно. Уже вскоре, где-то через три четверти часа после нашего знакомства она решила уйти, пробыв на празднике совсем немного, и я тут же увязался за ней, даже не попросив у хозяйки дома прощения за свой скорый уход, и, когда мы вышли на теплую московскую улицу, совершенно уже опьянев, начал нести какую-то чушь про то, как она великолепна и как редко в наше время можно встретить подобную красоту. Если бы я читал эти записи, а не сам бы создавал их, то я бы сразу догадался, что дальше произошло: короткая ссора, непонимание, Драгана уходит без прощания и неудавшийся герой-любовник в остолбенении остается стоять на тротуаре, провожая взглядом удаляющееся прекрасное создание.

Всё было именно так. Несмотря на то, что я был изрядно навеселе, всё же я не нарушал никаких правил приличия и даже не прикасался к ней, и подобная однозначная злость была мне непонятна, – тем более, что несколько минут назад эта женщина вовсю смеялась моим шуткам и не без энтузиазма поддерживала разговор. Я был уверен, что понравился ей, пускай она даже смеялась надо мной! Объяснение подобному поведению я найти не мог. Мне хотелось выбросить ее из головы – подумаешь, не получилось, я как раз приметил парочку симпатичных студенток – но все время

продолжал думать о своей странной знакомой и, протрезвев, с ужасом осознал, что я сумел за прошедший день влюбиться самым безобразнейшим образом, с первой короткой встречи, будто бы какой-то престранный волшебник взял и сменил за одну ночь мои чувства.

На следующий день я позвонил нашей общей подруге и довольно жалобным влюбленным голосом попросил рассказать побольше о той девушке с непривычным именем, с которой она успела познакомить меня вчера. В трубке раздался злорадный смех; я попросил ее говорить серьезно, но она ответила только коротким «забудь», не желая объяснять более ничего. Я спросил о характере Драганы: она перестала смеяться и кое-что рассказала, но это была достаточно сухая характеристика: умная, трудолюбивая, немного самовлюбленная и обыкновенно достаточно сдержанная, – пока что меня ничего не пугает, сказал я, продолжай. Она отнекивалась, и я начинал злиться. Слово «забудь» повторилось еще несколько раз. Наконец я спросил достаточно раздраженным тоном:

– Она что, лесбиянка?! Может быть, вы встречаетесь?

Она хмыкнула:

– О, ты далеко не первый мужчина, который задается подобным вопросом. Нет. Совершенно мимо.

– Может быть, она замужем за каким-то кавказским Отелло, который сейчас уехал в командировку и дал бедняге наконец погулять спокойно?

– Еще холоднее. Не угадал.

– Тогда что, черт тебя подери, ты можешь сказать нормально?!

Тут она наконец сдалась, напряженным тоном рассказала о главном, мрачно попыталась пошутить и почти бросила трубку.

Я был в растерянности. Я вспомнил, что после первой встречи у меня осталось послевкусие, будто бы предчувствие; в ней есть что-то уникальное или, вернее, – редкое и странное, что еще предстоит разгадать, но уже успел решить, что это лишь обманчивое впечатление от неожиданного сочетания внешности, образованности и технической профессии, а теперь... Я не знал, что и подумать; не укладывалось у меня в голове, как молодое, полное сил существо закрыло для всех путь в свою любовную жизнь. Чем она занимается целыми днями? неужели в действительности ее любопытство возбуждают только ряды цифр? Интересно, есть у нее какие-то настоящие, искренние друзья или она вовсе держится от всех в стороне? Я думал, это напугает меня, размоет ненужную пелену внезапной влюбленности, но с каждым часом я только чаще возвращался к мысли об этой удивительной женщине; сам я не заметил, как мысленно начал разбирать каждый ее мимолетный жест, каждое услышанное за короткое время слово; словно я был возвращен в романтические школьные года, ее образ, ее взгляд преследовали меня во снах. Началась поздняя, нежданная, непредсказуемая влюбленность, из милой штуки постепенно перерастающая почти что в одержимость. Мне захотелось задать ей сотню вопросов; запоздало я понял, как прекрасна, точна, литературно богата была ее речь, сколько тончайших отсылок и искуснейших намеков я успел пропустить. Невозможно было изгладить из памяти и ее экзотическую, темную и томную красоту. Пораженный ею и тем, как быстро и глупо может возникнуть чувство, я несколько дней пребывал в смешении эмоций.

В Москве, в этом гигантском муравейнике, через пару дней я встретил Драгану совершенно случайно, праздно шатаясь по городу после лекций. Стояла осень, и небо было тусклым и будто пыльным, как асфальт под нашими ногами; к обеду заметно похолодало, и она шла, кутаясь в пальто. Ее волосы растрепались, ветер спутал их, бросал пряди ей в лицо, в глаза, отчего Драгана щурилась и пыталась отвести их рукой. На ней были джинсы, неаккуратные, предназначенные для длинных комфортных прогулок ботинки, похожие на мужские, и простое коричневое пальто, слишком тонкое для такого дня. В треугольнике выреза темнела водолазка, и я сразу подумал, что ей, должно быть, холодно без шарфа. На плече Драганы висела сумка для ноутбука (впоследствии я узнал, что с этим техническим устройством она не расстается почти никогда). Налетел новый порыв ветра, она отвернулась, закрыв глаза, и подняла воротник, опустила ниже рукава, стараясь отвоевать хотя бы частичку тепла, и в этот момент ее, отстраненную, далекую от всего «земного» женщину, занимали самые естественные проблемы: было в такой ситуации что-то невыразимо трогательное, и против моей воли улыбка появилась на моем лице.

Она остановилась, чтобы поправить сумку (опущенный взгляд, я вижу, какие пушистые у нее

ресницы), и я, даже не подумав ни о чем, подошел к ней и спокойно, будто не было никакой ссоры, сказал:

– Здравствуйте.

Драгана подняла на меня взгляд, не совсем еще понимая, кто перед ней. Ее брови были чуть сведены к переносице, и между ними пролегала небольшая складка, а правый глаз закрывала непослушная прядь. Узнав меня, она с раздражением ответила:

– Здравствуйте. Как ваши дела?

– А ваши? Кажется, в Англии именно так отвечают на этот вопрос? – она уже успела немного рассказать мне о своем прошлом.

– Вы правы, – она снова не смотрела на меня, – а после сразу – «до свидания» и уходят.

– И все же, заметьте, мы с вами сейчас в России.

– Вам что-нибудь нужно? – с наигранной деланностью поинтересовалась она. – Что-нибудь хотели спросить?

– В какой-то мере да. Вы гуляете?

– Да, – ответила она и замолчала, явно не желая продолжать разговор.

– Отлично. Не разрешите ли сопровождать вас?

– Послушайте, – она снова внимательно посмотрела на меня. – Вы же уже позвонили...? – она назвала имя нашей общей подруги. Предложение вышло полуутвердительным.

– Да, – признался я, и улыбка сразу исчезла с моего лица. Почему-то до тошноты не хотелось говорить ей неправду.

– Она... она вам сказала, – снова этот тон, Драгана не совсем уверена. Я промолчал, и она все поняла. – Все, что она вам говорила – правда.

– И что?

Она расстроенно, будто в сотый раз приходилось повторять одно и тоже, бросила:

– Не будьте же так самоуверенны. Почему же все вы так убеждены, что вам удастся...

– Драгана, я ни в чем не убежден. Мне просто хочется поводить вас.

Она издала грустный смешок, и я залепетал что-то вроде:

– Простите, я, кажется, вас обидел в тот день. Если можете, извините меня, я не хотел причинять вам боль. Драгана, теперь я постараюсь...

– Что же вам нужно? – Драгана неожиданно рассмеялась, совершенно не весело. Со страхом я понял, что каждое новое слово отдаляет меня от этой женщины, будто любой шаг становится фатальной ошибкой; она даже отошла от меня, и я плотно сжал губы, выпрямился, стал серьезнее. – Послушайте, кажется, сейчас у вас нет подруги, так? По крайней мере, постоянной... И вам... Лет тридцать шесть. Все верно? В общем, вы меня простите, но давайте поговорим до конца откровенно, – тут Драгана вновь оказалась ближе, придвинула свое лицо к моему, и в ее взгляде появилось любопытство, даже какое-то озорство, что не предвещало для меня ничего хорошего. – Несмотря на ваш возраст, семья – это последнее, что вам нужно, верно? Вам нравится красивые женщины, и винить вас в этом было бы глупо. Вы не могли не заметить меня, и, поверьте, я не хвастаюсь, потому что... – она запнулась, думая, хлестнуть ли меня по лицу словами или пощадить. – К черту! – она отпрянула и заговорила громко, зная, что прохожие всё слышат. – Вы хотели бы хорошенько трахнуть меня пару раз, а, может быть, вас бы даже хватило месяца на три так называемых «отношений», но вы же слышали, что сказала наша подруга: я не интересуюсь этим, я – синий чулок, сушеная вобла, хуже того – фанатичный программист, простите за крепкие словечки. Если вас интересуют подробности, пожалуйста: я не люблю, когда ко мне прикасаются, не люблю смотреть на... да идите же вы в самом деле куда подальше, у меня нет никакой охоты продолжать. Один мой сокурсник сказал, что я фригидная галоша, и это определение весьма точно, – профессор, несмотря на то, что вы гуманитарий, я надеюсь, вам не стоит объяснять значение термина «фригидность»?

В этот момент пошел дождь. Зарядил невероятный ливень, капли были тяжелыми и крупными, и через несколько секунд мы уже промокли до нитки. Одежда прилипла к моему телу, и на лоб упала мокрая светлая прядь. Драгана поморщилась, быстро огляделась по сторонам и побежала к ближайшему магазину. Ни у одного из нас не было зонта. Я ринулся за ней, хотя тогда этот поступок казался мне безнадежной глупостью.

Это была бестолковая сувенирная лавочка, тесная и душная. Драгана стояла внутри у дверей и недовольно отвернулась, когда я прошел мимо. Подумав с минуту, она бросила:

– Зачем вы это делаете?

– Потому что мне плевать, Драгана, – ответил я честно. Я стоял в шаге от нее и подумал о том, что даже вследствие самых невероятных и счастливых совпадений этот шаг навечно останется между нами. В магазине почти никогда не было, и мы отчетливо слышали шум дождя за неплотно прикрытой дверью.

– Сколько раз в неделю вы дрочите? – следующий вопрос Драгана задала, даже не обернувшись, но нарочито громко. Пожилая парочка, стоявшая рядом, с подозрением покосилась на нее. Сделать мне больнее она уже не могла, и я готов был ответить на любой ее, даже самый унизительный вопрос.

– Когда у меня есть женщина, я, конечно, этим не занимаюсь. Но сейчас у меня временное затишье...

– Так сколько?

– В среднем выходит раза два или даже меньше.

Она цокнула языком.

– А с тех пор, как мы познакомились?

– Ох, Драгана, да вы же знаете ответ.

– Каждый день, да еще и по нескольку раз. Вам почти сорок, профессор, а вы дрочите каждый божий день. Видно, что вы по уши влюблены.

Я вздохнул.

– До какого числа я должен увеличить частоту, что бы доказать вам серьезность своих намерений? Пощадите мою руку, Драгана, мне еще в зачетках расписываться.

Неожиданно она засмеялась, заливисто и весело, даже чуть согнулась и схватилась за живот, и я сам начал посмеиваться, хотя готов был сгореть со стыда. Старики поспешно исчезли из магазина, хотя дождь все еще лил как из ведра. Отсмеявшись и прокашлявшись, Драгана покачала головой и сказала:

– Да, в чувстве юмора вам все-таки не откажешь. Но все равно...

– Вот видите, я делаю успехи.

– ...и все же это не приведет вас к желанным результатам.

– Драгана, в ваших глазах я начинаю видеться уже просто каким-то чудовищем. Мне, конечно, лестно слышать из уст женщины предположение о том, что в таком возрасте я еще настолько, кхм, «молод» в плане...

– Ну, все, хватит об этом, – ее взгляд вдруг резко похолодел, и ямочки на щеках, от которых я не мог оторвать взгляд последнюю минуту нашего разговора, беспощадно исчезли. Мне стоило заткнуться еще тридцать секунд назад, а теперь мне уже точно лучше было помолчать.

Драгана нахмурилась и бросила напряженный взгляд на улицу. На лужах появились пузыри. Она тихо чертыхнулась, задумалась на секунду, а затем неожиданно, резко открыв дверь, выбежала наружу и понеслась куда-то вперед. Я застыл, пытаясь от самого себя добиться ответа на очередное «что же мне теперь делать», но в голове было абсолютно пусто, и, конечно, я бросился за ней.

– Драгана! – окликнул я ее, пытаясь перекричать шум города и барабанную дробь падавших капель. Она, не сбавляя темпа, обернулась. Мокрые черные волосы облепили по бокам ее лицо.

– Куда же вы? – в отчаянии спросил я, пытаясь ее догнать.

– Мне надо бежать! Дела! – крикнула в ответ она и, как ни странно, улыбнулась.

– Но...

– Поеду на метро! – Драгана отвернулась, и последующие ее слова я расслышал уже с большим трудом. – Ненавижу его, но что...

Последнее я не разобрал: полагаю, это было что-то вроде «делать» или нечто похожее. Она убежала, скрылась за поворотом, на долгие недели исчезая из моей жизни.

До этого момента я все же иногда задумывался о природе незаурядного поведения Драганы – нет, вернее, я вообще думал порой о ней как о единичном, ненормальном явлении (обычно в этих случаях употребляется определение «больная», но оно всегда вызывало у меня непреодоли-

мое отвращение), а теперь, после этой непредвиденной, неожиданной встречи у меня ни осталось и тени сомнения: Драгана была полностью уравновешенным, гармоничным человеком, много более «нормальным», чем все мои остальные знакомые, которые на ее историю реагировали бы только чем-то вроде «у этой девицы не все в порядке с головой». Она умела шутить, была спокойна, может быть, эксцентрична самую капельку. Теперь, после того, как я видел ее снова, мои бледные воспоминания о непреодолимой красоте снова ожили и наполнились новыми красками, и с того дня за этим безукоризненным фасадом я сумел увидеть силу, внутреннее спокойствие, которого сложно было бы ждать даже и от мужчины, и, кроме того, то, что называется не слишком изящным словом «самодостаточность». Драгана представляла собой замкнутую на самой себе, на своем удивительном внутреннем мире женщину, что пугало и притягивало одновременно. У стороннего наблюдателя непременно бы возник вопрос – откуда ты знал все это, проведя с ней в сумме едва ли больше часа? Сам я не мог бы дать вразумительного ответа – наверное, уже тогда я умел улавливать малейшую перемену ее настроения, словно приемник, настроенный на нужную волну. Иногда я сам думаю, будто бы знал ее характер, оттого так быстро развилась нездоровая влюбленность из минутной симпатии, и каждое ее слово было как будто бы только напоминанием о давно забытой, уже случившейся истории.

С тех пор каждую впервые узнанную грань ее натуры, даже самую мелкую и незначительную в глазах других, я готов был лелеять как самую большую ценность на земле. «Господи о Боже, она не любит метро, – думал я с идиотической радостью, готовый сорваться с места и кружить по комнате сам не зная от чего. – Нет, она его ненавидит, ненавидит, да!» – это было, конечно же, то, что называется любовью, большая дурость и желание полностью угодить объекту своего поклонения, не забыв ни одного его мельчайшего желания (Драгана, до сих пор ради тебя я готов взорвать все метро мира), – но при этом (не нахожу уже для себя определений, поэтому просто – я) я не мог перестать в своих мечтах раздвигать своей прекрасной музе ноги и трахать ее, забыв обо всех клятвах, заверениях и готовности быть для нее лишь неприметной тенью.

От Драганы, от любви к ней, мне было больше не уйти – это стало ясно. Но что мне было делать? Для нее на моем лбу зиял светящийся штамп «озабоченный идиот» (а может быть, что и похуже); у нас, в сотый раз пишу я здесь, не было почти ни одного общего знакомого, и мы жили в огромной, кишащей людьми Москве, – более того, несмотря на мою ученую степень, я и вправду был чисто по-человечески глуп, неизобретателен, необаятелен – как мне было добиться встречи, располагая скудными умственными способностями и дурной славой? Нечего было вовсе говорить о том, чтобы понравиться ей, и, в общем, мне не оставалось ничего, кроме как днем вкалывать в университете, строчить статьи и работы с невиданной доселе скоростью, а вечером предаваться бесплодным мечтаниям в гордом домашнем одиночестве, которое со мной разделяли лишь старый проигрыватель с пластинками и бутылка коньяка.

***

Так прошло несколько месяцев (какая книжная фраза – Боже, у меня появляется ощущение, что я и вправду пишу нечто художественное). На Новый год друзьям все же удалось вытащить меня из пучины рефлексии и онанизма – я встретил первое января на квартире у одного из них, напившись в хлам, но впервые совершенно счастливый от звенящей пустоты в мозгу. Я ничего в точности не помню касательно самого празднования, однако первое пробуждение наступившего года было не из приятных – с головной болью, разрывавшей меня на мелкие кусочки, я очнулся в постели с какой-то незнакомой обнаженной девицей весьма юного возраста. При виде ее я поначалу пришел в ужас – нет, дело было не в самой загадочной незнакомке, а в том факте, что я, будучи по уши влюбленным в женщину такой любовью, которую не испытывал ни разу в жизни, спал с другой, другой, имени которой я даже не знал! Пытаясь не обращать внимания на невозможную боль, я в панике принялся собираться – нашел брюки, рубашку, между делом успел отпить из какой-то бутылки, чтобы хоть чуточку прийти в себя, – и уже собрался уходить, как тут моя безызвестная любовница очнулась и все разъяснилось.

Оказалось, вся наша прошлогодняя близость ограничилась тем, что я весь вечер называл ее каким-то иностранным именем вместо ее собственного, русского и привычного (трудно не дога-

даться, кем мне хотелось видеть эту случайную красавицу), под утро затащил в постель, раздел и на том уснул, по-собственнически положив ей голову на плечо, так и не посягнув на ее честь. Несмотря на то, что все, можно сказать, «обошлось», я был противен сам себе – мне казалось, что все, что произошло этой ночью, было чудовищной изменой Драгане. Я едва не плакал, когда оказался на промерзшей улице, однако через секунду холод возымел надо мной странное действие: я моментально пришел в нормальное состояние из полуистерики, которая заставляла меня яростно сжимать и разжимать кулаки, бормоча невнятные ругательства, и впервые в моей голове появилась очень простая, очевидная в данном случае мысль: жизнь Драганы и моя жизнь – две линии, которые более никогда не пересекутся, и те две встречи, которые произошли осенью по какому-то недосмотру небесной канцелярии, навсегда останутся единственными моими воспоминаниями о ней.

Эта девушка, которую я затащил в постель, так и не претворив своих желаний в жизнь, попросту не существовала для Драганы, как и я сам, все мои мысли о ней и то, как я старался оставаться ей «верным»; я был для нее не более, чем один из вереницы докучливых кавалеров (я верно угадал, что их было великое множество), и даже наши встречи, знакомство и диалог в той душной сувенирной лавке остались в ее памяти не как истории, а как впустую потраченные часы, и, главное: ей нет ровным счетом никакого дела до того, что я чувствую к ней, она не испытывает ко мне ни жалости, ни презрения, ни интереса – и я могу делать что угодно с ее образом в своем сознании – возводить ее в ранг Бога или же втаптывать в грязь, – меня нет в этом мире, мое имя – только пустой звук, и я не мог сделать ее счастливее, не мог подарить и секунды радости! Я – абсолютно бесполезное, никчемное создание!

Все это сильно напоминало измышления некоторых, решившихся призадуматься о Боге и вседозволенности: возможно, Он когда-то и вправду создал нашу прекрасную планету, но уже давно о ней забыл, и теперь нисколько не озабочен тем, что творят на ней созданные по его «образу и подобию». Ему глубоко безразлично то, что мы называем «грехом» или же «добрым деянием», потому что он не заботится о делах своих созданий – так вот, эти философствования в точности раскрывали мои отношения с Драганой, и теперь я имел: безразличного Бога (Драгану), страстного, но забытого поклонника (себя), а так же огромное множество различных возможностей, которые предлагает мир, ни одна из которых не могла быть для меня интересной.

Можно сказать, что домой я вернулся другим человеком – что ж, по крайней мере, мне удалось начать новую жизнь с первого января. До недавнего времени я справедливо полагал последующие недели худшими в своей жизни. Потеряв интерес ко всему, я даже бросил пить и почти перестал выходить из дома, теперь уже вовсе ничем не занимаясь, и только лежал весь день в спальне, наблюдая за тем, как секундная стрелка часов проходит свой неизбежный круг. Только в университете мне удавалось хоть капельку оживиться (я хоть чем-то мог быть полезен!), да и то было ложным признаком выздоровления, потому что на самом деле я оставался безучастен ко всему, что творилось в этом мире, и работал только потому, что это было времяпровождение не хуже и не лучше разлагающего безделья.

Моя любовь, словно бессмертная гидра, жила безо всякой подпитки, без встреч, с одними только мимолетными воспоминаниями. Более того, она, кажется, как болезнь, как рак, всё только развивалась и росла. Поначалу я думал, что всё это пройдет довольно скоро – право же, попросту смешно – какая-то совершенно чужая женщина, о существовании которой я не подозревал всего несколько месяцев назад, вдруг становится для меня важнее и прекраснее всего на свете. Я не делал ничего, и ничего и не происходило – я вставал с мыслью о ней, завтракал, работал, ложился спать, и с утра – всё заново. Я захотел побороть болезнь, как всякий нормальный пациент, – специально запрещал себе возвращаться к воспоминаниям о ней, работал на пределе возможностей, старался спать подольше, лишь бы только откреститься от воспаленного сознания, попытался даже закрутить нелепый роман – но не смог. Я возвращался неизменно к своей точке отправления, к нескольким благословенным минутам, словно бы они стали центром всей жизни. Становилось ясно – я неизлечим.

В середине января я встретил ту женщину – нашу общую с Драганой подругу. Мы говорили очень мало, она больше не пыталась меня уговорить. О Драгане мы не сказали и слова, хотя во время разговора между нами будто находился ее призрак, слабая тень, которой мы не могли прене-

брегать. Она заметила, в каком я состоянии, и определенно испытала ко мне жалость – это чувство, казалось бы, столь унизительное, меня нисколько не тронуло: от него не было ни противно, ни хорошо. Никакого удовлетворения или неудовольствия я не получил и от секса с ней – несомненно, она видела его как некий «акт милосердия», и мне все время чудилось, что я вижу на ее лице глубокое сострадание, что в прошлом стало бы достаточным поводом для отказа от любой связи, – но, конечно, не тогда.

У меня до сих пор сохранилось стойкое ощущение, что следующий яркий эпизод моей жизни был ни чем иным, как еще одним подобным «подарком» от давней подруги, – впрочем, ни ее, ни Драгану я никогда не расспрашивал на этот счет, так что не могу знать в точности. В зимнюю сессию, несмотря на мою флегматичность, одному первокурснику все же удалось вывести меня из себя. Ситуация была довольно неоригинальной: он ничего не учил, я отказался ставить ему оценку выше заслуженной, а речь уже заходила об отчислении, благо с другими предметами ситуация была схожая. Он грозил мне какими-то своими «связями» и прочими эфемерными вещами. Его родители действительно оказались людьми небедными, – все началось с обычных уговоров, а закончилось предложением энной суммы денег. Однако с самого первого дня, самой первой лекции я возненавидел этого слащавого папенькиного сыночка – всегда одетый по какой-то абсурдной моде, манерный, невыносимо глупый молодой человек, он являл собой олицетворение всего, чего я не могу вынести в людях: несамостоятельности, трусости и непобедимой уверенности в том, что деньги решают любые вопросы. Даже в этом окоченении всех чувств, в котором я пребывал тогда, я не мог пропустить этот случай, не придав ему никакого значения, – и наотрез отказался ставить ему приличную оценку, пока он того не заслужит, и парень ушел, что-то провизжав и истерично хлопнув дверью, а я впервые за долгое время испытал нечто, похожее на моральное удовлетворение, искренне надеясь, что в последний раз видел эсто омерзительное существо.

***

Далее произошло то, чего я меньше всего ожидал, о чем я даже не смел мечтать – событие, взорвавшее мой старый мир и вернувшее мне новый, и таким я не помнил его даже в самые счастливые минуты беззаботного детства.

В тот момент, когда я запирал аудиторию и собирался уходить из университета (включен автопилот, движения точны и бездумны), безразлично уставившись в пол, за моей спиной вдруг раздался вкрадчивый, низкий голос (великолепный, прекрасный – о, я забыл написать о нем прежде, теперь придется говорить здесь – волшебный голос, мягкий и упругий, говоривший в минуты волнения с каким-то акцентом, – черт, никогда не мог разобрать, какой он в точности, – голос моего Бога, неожиданно появившегося передо мной, как ни в чем не бывало, наивный и беспощадный), – да, это была Драгана, да, она, она.

– Профессор?

Впоследствии она часто насмешливо обращалась так ко мне.

Сейчас, вспоминая этот случай и заново его переживая, я готов скакать и прыгать от радости, – мне чудится, будто я вновь слышу это скрытно-ироничное «профессор», знакомые нотки, тон, акцент, да, все-таки она говорит немного странно – о Боже, я даже сомневаюсь, что первое ее слово было русским, – какой язык она считает родным? – дурень, я же час назад сам расписал подробно, когда и каким языками она занималась! Я влюблен в этот голос, это довершение красоты, – черт, какой на редкость бессмысленный текст, как же я рад, что никто, кроме меня, его не увидит.

Но тогда я даже не вздрогнул. Я непонимающе повернулся, медленно, думая, что всё это иллюзия и меня окликнул очередной студент. Но она стояла передо мной, такая же прекрасная, какой я ее помню. Зима была холодной, и в руках она держала длинный пуховик с небольшим меховым воротником: он был весь мокрый от растаявшего снега. Ее темные кудри, как обычно собранные в хвост, были почти сухи, а на сапогах оставалось еще немного грязного московского снега. Мне потребовалось некоторое время, чтобы выйти из оцепенения, и вместо того, чтобы хотя бы поздороваться с неожиданной гостьей, я внимательно разглядывал ее наряд, от обтягивающего плотного свитера и знакомой мне сумки до крепких сапог без каблука – интересно, подумал я в эту секунду, есть ли у нее вообще хоть одни туфли на каблуке или нет? – этот глупый вопрос я бы непременно

задал, если бы Драгана не опередила меня:

– Здравствуйте. Профессор, очнитесь же!

– М-м... – неопределенно промычал я, поднимая взгляд от сапог на разом повеселевшие глаза. – Да?

– Хм, подобного холодного приема я не ожидала, – Драгана рассмеялась, выглядя чрезвычайно беззаботно. – Вы не ждали меня, верно? Или все же не теряли надежду и верили в лучшее?

– Не знаю, – это был единственный ответ, который я был способен дать. Она удивленно вскинула брови.

– Может быть, мое положение в вашем сознании переменилось, и визит будет бесполезным?

Я не знал, что сказать, и продолжил разглядывать ее молча. В конце концов, она вздохнула и спросила:

– Как у вас с онанизмом, профессор? Все те же неконтролируемые приступы?

– Ох, Драгана, – только и сказал я. Она явно не знала, что еще сказать, впервые растерявшись: я стоял, как истукан, едва реагировал на вопросы и взгляд мой был лишен смысла и туп. Немного помолчав, она продолжила уже не так уверенно:

– Я к вам по поводу... – Драгана назвала имя того студента, который умудрился вывести меня из себя. Воспоминания об этом бездельнике несколько привели меня в чувство: я вздрогнул, потер лоб, будто только что проснувшись, и голос у меня был такой, какой обыкновенно можно услышать утром:

– Да, конечно, помню его. А в чем дело?

– Я хочу, что бы вы поставили ему тройку.

– Вот как? – я отвел взгляд, стараясь не смотреть на Драгану, потому что и чувства мои оттаяли, и теперь с ними творилось нечто невероятное. – Хорошо.

Других вариантов ответа и не было. Я мог хоть чем-то быть ей полезен! Я исполню ее желание, и она будет довольна! Господи, на подобное я не мог надеяться. Плевать мне было на эту оценку – я готов был отдать этому идиоту хоть свою квартиру, только скажи об этом Драгана. Никогда, никогда в своей жизни я не чувствовал себя таким нужным!

Сердце усиленно билось, но на вид я оставался холоден, все так же недвижимо стоя перед ней.

Драгана явно не ожидала, что я так быстро сдамся, однако только пожала плечами и несколько изумленно сказала:

– Вот и отлично. Вы уходите?

– Да... ухожу.

– Пойдемте к выходу.

Пока мы шли к дверям, в голове моей возникло и исчезло столько мыслей, сколько не побывало в ней за всю жизнь. Почему она пришла? Ее ли это просьба? Какое отношение она имеет к этому парню? Она всегда носит с собой ноутбук? Интересно, вся ее квартира завалена техникой? Почему она согласилась попросить у меня, если это – чужая просьба? Думает ли она, что безвольный и бесхребетный преподаватель? И, черт, в конце концов, есть ли у нее хоть одна пара туфель на каблуке? Вопросы не кончались, но я, словно онемев, не мог задать ни один – так мы и шли в тишине, нарушаемой только шумом шагов.

Но вот – выход, и мы на улице. Она быстро надевает пуховик и шапку – забавную шапку-ушанку крупной вязки, она смешная и очаровательно смотрится на ней. Снег прекратился, но холодно в этот день ужасно, и я поежился, жалея, что не надел свитер теплее. Мы постояли немного у университета, разглядывая заснеженную Москву, а затем Драгана спросила:

– Куда вы сейчас?

– Домой.

– Где вы живете?

Я безразлично объяснил. Мы должны были расстаться, но она вдруг улыбнулась и воскликнула:

– Слушайте! Мне же по работе нужно в соседний дом. Пойдемте вместе?

– Что? – я обернулся, думая, что неправильно расслышал, и в непонимании уставился на нее. Драгана пожала плечами и снова улыбнулась.

– Пойдемте же, проводите меня.

Я еще некоторое время смотрел на нее, пытаясь убедиться в точности, шутит она или нет, но она и не думала смеяться, только сделала шаг вперед, жестом попросив идти за ней, и я прошептал хриплым, не своим голосом:

– Пойдемте.

Самое удивительное заключается в том, что я не помню, что произошло дальше. Сколько бы я не мучил свою память, я не могу вытрясти из нее ни единой секунды этой решающей прогулки. Я знаю только, что весь путь говорил без умолку – наверное, Драгана только и успела задать парочку своих ядовитых вопросов, как вдруг один из них «зацепил» меня, и я уже не смог остановиться. Возможно, я говорил об истории и работе – все же это моя любимая тема; с той же вероятностью допускаю, что мог все это долгое время разглагольствовать о книгах, что было также одним из излюбленных моих предметов, или же о студентах, дальше, чтобы охватить предмет шире – о людях, которых встречал, да и попросту и вероятнее всего – о своей собственной жизни, обо всем, что когда-то заполняло ее, – ох, я действительно не помню эту прогулку. Не могу даже припомнить, когда начался снег и как медленно менялось выражение лица Драганы от насмешки до заинтересованности: это изрядно походило на провал в памяти или во времени: вот мы стоим возле университета, и у нее озорной, немного детский взгляд, а в следующий миг мы уже у моего дома, снова валит снег, и в ее глазах я вижу то, что не мечтал увидеть в них никогда – в них я вижу уважение, и я уверен, что не ошибаюсь. Я даже дернулся в первую секунду, будто бы вынырнув из-под воды на воздух: эта минута показалась мне лучше всех моих развратных фантазий, лучше любой сладкой сказки о двух влюбленных – мы были равны и стояли друг напротив друга, оставив в прошлом бессмысленную пикировку, шуточки и отвращение.

Мы опять стояли молча – да, что-то в этот день у нас было слишком много подобных переглядываний, – но в этот раз все было по-другому. Я не верил своим глазам и боялся спугнуть волшебство; она – готов поклясться, что она лихорадочно соображала, перебирая в уме все то, что я наговорил, высчитывала, что может выйти из этого, боялась решить, взвешивала все с идеальной точностью – решение было готово через несколько секунд.

Я затаил дыхание. На ее ресницах были снежинки. Она несмело улыбнулась.

– Спасибо, – хрипловато и непривычно тихо проговорила Драгана, – за интересную беседу. Мне сейчас нужно бежать... Мы еще увидимся, думаю.

На этом она исчезла.

Я не припомню, что бы когда-то в моей жизни происходило нечто чудесное (я имею в виду нечто действительно мистическое и необъяснимое), и ко всему подобному я всегда относился с долей ироничного скептицизма, но то, что произошло в этот день, иначе кроме как чудом назвать невозможно: остается только догадываться, какие силы в этом поучаствовали, но те минуты, что мы шли от университета до дома, говорил определенно не я. Я теперь знаю Драгану достаточно, чтобы сказать определенно: я не мог ей понравиться – это не пустое самобичевание, а вполне твердое заключение, которое в конечном итоге и подтвердилось трагической развязкой наших отношений. Наш союз был противоестественным в самом глубоком смысле этого слова, – думаю, даже если бы я вдруг воспылал страстью к тому безалаберному первокурснику и изнасиловал бы его где-нибудь в темной подворотне, это было бы нормальнее, чем то, что было между нами. Мы различны по самой своей сути – замкнутая, самоуверенная Драгана, на все имевшая свою точку зрения, – и я, слишком многое делающий напоказ, лишенный особых способностей человек; я не могу жить без людей – она их ненавидит, я ничего не понимаю в том, что связано с техникой, – она – один из лучших русских программистов; равнодушие к вопросам пола – и чрезмерное сладострастие, неугасающий интерес ко всему в мире – и лень, и далее, далее по списку, слишком много пунктов, чтобы говорить о том, что противоположности притягиваются. Нас могло свести вместе только чудо – оно произошло, и, думаю, это было худшее, что могли сделать для нас все загадочные силы вселенной.

***

С того момента, конечно, ничего уже не могло идти по-прежнему. Не знаю уж, что я успел наговорить Драгане за те полчаса, но с тех пор мое положение резко переменилось. Через неделю она вновь оказалась в университете, и мы снова прошли от ворот до моего дома: говорила в основном

она, а я все больше молчал. Драгана рассказывала мне о какой-то книге, которую я посоветовал ей прочесть, – по правде говоря, я так и не понял, о каком сочинении в точности идет речь: ее речь была быстра и тороплива, и я не поспевал за ее рассуждениями и, кроме того, был слишком счастлив, чтобы о чем-то усиленно думать. Ситуация была не слишком реалистичной, и мне всё хотелось проверить, не сон ли это; Драгана же шла, как ни в чем не бывало, будто подобная дружба (или, пожалуй, симпатия) существовала между нами всегда, – хотя всё же в ту первую, испытательную встречу наших приятельских отношений она проявляла некоторую осторожность, изредка поглядывая на меня с опаской, будто я мог неожиданно превратиться из приятного собеседника и внимательного слушателя в какого-то мерзкого типа. Я все время боялся сболтнуть лишнего и свести всё к очередной обиде, и точно так же посматривал иногда и на нее, стараясь уловить малейшее колебание настроения. И всё же я выдержал этот экзамен; мы очутились у моего подъезда, я чувствовал себя неудобно, потому что подобные встречи были мне в новинку (что будет далее? Дружба? Отношения? Ссора? Ничего? Всё же мы привыкаем к некоторой определенности в таких вопросах). Драгана, напротив, к концу повеселела и даже начала отпускать свои обычные безобидные шуточки. Ей явно было легко со мной, и в это трудно было поверить. Не совсем вменяемый от того, что она подпустила меня так близко, я спросил, когда мы сможем увидеться в следующий раз. Драгана таинственно улыбнулась и ответила:

– Всему свое время, профессор.

В тот вечер мне позвонила моя давнишняя любовница, ставшая уже для меня какой-то доброй волшебницей, и радостно сообщила, что по случаю ее невероятно удачного повышения через пару дней состоится небольшая пьянка. Я вначале помрачнел – Драгана вряд ли бы пришла ради алкоголя – и принялся лихорадочно думать, как бы ненавязчиво выведать, будет ли моя любовь на празднике, но она сразу же верно растолковала тишину в трубке: издав смешок, сказала:

– О да, Драгана будет.

И она действительно пришла: ненадолго, совсем ненадолго, но достаточно было и этого. Естественно, она не пила; это стоило мне многого, но я сам не взял в рот ни капли. Я старался, как мог, быть умен и вежлив, постоянно напоминая себе, что ведь у меня – мыслимо ли в это поверить! – докторская степень, черт ее подери. Героические мои потуги Драгана оценила и, если не учитывать хозяйку, говорила тогда только со мной, а после вечеринки – невероятная щедрость! – позволила проводить себя до дома. И дальше – дальше наступила самая правильная, нет – единственно правильная пора наших отношений.

Мы иногда встречались – снова встречи были слишком короткими, потому что она вечно была чем-то занята: час, полчаса между двумя важными занятиями Драгана позволяла себе расслабиться и отдохнуть. Каждый раз я встречал ее со счастливой улыбкой и одной тревожной мыслью: вдруг я забуду нужные слова, перейду черту, причиню ей боль, – все это напоминало какую-то азартную игру, которою я, как ни странно, неизменно выигрывал. Сколько было подобных свиданий? Я могу вспомнить и сосчитать их все, но слова уведут меня в сторону, и мне станет лень писать дальше – и потом в конце концов напьюсь, как уж повелось. Всё же, если вдуматься, этих встреч было не так уж и много, а мне казалось, что моя жизнь заполнена Драганой от начала до конца. На смену депрессии пришла необоснованная веселость: время между свиданиями летело быстро, и я был счастлив, верно, чувствуя, что наш союз находится на пике гармонии. Я нравился самому себе оттого, что мог дарить Драгане радость, и мир казался не таким уж мерзким, когда я видел ее перед собою и она улыбалась. Мне тяжело вспоминать это время, – собственно, я потому и дописываю это предложение после длительной паузы.

Дальше разговоров о чем-нибудь отвлеченном дело не заходило. Я мало знал о самой Драгане – знал, конечно, об МГУ, о ее работе, об Англии и о весьма необычной ее семье. Она редко рассказывала о своих планах и прошедшем дне. В первое время я действительно довольствовался этим: внимательно слушал ее рассказы об Индии и Европе, о фильмах, об истории (впрочем, тут я с полной уверенностью уже сам вступал в разговор – это была единственная сфера знаний, в которой мы с ней были равны, исключая, пожалуй, еще литературу), провожал иногда Драгану до дома и никогда не подходил слишком близко, помня о дистанции. Даже при всей непродолжительности наших встреч Драгана увлекала меня все больше и больше, хотя уже казалось, что дальше некуда, – какие

стандартные, штампованные слова, они раздражают взгляд, но, Боже, в которого до того я никогда не верил, ты же знаешь, что все было именно так!

У Драганы было кого любить – старший брат, родители, пускай они уже умерли, несколько достойных ее друзей, а остальное, что существует в мире, от математики до меня, было создано для ее развлечения, для наполнения жизни интересными минутами, и ни к чему из этого слишком глубоких чувств она не могла испытать – это было бы против всех законов, и не мне против этого возражать. Драгана создала себе жизнь, равной которой еще никто не проживал: все в ней было взвешено, все отмерено и закреплено, и я идеально вписался в эту картину – служил самым обыкновенным развлечением для нее, нечто вроде быстрого лекарства от одиночества и скуки, от болезней, приступы которых были коротки и исчезали слишком быстро.

Но ведь слова появились позже! Эти надуманные определения не существовали в то время, и я жил простейшими эмоциями, как животное живет инстинктами. Перечитывая предыдущую страницу, вижу, до чего глупо у меня все выходит: больше всего это напоминает какое-то идиотическое и неискреннее самобичевание, подложное раскаяние, обыкновенную лень, бездействие, слабость! Тогда, год назад, я попросту не мог думать ни о чем подобном. Может быть, я был еще глупее, но, по крайней мере, я не растрачивал свой немощный интеллект на оправдание перед самим собой, и хотя бы был честен.

Вернусь к прошлому. Для меня все шло прекрасно. Я был нужен и счастлив, ненадолго даже оставив свою настойчивость и похотливость. Драгана относилась ко мне безо всякого подозрения, будто забыв напрочь о наших самых первых разговорах, о своих прежних мыслях, хотя, при всем моем желании, невозможно было назвать то, что нас связывало, крепкой дружбой. С ее стороны это был интерес; с моей, естественно, слепое обожание, как и во всех подобных случаях, но все же отличавшееся от «обыкновенной» любви «нормальных» людей. Иногда я вовсе забывал о всяких чувствах в разговоре с ней – повторюсь в третий раз, в жизни не встречал я подобного интеллекта, работавшего столь же точно, такого ума, который, как губка воду (давно пора уже смириться с тем, что я – любитель избитых фраз), впитывал все знания и факты, позже из них составляя свои – только свои, самостоятельные, ничьи больше – теории, блестяще верные; нигде не видел такого умения быстро и точно излагать свои мысли, такой начитанности – а ведь ей не было и двадцати шести! Должно быть, если бы Драгана была мужчиной и мы действительно были бы просто приятелями, в ее присутствии я бы чувствовал обжигающий стыд, но, конечно, второго такого человека нет и не могло быть на свете – даже ее старший брат не мог равняться с Драганой: в нем слишком сильна страсть к условностям и нет этого странного и уникального отношения к миру и знаниям, нет того, за что сплетники могли бы называть его «ненормальным», нет слишком многого, что было у Драганы.

В общем, всё было относительно неплохо до ее дня рождения.

***

Я знал об этой дате и ждал ее, как в детстве ждал Нового года: было точно такое же предвкушение праздника, точно то же ожидание волшебства – мне все чудилось, что в этот день, обычный будничный день для всего остального земного шара, что-то должно было резко перемениться. Приглашения я тоже ждал до последнего. В знаковый день я, проснувшись, первым делом позвонил ей, волнуясь едва ли не больше, чем в нашу памятную случайную встречу на улице. Драгана была много веселее обычного, совершенно не равнодушна, много смеялась и говорила «спасибо», пока я высказывал все свои путаные мысли, – под конец я и сам начал хохотать над своей нескладной речью. Это было здорово, хотя я в сотый раз выставил себя идиотом. Но счастье закончилось довольно быстро. Наши разговоры и прежде были не слишком длинными, однако сегодня она сказала «до свидания» быстрее обычного и слишком резко, явно куда-то спеша. Когда разговор только-только окончился, я пребывал в искренней, наивной растерянности, как ребенок, не нашедший первого января под елкой подарков. Мысли, и до того не отличавшиеся стройностью и точностью, были неповоротливы, словно я спал, и медленно до меня доходило, что сегодня для Драганы я был лишним.

Эта дурацкая «дружба», которую я придумал, не существовала! Удивительное открытие, хочется мне сказать себе тогдашнему. О чем ты только думал, старый осел? Если бы я сам не пережил этого, я бы спросил – ты правда во все это верил? Верил, верил, как и полагается верить. Я превратил

этот ненавязчивый, даже какой-то ленивый ее интерес в любопытство совершенно иного толка. Достаточно ведь было одной улыбки, чтобы в моем сердце зажглась надежда, и Драгана была щедра на улыбки – о, она меня попросту разбаловала, довела до полного размягчения мозга! Сравнение с ребенком, с Новым годом попало в самую точку – я вел себя, будто мне было все еще пять лет, и весь мир кажется полным дружелюбия и понимания, на каждом шагу одаривая меня прекрасным и щедрым чудом.

И вот здесь я уже не мог довольствоваться тем, что зимой казалось едва ли не пределом мечтаний. С девушками я всегда был довольно настойчив, но с Драганой я обычно превращался в податливое беспозвоночное, послушным кивком головы отвечающее на любую просьбу, – теперь же, после такого «обмана чувств», я сказал себе что-то вроде: «всё, с меня хватит», явно пытаясь изобразить нечто вроде решительного мужчины-победителя. Хотя тогда это еще не было для меня решением всех проблем, в тот день я напился: пошел в какой-то дешевый и грязный бар, порядочно выпил и едва не затеял драку на ровном месте – подобного со мной не бывало уже давненько, так что наутро я очнулся больным, разбитым и, к несчастью, настроенным еще более решительно, чем вчера. Вечером я позвонил ей. Мы договорились встретиться через пару дней. Теперь я замечаю, что, когда разговор заходит о чем-то действительно важном, я вдруг перестаю плести вульгарные лингвистические узоры и перехожу к нормальному, хорошему русскому языку.

Встреча. Мы давно не виделись, и она даже рада моему появлению – впрочем, скорее это были «остатки» радости от великолепно отпразднованного дня рождения в кругу любимых людей. Если бы она хмурилась, если бы она хотя бы просто не улыбалась поминутно, стараясь постоянно обогнать меня на ходу, не задавала бы тысячу разных вопросов, не дождавшись ответа, – в общем, не вела бы себя как ребенок, что окончательно разбило в щепки мою оборону, – может быть, все и дальше бы шло по той же колее. С каждой секундой я мрачнел. Драгана поначалу ничего не замечала, продолжая это беззаботное веселье (а ведь был самый разгар лета, и она сама будто светилась от солнечного света, а жара вынудила ее одеться легче – свободная юбка до колен, майка с вырезом – хватило бы, наверное, даже и этого), но потом всё же спросила, не меняя тона:

– Что с вами сегодня, профессор?

Она думала, что я скажу: «ничего», и я сам был бы рад сказать это, но уже не мог; к собственному стыду, я готов был уже расплакаться от отчаяния, поэтому прошептал на грани слышимости, с трудом продолжая смотреть ей в глаза:

– Знаете, Драгана, мне уже тридцать семь, но в такие глупые истории я еще, кажется, не влипал.

– Вы действительно думаете, что это глупо? – спросил она, мигом перейдя к абсолютной серьезности. – Мне кажется, всё идет так, как и должно идти.

– И к чему это приведет?

Драгана пожала плечами.

– Откуда мне знать? Может быть, у вас отвалится наконец левая рука. Может быть, вы подхватите от какой-то шлюхи...

– Да понял я уже, понял, что вы считаете меня мерзким кобелем! – воскликнул я наконец, неожиданно действительно грубым тоном, затем впервые посмотрел на нее без восхищения, не чувствуя почти ничего, кроме застарелой тоски. Даже ее красота не казалась мне теперь столь же бесспорной, и уже начинали надоедать ее бесконечные хождения вокруг да около, непомерная самооценка, уверенность в том, что я могу простить все... – Я уже знаю, знаю это прекрасно! Я не столь совершенен, как вы – но что же, вам достаточно только того, чтобы я это признал? Чтобы еще один человек сказал вам, что все его «способности» рассыпаются в прах перед вашим умом? Вы довольны? Нет, правда же, я не такой идиот, что бы никогда не понять, что никогда не смогу вас трахнуть – и вы, поскольку умеете делать выводы быстрее меня, сами догадываетесь, что я потерял последнюю надежду. В моей жизни действительно много пошлого – простите меня, простите, что я вечно напоминаю вам об отвратительных вещах. Прошу простить меня и за то, что я вообще появился в вашей жизни, но и вы, Драгана – неужели и вправду думаете, что я верчусь возле вас, словно волчок, только из-за желания? Можно было бы за это время понять, что я вас люблю? – я немного помолчал и продолжил с еще большим напором. – Сказать это снова? Я люблю вас. Я люблю вашу надменность, переменчивое настроение, то, как вы играете с людьми, которые вам безразличны, то, как вы

относитесь к этому миру – будто витаете над ним, не соприкасаясь с обыкновенной реальностью ни единой точкой. Люблю, что вы такая одна на свете, и это уже не та фраза, которую каждый влюбленный говорит своей подруге – вы и вправду единственная! Я люблю ваши рассуждения, люблю то, что вы свободно знаете четыре языка, люблю, что вы так хорошо разбираетесь в технике. Нет, постойте, кажется, я не могу вас убедить... Скажите, а кого любите вы, Драгана? Своих родителей? Брата? Вы не допускаете возможности, что и другие, пускай много более приземленные существа, способны испытывать подобное? И давайте совершенно отбросим в сторону влечение – бог с ним, Драгана, это же ерунда! Так вот – что же...

– Я поняла, – неожиданно прервала меня Драгана. – Дальше.

Что сказать – ничего подобного из уст женщины я никогда не прежде не слышал! Я даже рассмеялся от того, как все это было странно и в то же время – логично для нее.

– Хорошо. Но подождите – скажите, вы верите моим словам? То есть, я имею в виду...

– Не знаю, – она снова не дослушала. Отвернувшись, Драгана смотрела в сторону, и я видел, что разговор этот неприятен ей так же, как и мне, но что самое важное – она действительно думала над тем, что сказать мне, не смеялась, не отвечала без чувств! – Мне кажется, что вы не совсем понимаете...

Она задумалась, подбирая слова.

– ...чего хочу? – подсказал я.

– Нет, не то чтобы... Просто вы не до конца разбираетесь в том, что это может означать для вас и... для меня.

– Вы по-прежнему!.. – воскликнул было я, но она тут же меня оборвала.

– Нет. Совсем нет. Мы же отбросили влечение, верно? И вы спросили моего мнения. Я считаю, что вам нужно хорошенько подумать над тем, нужно ли это вам?

Я глубоко вздохнул. Мне хотелось поскорее расправиться со всем этим, перечеркнуть историю раз и навсегда; даже Драгану мне уже не хотелось видеть, до того я устал. Она внимательно наблюдала за мной, и в глазах ее не было ничего, кроме холодности и абстрактного и невыносимого интереса к поступкам людей, очередного желания провести занятный опыт. Мне казалось, что я понимаю, к чему она клонит – уже догадываясь об окончании этого диалога, я, стараясь держаться спокойно, сказал:

– Да. Отлично. Теперь давайте договоримся раз и навсегда: вы знаете, что я ничего с собой не могу поделать, не могу прекратить искать общения с вами – хотя после этого разговора меня хватит на пару недель молчания, – но дальше ведь всё пойдет как прежде! А я не хочу, не хочу бесконечного круговорота идиотских поступков!.. Вернее – хочу, но... Черт, в общем, Драгана, вы должны пресечь все это! Никогда не поверю, если вы скажете, что не сможете найти друга лучше меня – друга умнее, интереснее, вежливее... Драгана, у меня есть к вам единственная просьба: не подпускайте меня к себе! Если буду звонить – не отвечайте, не слушайте, когда говорят обо мне, пожалуйста, если увидите меня на улице – отойдите, никогда не останавливайтесь, не говорите мне даже «здравствуйте»! И... я думаю, вы... Нет, не хочу вас задерживать больше ни на секунду. Сейчас я уйду. Уйду...

– Нет, стойте, – сказала она, не меняя тона. Я пожал плечами, тут же остановившись.

– Ну вот, Драгана. Вы же знаете, что я останусь.

– Знаете, мне хотелось бы вам сказать, что вот это взрослое поведение вам ну совершенно не идет. Я вам не верю, профессор. Вы переигрываете, – она зачем-то подошла ближе, – и это выглядит плохо. Тоже самое, что и все мои шуточки – это не мое, это просто способ заполнить несколько впустую потраченных минут чем-то хоть капельку интересным. Нет, сегодня – сегодня мне действительно весело, но это редкий, очень редкий случай, я такая оттого, что все эти дни никак не могу перестать вспоминать свой день рождения, и еще потому, что мой брат приехал надолго, потому что эта жара напоминает мне Индию, я закончила один отличный проект и вот, наверное, через несколько недель поеду к сводной сестре в Дели, в ее новый дом, увижу ее маленьких внуков – я их так люблю, вот, пожалуйста, еще несколько милых существ для вашего списка моих «любовей»... Но я отвлеклась, верно? Я счастлива. Я очень счастлива, но так редко радуюсь и веселюсь, – звучит абсурдно, но ведь это же правда! Вы, наверное, этого и не заметили, потому что с вами, как ни странно, я радуюсь чаще в тысячу раз! Вы... Знаете, из нас двоих вы – младший. Вы – ребенок, несмотря

на ваши тридцать семь, которыми вы так гордитесь, – она засмеялась, и улыбка ее была живой и искренней. – Мне действительно нравится проводить с вами время – вы делаете меня такой, какой я бываю слишком редко.

– Зачем же вы всё это говорите? – упавшим, тихим голосом прошептал я: ничего более жестокого я еще от нее не слышал. А Драгана явно не жалела о сказанном. – Может, вы отпустите меня, наконец? Отпустите, пожалуйста, – чего вам это стоит?.. А, нет, подождите – последнее предложение на прощание, хорошо? – я действительно готовился проститься с ней в эту минуту. – Я бы хотел бы пожелать вам, чтобы вам вечно было к чему стремиться, и в жизни оставалось всегда что-то неузнанное и неиспробованное, потому что, кажется, это единственное, что вам нужно. И теперь...

– Да, знаете, – сказала Драгана вдруг совершенно изменившимся (мечтательным и теплым) голосом. – Знаете... – она посмотрела в сторону и будто о чем-то глубоко задумалась, закусив нижнюю губу, – Н-да, – неожиданно она живо обернулась, и глаза ее засверкали; она заговорила очень торопливо и быстро. – Да, да, именно это я и имела в виду – я не скажу, что мне не нравится моя жизнь, но, честное слово, невозможно всю жизнь жить как в пятнадцать лет, – а особой разницы, по правде говоря, не видно. В общем, пока я не знаю, – может быть, я дура дурой, может быть, я поступлю правильно, – эта мысль мне пришла в голову совсем недавно, и я еще ничего не решила. Нужно было пригласить вас на день рождения, так бы все прояснилось куда быстрее. Я поговорю, наверное, еще с братом, – хотя нет, я заранее знаю, что он скажет, лучше ему ничего не говорить; лучше я сегодня позвоню сестре – вот сестра хорошо разбирается в таких вещах и никогда за меня просто так не волнуется. Нет, конечно же, я приму решение сама, но мне нужно с кем-то посоветоваться – с кем-то, кто разбирается в таких вещах. А то брат!.. Он же просто упрется в одно и никогда с места не сдвинется, никогда не поверит в то, что это мы с вами решили отбросить, – а я доверяю вам, к тому же, – черт, хватит заговаривать вам зубы, до свидания, профессор, скоро увидимся.

И вот тут, оборвав свою пламенную и довольно бессмысленную речь, Драгана развернулась, собираясь уходить, но остановилась, не сделав и шага, подумала и вдруг подскочила ко мне вплотную и поцеловала меня коротко и быстро в губы. Этот невинный, детский поцелуй не длился и секунды, я ничего толком не почувствовал; затем она взъерошила мои волосы и, подарив одну из самых очаровательных своих улыбок, умчалась.

Я заметил, что Драгана, даже никуда не опаздывая, любила бежать, словно ребенок, которому некуда девать энергию. До самого момента нашего расставания мне трудно было ходить с ней вместе, потому что она вечно шла быстрее.

***

Я запретил себе думать о том, что сделала Драгана. Половину дня я провел в механическом режиме: ходил, вечно на что-то натыкаясь, ставил предметы не на свои месте, не замечал, что звонит телефон, – но потом мне стало все же слишком тяжело бороться с назойливыми вопросами, все никак не оставлявшими меня в покое. Я попробовал поработать – как ни странно, это у меня получилось, и наконец-то голова была занята чем-то полезным, и я просидел над книгами до часу ночи, а затем лег в постель и моментально уснул, ни разу не вспомнив прошедшего дня. Наутро я только посмеялся над своими воспоминаниями и подумал: «боже, какой же бред иногда лезет в голову», и ничто бы не заставило бы меня поверить в реальность произошедшего. До трех часов ничто не нарушало привычного распорядка дня (я даже начинал мечтать об очередной дружеской встрече с Драганой, забыв, что хотел порвать с ней раз и навсегда), но потом, как только я вышел из университета, она позвонила мне сама.

– Да, – сказал я, не ожидания от нее ничего, кроме обыкновенных вопросов или, как максимум, – пожелания встретиться.

– Приходите ко мне сейчас, – скороговоркой выдала она. – Вы же знаете, где я живу?

– Да, – ответил я, по-прежнему не допуская мысли о том, что все вчерашнее происходило на самом деле.

Драгана бросила трубку. Не ожидая никакого подвоха, я направился к ней.

О, ей пришлось говорить долго. Очень долго. Думаю, она была на грани того, чтобы потерять всякое терпение. Я не верил. Под конец она, не выдержав, вылила мне на голову кувшин воды, будто

я был пьян, пару раз хлестнула по щекам и затем поцеловала, неумело, но очень настойчиво. Теперь я все же пришел в себя.

– Драгана, но зачем? – был первый мой разумный вопрос. Она в отчаянии хлопнула себя по лбу.

– Я же объяснила тебе уже три раза! Неужели еще повторить?

– Наверное, – неуверенно ответил я. Я очень смутно помнил всё, что она пыталась мне втолковать.

– С самого начала?

– Да.

– Всё?

– Всё.

– Отлично. Слушай, – она опустилась на стул рядом и теперь не отрывала взгляда от моих глаз, надеясь, что так я смогу запомнить хоть что-то. – У меня никогда не было отношений. Это ты знал еще до того. У меня есть и всегда были друзья, – но тоже, знаешь, не то что бы мы особенно нуждались друг в друге. Постоянно с кем-то теряла контакт, кто-то уезжал, вот, остались только двое, – я имею в виду настоящих, верных друзей. И еще брат, конечно. Но, понимаешь, все это было так не потому, что я сознательно отказывалась от отношений, а просто... мне никто не нравился до такой степени, что бы я могла к нему «прицепиться». И когда мы познакомились с тобой, я была о тебе не лучшего мнения. Потом, когда нам удалось нормально поговорить, я подумала, что неплохо было бы с тобой иногда встречаться – просто так, как и со всеми до того. Прости уж, но я не верила, что твои чувства – это что-то действительно серьезное. Я подумала: «а, это пройдет». Конечно, было немного страшно, ты мог начать ко мне приставать, но мы так хорошо общались, что я обо всем забыла. Ты говорил про ум, но это, на самом деле, не так уж важно. С тобой мне было лучше, чем с кем-либо другим. Я даже не знаю, что мне нравится в тебе, – просто с тобой я расслабляюсь, и мне становится легко думать и говорить. С другими я иногда чувствую дистанцию, и иногда начинает казаться, будто я участвую в какой-то интеллектуальной дуэли. Я говорю с ними о серьезных вещах, о точно таких же, о каких мы говорили с тобой – ну, например, той же самой истории, – и, знаешь, можно было бы поставить рядом с нами камеру и потом показать это на канале «Культура». От всего этого несет таким самолюбованием. Или ужасной сухостью. Знаешь, я сама до ужаса увлекающийся человек, но терпеть не могу всех этих «синих чулков», которые помешаны на одном предмете. Даже если это – математика. С ними можно иногда побеседовать о науке, но какие же из них друзья – и уж, тем паче, любимые? Или, другой, самый частый случай, который я ненавижу больше этого – когда всё начинает медленно скатываться к бесконечным комплиментам в мой адрес – так, как бы невзначай и очень изящно. Даже не хочу продолжать. Мои лучшие друзья – это моя семья, они вне обсуждения. Остальные просто не стоят того, чтобы о них говорить. Но сейчас не про это. Мне действительно хватало того, что было в моей жизни, – до недавнего времени. Удивительно, но все наши встречи проходили очень гладко, ты заметил? Мы как-то умудрялись даже вскользь не касаться щекотливых тем. Я могла бы долго разоряться, описывая то, как постепенно я поняла, что ни с кем больше не испытываю ничего подобного, но не хочу. Просто попытайся уложить, наконец, это в свою дурью башку.

Она сделала небольшую паузу, что бы передохнуть; я слушал, чувствую, как сердце медленно, словно старый мотор, разгоняется до невиданных темпов. Драгане было тяжело, но оба знали, что мы должны договорить до самого конца.

– Мне самой было страшно и непривычно, – продолжила она тем временем. – Обычно я позволяю себе все, но тут мне хотелось бежать от своих желаний, поджав хвост. Оказалось, что я иногда бываю жуткой трусихой. Но я точно знаю, что испытываю. Несмотря на то, что я люблю одиночество, мне ужасно хочется, что бы ты всегда был рядом. Даже если я занимаюсь своей очередной ерундой, работаю или просто сижу в интернете, – мне все равно хочется чувствовать твое присутствие. Даже не разговаривать. Знаешь, – она прокашлялась, начиная будто немного смущаться, – нужно было позвать тебя на день рождения. Но моя, кхм, семейка этого бы не поняла. Они должны были бы прежде познакомиться с тобой, узнать тебя получше, а я должна была бы убедить их, что ты не причинишь мне вреда... А я тогда еще сама ни в чем не была уверена. Можешь угадать, что сыграло решающую роль? Я долго собиралась, пыталась все просчитать, словно решала очередную

задачу... И тут ты желаешь мне бесконечного движения вперед. Вечно новой жизни. Перемены! Это настолько попало в точку, настолько ты все угадал – меня как током ударило. Моя жизнь была неизменной все эти годы. Я никогда не думала о любви свободно – точнее, о любви в моей собственной жизни, не о дружеской любви, не о любви к родителям и брату, а о любви к... ты понял. И ты собрался уходить. Я готова была сразу орать тебе «я люблю тебя, постой, давай никогда не расставаться!», но нет, все же я никогда не буду такой смелой. Вместо этого я наплела тебе что-то про сестру и «подумаю», хотя в голове у меня было что угодно, только не серьезные мысли. И еще я думала ежесекундно в панике: вдруг он меня разлюбил, вдруг он меня больше не любит... В общем... надо заканчивать. Прости меня за все то, что я творила. Я еще слишком не привыкла к тому, что должна думать о ком-то кроме себя. Надеюсь, ты не злишься. А сестре я действительно позвонила, – Драгана улыбнулась и легонько коснулась пальцами моей щеки. – И она сказала, что это все правильно. Она пожелала мне счастья.

Драгана помолчала несколько секунд, осторожно, будто я был стеклянный, провела рукою по моим скулам, а затем резко ее отдернула и спросила гораздо более строгим тоном, мрачно нахмурив брови:

– Ну, на этот раз ты все понял, идиот?

Вот так вот у нас все началось.

Тот день выдался суматошным. Я, конечно, поверил ей, но все казалось еще не до конца реальным, будто я мог в любую минуту проснуться. Мы сидели до поздней ночи и говорили так, будто не виделись год. Только говорили и больше не делали ничего, – даже не целовались, хотя против этого Драгана не имела ничего (позже мне еще придется учить ее этому), – а говорили, главное, о какой-то ерунде, над которой поминутно смеялись. Единственной серьезной темой, которой нам все же пришлось коснуться, был секс. Она сказала это сама: ничего серьезнее поцелуев между нами не будет. Это единственный запрет, который не может быть нарушен ни при каких обстоятельствах. И снова, без встречных вопросов, без моего любопытства она призналась, что никогда не испытывала и малейшего влечения и никогда не бывала в чьих-либо объятиях; затем прозвучало самое ужасное в своей искренности заявление, уродливое оттого, что оно было нужным: я был волен удовлетворять свои потребности как и когда мне заблагорассудится, не стесняясь, что связан с нею отношениями. Мне так хотелось убедить ее, что ничего подобного не случится и я останусь ей верен! Чего я только не говорил, какие клятвы не произносил; умная женщина, она знала, чего стоят подобные заверения. Но потом все снова стало хорошо и спокойно.

Когда вечером (точнее сказать, ночью) я уже собрался уходить от нее, Драгана, стоя на пороге, вдруг сказала:

– Кстати, забыла спросить – ты меня по-прежнему любишь, или я тут зря старалась?

Мы оба зашлись в диком хохоте до слез.

***

Я прекрасно могу представить, как она позже объяснялась с братом. Несмотря на то, что Драгана всегда была свободна и могла решить все проблемы самостоятельно, этот человек был для нее тем, что можно назвать «крепким тылом», готовый вести ее по этой жизни, защищая от любых горестей. Но она была девушкой более чем разумной, и потому в его помощи нуждалась крайне редко и всегда могла ненавязчиво и мягко ее отвергнуть, однако теперь это казалось невозможным. Едва ли не впервые между ними возникло подобие разногласия. Почти весь следующий день мы не виделись, потому что Драгане пришлось изрядно потрудиться, пытаясь доказать свою точку зрения и мою благонадежность. Думаю, он был на грани того, чтобы без приглашения заявиться ко мне домой и устроить допрос с пристрастием, но она сумела все же каким-то волшебным образом отговорить его от этого опрометчивого шага и выбила для меня «официальную» встречу через пару дней в его квартире, о которой я думал с большим страхом, чем о знакомстве с родителями любой другой девушки. Под вечер Драгана пришла ко мне, бледная и уставшая, опустилась рядом на диван и сказала:

– Я думаю, у нас все получится.

После мы просто сидели вместе. Ничего подобного ни с одной женщиной я не знал – я забыл о

ходе часов. Она молчала, ничем не пытаясь нарушить тишину, и хотя она была так близко, и я чувствовал тепло и ее запах, мне не хотелось даже целовать ее. Если бы мы пребывали в каком-нибудь адекватном, земном состоянии, я непременно бы удивился тому, что такая деятельная, энергичная девушка может получать удовольствие от полного бездействия и покоя, словно бы сна с открытыми глазами. Я тихонько гладил ее волосы, и она иногда проводила рукой по моей спине. На ее губах играла мягкая детская улыбка – о, боже, какой же она все-таки еще ребенок! При всей своей резкости и горделивости Драгана была много чище и невиннее любой послушной серой мышки, и главным было даже не ее физическое целомудрие, а то особое душевное состояние, которое я мог сейчас отчетливо чувствовать. Это было самое удивительное открытие моей жизни: в таком дерзком, язвительном существе обнаружить подобную любовь и нежность, выводившую нас за пределы физического. В ее любовь было сложно верить, когда Драгана говорила о ней, но сейчас это было что-то столь же явное и естественное, как небо и солнце, и даже прежняя острая радость, от которой я едва не терял сознание, перешла в одно спокойное счастье, которое вводило нас обоих в эту волшебную полудрему.

Когда мы вышли из оцепенения, Драгана рассказала, что пообещала брату не видеться со мной до моего с ним личного знакомства, и что впервые она видела его таким злым.

– Я не могла ему не обещать. Прости, нам, наверное, действительно лучше не встречаться эти дни.

Это показалось мне довольно забавным; усмехнувшись, я сказал:

– Что же, он меня убьет, если я ему не понравлюсь?

Она пожала плечами:

– Ну, убить-то не убьет, а так... кто знает.

– А скажи-ка: если я ему решительно не понравлюсь, ты меня бросишь?

– Нет, конечно, дурак, – она рассмеялась и вскочила с дивана, окончательно пробуждаясь от нашего сна. – Ты думал, я во всем его слушаюсь? Я не слушаюсь никого, но иногда – редко, очень редко, а это как раз такой случай, – приходится идти на уступки – даже если ничего нельзя будет потом проверить, лучше я... Слушай, дай мне попить, пожалуйста. У тебя есть что-нибудь холодное?

Следующие несколько дней мы и вправду не виделись. Но ничто уже не могло изменить моего состояния: думаю, даже если бы я точно знал, что мы никогда больше не увидимся, я все равно превратился в клинического идиота, который не слышал, когда с ним здоровались на улице и норовил поставить книги в холодильник. Это было удивительно. Драгана была счастлива и влюблена в меня! Я был ей приятен, да, боже мой, это какое-то глупое определение, – она была в меня влюблена и хотела, что бы я всегда был рядом. Что-то невероятно! Подобное не должно было произойти. Резкое развитие отношений напоминало события фильма. Неужели она и вправду давно думала над этим? Я готов был поклясться, что до самых недавних пор ее отношение ко мне было неизменным; прокручивая в голове события последних месяцев, я решительно не мог увидеть ни единой зацепки, ни одного слово, которое бы выдало ее привязанность. Может быть, подумал я, вздрогнув, это обман? Я в те дни был эмоционален, как школьница. Господи, какая глупость. Зная всю нелепость этой мысли, я все равно постоянно к ней возвращался; впрочем, предположения сменяли друг друга с невиданной быстротой, и их было бесчисленное количество, и сам я то готов был прыгать от радости, то впадал в панику. Оставалось неизменным только одно: в мире больше не существовало никого, кроме нас двоих. Драгана была постоянно со мною, и я не расставался с ней ни на секунду: что бы ни случилось, мы не должны были разлучиться никогда, если бы только это неповторимое чувство не покинуло кого-то из нас, – но в те дни это казалось столь же невероятным, как допущение, что Земля – плоская, и я сам знал, что все предположения об обмане и лжи – бред сходящего с ума. Как бы неправдоподобно это не звучало, она действительно любила и была счастлива.

В эти два дня мы только и делали, что говорили по телефону (маленькая лазейка – звонки не были запрещены), – все время, пока было можно, пока она не работала, и я не был занят. Я постоянно спрашивал ее, точно ли она любит; ее это доставало, она обзывала меня «бараном» и бросала трубку, но через четверть часа звонила снова, чтобы продолжить разговор, словно ни в чем не бывало: думаю, ей самой немного нравились эти бесконечные заверения в преданности, как бы грубо она потом меня не называла. Я признался, что раньше никогда не мог найти темы для телефонного разговора; она отвечала, что вообще больше привыкла к скайпу и электронным письмам.

– Честно говоря, я смутно представляю себе, что такое скайп.

Она была сражена наповал моим невежеством. Пару раз пораженно переспросив: «ты серьезно?», она воскликнула:

– Безграмотный ты лопух, что же ты раньше молчал?! Мне срочно надо заняться твоим образованием!

Но вот настал «оценочный» день, как я успел его окрестить про себя. Мы должны были предстать перед строгим взглядом ее брата.

Мы встретились у подъезда. Драгана была одета очень строго и аккуратно, и эта одежда напоминала о прошлой жизни, в которой мы были только хорошими знакомыми. Совершенно не соответствовала этому официозу озорная улыбка и ее взгляд, который заставил меня улыбнуться в ответ. Мы оба выглядели как-то нелепо. Это напоминало знакомство с родителями в шестнадцать лет, когда любая мысль о чем-то серьезном кажется смешной. Несколько секунд мы молчали, явно ожидая от другого первого слова, только эта тишина была не неприятной заминкой, а скорее походило на игру, правила которой мы усвоили без слов. Поразительно, как иногда совпадали наши настроения. Наконец, я сказал:

– Я всегда проходил мимо этого дома и молча завидовал.

Мы были в самом центре Москвы.

– Он очень подходит для подобных знакомств, – со смешком ответила Драгана. – Есть в нем что-то чопорное, согласись.

– О, совсем немного.

– Да, только чуть-чуть.

– Драгана, какого черта мы вообще это делаем? Почему ты не приходила ко мне в эти дни? – я подошел ближе и навис над ней, благо разница в росте у нас была значительная. – Тебе не кажется, что подобные смотрины подозрительно похожи на маразм?

– Пошли?

– Пошли.

Я схватил ее за руку, и мы понеслись прочь от этого великолепного дома.

Казалось, что в моем возрасте подобных свиданий уже не бывает. Поначалу мы долго ходили, останавливаясь у магазинов, осматривали витрины, словно нищие, беззастенчиво громко обсуждали прохожих, сидели на детских площадках; мы зашли в какой-то дешевый кафетерий и съели ужасно вкусное мороженое (никакого алкоголя, никаких ресторанов), пошли в кино на какой-то безмозглый фильм и хохотали над ним до упаду, а, главное, – болтали, болтали все это время без умолку. Трудно было вспомнить, о чем в точности шел разговор, но это имело значение только тогда. Ни в одном из произнесенных слов не было никакой нужды и цели; мы изъяснялись не самыми изящными выражениями и позволяли себе все – говорили несусветные глупости, обсуждали то, что плохо знаем и подкалывали ненароком друг друга по всякому поводу. Слова «любовь», «секс» и прочие подобные не задевали нас, и ничто не могло заставить вспомнить о важном; мы смеялись над ее братом (сейчас уже не верится, что она позволяла мне даже это), над тем, как она слушалась его эти несколько дней, над своими страхами и ошибками. Было слишком поздно, слишком темно, но и речи не шло о возвращении домой; день превращался в вечер, вечер – в ночь. Закрылось метро. Центр был залит электрическим светом. Драгана хотела рассказать мне о созвездиях, но я предложил придумать свои. Это напоминало то, как дети пытаются увидеть в проплывающих по небу облаках очертания знакомых предметов, а еще – один известнейший фильм, который она обожала. Естественно, Драгана вновь оказалась много изобретательнее меня.

– Ты слишком умная.

– А ты слишком сильно деградировал, что бы я могла позволить тебе быть одному.

И все же потом мне пришлось встретиться с ее братом. На следующее утро он устроил Драгане невиданный скандал, но на сей раз она была попросту возмущена подобным настойчивым вторжением, позволительным лишь по отношению к малым детям, и впервые поссорилась с ним едва ли не до разрыва отношений. Странно, но эта беспрецедентная ссора не мешала ей быть счастливой, однако долго это, конечно, не могло продолжаться: через пару дней они благополучно помирились и решили устроить нам встречу – на сей раз, слава богу, обставленную менее идиотским образом.

Если мне не изменяет память, я уже писал о ее брате выше, и первое впечатление о нем немногим отличалось от позже составленного мнения. Он был одет безупречно, дорого, не вызывающе и не скромно, и вел себя порою слишком сухо: по правде говоря, весь этот лоск выглядел немного забавно, и мне все хотелось сказать ему какую-то колкость, но я знал, конечно, что делать этого нельзя. Все прошло благополучно: я был благодарен ему за то, что он не касался щекотливых тем и не требовал справку о моей «благонадежности», а так же за то, что он примирился с Драганой, которая теперь сияла от счастья. Не скажу, что с ним было скучно, – он был почти так же умен, как и его сестра (между прочим, они удивительно похожи внешне – настолько, насколько могут быть похожи родственники разного пола), умел подбирать темы для разговора и всегда оставался безупречно корректен: сразу становилось понятно, что помогло ему добиться успеха в карьере, однако поначалу я никак не мог взять в толк, отчего он так близок Драгане. Она казалось слишком живой и пристрастной для него; это уже позже я заметил, что они понимают друг друга с полуслова, умеют молчать вместе и что только, пожалуй, ей удается добиться от него по-настоящему искренней улыбки. Ему совершенно не подходила его жена; конечно, она была красива, смеялась, когда было нужно, была учтива и добродушна, но всегда умолкала, когда разговор становился слишком сложным, и была будто тенью своего супруга, оттеняя своим внешним великолепием блеск его жизни. Уже после этого ужина я спросил Драгану:

– Почему такой человек, как твой брат, женился на этой болонке?

Она немного помолчала, и я понял, что она вполне согласна с этим определением.

– Во-первых, я плохо разбираюсь в подобных вещах, во-вторых... были свои причины.

Не могу представить, что за причины могли толкнуть такого умного и успешного мужчину на этот мезальянс; я был с разными женщинами: глупыми, некрасивыми, женщинами с дурным характерами (с этими даже чаще, чем со всеми прочими), но никогда бы не вынес подобной статистки, которая была не глупа, но, боже, походила на прозрачный стакан, в который можно налить что угодно. Драгана старалась относиться к ней с пониманием, но иногда ненароком в ее тоне возникали нотки раздражения или жалости; впрочем, разговаривали почти только мы трое, и моя новая знакомая не успела нам слишком досадить.

Однако в остальном вечер оказался удачным: мы неплохо поговорили, посмеялись, я попытался изобразить из себя человека культурного – признаться, блеснуть умом рядом с Драганой было трудной задачей, – и, кажется, был определен как заслуживающий доверия. Теперь абсолютно всё в нашей жизни было устроено.

***

Мы виделись каждый день. Эти встречи бывали разными: иногда казалось, что ничего не менялось с поры нашей дружбы, и мы ходили вместе, бесконечно споря и разговаривая; узнав о моем поразительном техническом невежестве, Драгана вызвалась ликвидировать пробелы в моем образовании – рассказывала о компьютерах, нужных программах, о том, что люди часами могут делать в Интернете (признаться честно, этого я до конца так и не понял), а позже, когда «теоретический минимум» был пройден, перешла к математике и физике, читала мне своеобразные «лекции» о точных науках, из которых я почти ничего не понимал, чем изрядно выводил ее из себя. В другой раз мы могли не произносить ни слова весь вечер, – тогда, чаще всего, мы сидели дома, рядом, иногда слушали музыку или проваливались в ту волшебную и счастливую дрему, когда-то так меня поразившую. Порой у нас случалось что-то похожее на ту прогулку, которой мы заменили знакомство с ее братом: немного уже непривычное для моего возраста веселье, глупые шутки и слишком долгие пешие прогулки. Мы любили все без исключения эти дни – их разнообразие делало проведенное вместе время еще ценнее, и я не знаю, что мне нравились больше: я любил слушать ее голос, любил, когда она говорила умные вещи, но мне так же сильно нравилось, когда она молчит, смеется или несет какую-то чушь.

Мы часто целовались. До этого казалось, что она недолюбливала прикосновения, но теперь я точно знал, что это не так – мы всегда ходили, взявшись за руки, обнимались, и я гладил ее по волосам и спине. Она была очень ласковой и неопытной. Мне нравилось, что я могу хоть чему-то ее научить. Но я мог увлечься, слишком увлечься, особенно, если мы были одни, – и тогда гармония

наших отношений оказывалась разрушена. Когда подобное произошло впервые, мы сидели у Драганы дома, я обнимал ее, почти повалив на диван. Со мной творилось что-то невероятное; я думал, что после этого с моей жизнью уже можно делать все, что угодно. От нее исходило тепло и слабый и особенный запах, и мне хотелось расцеловать ее всю, от макушки до пяток. Я совершенно потерял голову и поплатился за это.

– Стой, – сказала Драгана, резко отстранившись. Я непонимающим и затуманенным взглядом смотрел на нее, силясь понять, что происходит. Она замерла и замолчала. Я не смог вспомнить, что́ идет не так, а потом вновь потянулся к ней, но тут она неожиданно дала мне пощечину – несильную, но от нее я очнулся. И, Господи, все вспомнил.

– О, черт, Драгана, прости меня, – хриплым от желания голосом пробормотал я.

– Отойди, пожалуйста, – она подняла в воздух ладонь, будто в попытке защититься. Она пыталась выглядеть спокойно, но я видела, что она испугана и не знает, что делать.

– Боже... Боже, Драгана, – кажется, я даже залился краской от стыда.

– Просто отойди, ладно? – явственно чувствовалось, что ей отвратительно все происходящее. Я отвел взгляд, пролепетал какое-то несвязное прощание и ушел, нелепо споткнувшись обо что-то в коридоре.

Это повторилось раза четыре за два последующих месяца. Я делал все, что мог, но иногда был бессилен. Мы не говорили об этом, и Драгана предпочитала забывать обо всем плохом на следующий день. Все эти два месяца я держался и был только с ней.

Потом я не выдержал и пошел к своей бывшей любовнице – не хотелось бы говорить о ней ничего плохого, но она была настоящей нимфоманкой и готова была спать с любым, кто ей предложит. У меня было такое чувство, будто меня с мороза бросили в костер. Я настолько отвык от подобной вседозволенности, погрузившись в свою любовь, что был едва ли не в растерянности и действовал механически, будто мне ничего не хотелось. Она был неутомима, но я вскоре ушел от нее; я не знал, как оценить свой поступок, не знал, стоит ли говорить об этом ей и что будет с нами потом – я был в ступоре. Мне казалось, что я перешел какую-то черту, после которой невозможно вернуть прошлое – право, это звучит банально до зубного скрежета, но этот поступок настолько выбивался из череды любовных признаний и невинных разговоров, что я не нахожу другого сравнения. Это было нормальным, разрешенным действом, или я совершил ужасное предательство? Неужели и дальше все будет продолжаться в подобном духе? Я не знал даже, могу ли я теперь говорить ей о любви.

Тогда я действительно подумывал о том, что бы больше никогда не возвращаться к ней. Следующим утром мы должны были свидеться, но я сказал, что мне надо подумать в одиночестве. Полдня я шатался по Москве, словно бесполезная бумажка, переносимая ветром с места на место, а вечером пришел к ней домой – совершенно вымотанный, неопрятный, плохо выбритый, – и сказал:

– Выходи за меня замуж, а, Драгана? И переезжай ко мне.

Как ни странно, она согласилась.

***

Неделя перед свадьбой была одной из самых лучших. Драгана напоминала самую обыкновенную девушку. Мы вместе ходили по магазинам, и это было здорово и совершенно не скучно. Мы покупали какую-то ерунду, одежду, подарки друг другу: Драгана, увидев мой полуживой нетбук, еще сильнее разочаровалась в будущем супруге и тут же побежала за новым компьютером. Конечно, речи не могло быть о каких-то традиционных свадебных нарядах, и потому мы просто купили новую одежду. Драгана активно подбирала мне рубашку и джинсы, иногда давала мне надеть что-то нелепое и плохо сшитое, только чтобы посмеяться. Я удивился тому, как внимательно подбирала она платье для себя, – мне все казалось, что подобные вещи она должна покупать быстро, едва обращая внимания на красоту. В итоге она остановилась на нарочито простом платье медного цвета и каких-то невероятных колготках с ярким цветочным рисунком. Когда она понесла это на кассу, я не выдержал и все же сказал:

– Не думал, что ты выберешь что-то подобное.

– Потому что это не в моем стиле? – она быстро обернулась и хмыкнула. – А помнишь, что я тебе когда-то говорила? Я стараюсь ни в чем себе не отказывать. И если мне хочется купить яркое

шмотье, я его покупаю.

– Для тебя это действительно что-то значит?

– Шмотки? Нет, ничего.

– Но тебе бы было приятно, если бы мы оба были хорошо одеты в этот день, да?

– На самом деле, я люблю красивых людей. И людей, красиво одетых, – она вздохнула. – То, что меня ни к кому не влечет, не значит, что я не умею ценить внешние качества.

Она рассказала мне, что иногда, если ее мысли не заняты каким-то одним предметом, она наблюдает за прохожими, пассажирами в метро, мужчинами и женщинами за соседним столиком в кафе. Ей нравились красивые люди, прежде всего те, во внешности которых было что-то уникальное: она смотрела на них, как смотрят на картины в музее, не желая ни подойти ближе, ни познакомится – они были для нее как бы частью неодушевленного мира. Драгану не занимали их разговоры и характеры, но ее внимание приковывала внешняя оболочка, – было странно узнать это после того, как она обычно отзывалась о тех, с кем ей приходилось общаться. Оказалось, что она любит яркие татуировки и интересные прически. Я никогда не видел в ее гардеробе чего-то, выходящего за грань приятной современной классики, тем более, она не собиралась делать татуировку или прокалывать язык; мне стало интересно, что она думает о собственной красоте. Этот вопрос оказался ей неприятен; даже немного скривившись, она ответила:

– Ну, это уж слишком банально. Но, ладно... когда я вижу свое отражение, я не думаю ни о чем. То есть, мне как-то все равно. Я слишком привыкла к самой себе. Я... ну, вроде как фон, который не отвлекает. Именно поэтому я одеваюсь неброско. Я хочу видеть красоту прежде всего вокруг себя, мне лениво вертеться долго возле зеркала, лениво продумывать свой внешний вид... – она умолкла, задумавшись, будто не совсем закончив фразу. Наверное, она все же не до самого конца разбиралась в этом вопросе, просто потому, что у нее не оставалась времени для раздумий над подобной ерундой.

– Ясно, – глупо подытожил я, рассеянно блуждая взглядом по интерьеру очередного магазина.

– А ты? – вдруг резко повернулась ко мне Драгана – боже, какое знакомое выражение! Эти движения навеки останутся со мной: поворот головы, быстро вспыхнувший взгляд, детская полуухмылка. – Ты-то сам что думаешь о своей внешности?

Меня удивил этот вопрос. В ее глазах было любопытство и какая-то легкая ирония. На некоторое время я задумался, пытаясь даже не понять, а вспомнить, что я могу думать о самом себе (за время, проведенное с Драганой, я от этого, право, отвык), а затем с некоторым стыдом понял, что когда-то давно, когда мог еще раздумывать о подобных вещах, я, взрослый самодостаточный мужчина, явно уделял своему внешнему виду больше внимания, чем она – привлекательная и молодая женщина. Она уже знала все ответы, и ухмылка стала окончательно ироничной.

Мне было неловко.

– Знаешь, – я будто бы в задумчивости почесал лоб. – Наверное... – к черту! Я отвечал быстро, стараясь скрыть смущение. – Да, ты уже все угадала. Себя-то я считал когда-то достаточно привлекательным всегда. Как-то не приходилось мне страдать... неуверенностью, – я пожал плечами, под ее взглядом начиная испытывать глупый стыд, словно признаваясь в каком-то мелком грешке. Я вспомнил, как мне завидовали в школьные годы прыщавые одноклассники. В меня до сих пор влюбляются женщины в два раза моложе, студентки и случайные знакомые. Они называют меня красивым. Они фотографировали меня на свои полупрофессиональные фотоаппараты, и от этого мне не бывало неуютно и стыдно, как сейчас. Драгана некоторое время наблюдала за моим выражением, а я с опаской ждал ее последующих слов. Наконец она разочарованно покачала головой:

– Послушай, ну неужели ты думаешь, что из-за этой ерунды что-то может измениться? Господи, иногда ты бываешь таким бараном. Ну что ты на меня так смотришь, а? – она засмеялась и обняла меня, и от ее тепла мне стало лучше. – Ты и вправду очень красивый, – прошептала она, уткнувшись в мое плечо. – Расслабься, это такая глупость. В конце концов, уверенность в себе – это всегда хорошо, – она снова хмыкнула. Какими-то деревянными движениями я приобнял ее. В самом деле, это было малозначащее несоответствие – рядом со всем остальным, что разделяло нас. Боже, думал я. Боже. Даже если я изменюсь до неузнаваемости ради нее, в моем прошлом навсегда останется сотня осколков мелких прегрешений, о которых невозможно говорить на полном серьезе – и, господи, как они будут саднить, словно мелкие ранки по всей коже.

***

На свадьбе было мало гостей. Мне было как-то неудобно звать слишком много своих друзей – не то, чтобы они были неприятны или вульгарны, но все же самому мне они слишком сильно напоминали о том, что я творил в своей жизни, о том, что составляло пропасть между мной и Драганой; она же, конечно, не хотела видеть никого, кроме самых близких. Мы уже давно жили вместе, она любила меня, но это не помешало мне почти потерять рассудок в этот день. Она разбудила меня рано утром, забравшись ко мне в кровать, что-то тараторя без умолку, а мне уже стало в буквальном смысле физически плохо от счастья. Я чувствовал, как по каждой крохотной венке несется с бешеной скоростью разгоряченная кровь, мысли путались, в голове пульсировала беспричинная боль. Мир расплывался перед глазами. Драгана постоянно улыбалась, трогала меня, смеялась, торопила. Она почти стащила меня с кровати, я несильно ударился о пол.

– Ну, не будь же таким вялым! – воскликнула Драгана, помогая мне подняться. – Что с тобой? Горюешь о вольной жизни? Жалеешь? Никогда не поздно отказаться. Ну же, пошли, пошли, быстрее.

Мне тогда очень хотелось остановиться, попытаться объяснить ей, как я люблю ее, рассказать, как много для меня значит сегодняшний день, но неуправляемый поток ее энергии нес меня вперед, не позволяя останавливаться. Не могу сказать, что она была «особенно прекрасна» в этот день – надо же, я преодолел хотя бы один веками испытанный штамп, – по-моему, она вся, от макушки до пяток, начиная от глубоких черт характера и заканчивая внешним видом, оставалась все той же каждый день, но почему же, почему же тогда именно в этот день, который ничего, по сути, не менял в наших отношениях, я был на грани достижимого счастья? Ответ мог быть только в том, что она сама была счастлива. Думаю, Драгана все же не до конца верно оценивала свое отношение к официальным и «торжественным» случаям – бессознательную симпатию к ним она все же незаметно для себя самой успела перенять от старшего брата. Хотя все лучшее между нами уже свершилось, и дурацкий штамп в паспорте никак не мог повлиять на наш мир, это событие, о котором с раннего детства мечтают девочки, – глупые девочки, вырастающие в простеньких пустышек, некрасивые, привычные, неинтересные, непохожие на нее девочки, – так вот, это было всё же для нее чем-то большим, чем приятный пустяк. Обыкновенность в Драгане? Я не думал говорить ей об этом, но сам не заметил, как проболтался – кажется, я совершенно не мог управлять собой. Драгана только посмеялась и спросила, не разлюблю ли я ее, открыв в ней подобные посредственные черты. Я с упрямством барана повторил свой самый частый вопрос – какого черта ты любишь меня, меня, одного из тысяч кретинов, гуляющих по Москве, – и вместо ответа получил только подзатыльник.

Мои записки слащавы, как мысли восьмиклассницы. Я превратился в сентиментального слюнявого дурака. Бывают мастера, с ловкостью акробата балансирующие на грани приторно-сахарных словесных экзерсисов и грубой реальности; они облекают жестокость в прозрачную карамельную оболочку, умеют в нужном моменте приправить нежность ядом и резко обрывают надежды одним-единственным полунамеком; книги без жала реальности – ничто. Дальше, дальше, через несколько десятков страниц моя мечтательность разлетится в щепки, прекрасная романтика обнажит свое истинное лицо, словно уродливая старуха откинет широкий капюшон с лица, я закончу свой смертный приговор, но пока то, что разливается в этих строках – только идиотическая мечтательность, почти невозможная для мужчины. Что мне ответить? Я не обязан писать эти записки. Не обязан делать их правдивыми, но зачем-то я описываю всё именно так, как оно происходило – или, вернее, так, как я видел это. Я обязательно закончу свой рассказ, рассказ без цели и, признаться честно, рассказ далеко не высшего литературного качества. Обидно лишь то, что выходит у меня что-то несуразно сладкое, слишком «любовное», словно у девочки, – право, я не знал, что я способен на подобное. Впрочем, это такая ерунда рядом со всем, что я сделал. Хм, возможно, теперь мне можно простить даже случайные орфографические ошибки.

Итак, гостей было мало. Четверо моих друзей. Ее старший брат с женой, оба выхолощенные, похожие на героев кинофильма. Еще трое друзей невесты. «Когда невеста – вдовица, а жених – вдовец; когда она прожила в “нашем славном городке” меньше двух лет, он – не больше месяца; когда мосье ждет не дождется, чтобы кончилась глупая канитель, а мадам уступает ему со снисходительной улыбкой; тогда свадьба обыкновенно бывает довольно “скромная”» – мы не отвечали

ни одному из этих тезисов, но и наше торжество не отличалось пышностью. Какого черта мне вдруг вспомнилась эта совершенно неподходящая фраза, интересно мне было бы узнать у самого себя? Было ли в отношениях незабвенной литературной пары Долорес Гейз и ее «папочки» что-то схожее с нашими? Не оттого ли я вспомнил эту книгу, что точно так же ворвался в полудетский мир Драганы своей порочной пошлостью, как Гумберт окончательно разрушил эту глупенькую американскую девочку, – изуродовал, подчинил, подавил?

Тогда мне и в голову не приходили подобные мысли. У нее был букет полевых цветов. Я шел неуверенным шагами, боясь упасть. Драгана впервые надела обувь с каблуком – коричневые остроносые туфельки, немного похожие на жеманные мужские ботинки. Все прошло идеально, наша маленькая церемония, о которой нечего рассказать, не была нарушена ни единой нелепостью. Мои друзья провожали невесту вполне предсказуемыми взглядами. Позже я выслушал много завистливых слов, каких-то фразочек вроде «ну, отхватил» или «она в сто раз лучше, чем на фотографии, дружище». Я был очень рассеян, постоянно смотрел на нее, хотел вечно что-то сказать, но не мог, потому что слова путались еще в моей голове: каждый раз, когда я начинал опять нести какие-то любовные нелепости, она смеялась и целовала меня в губы, чтобы я замолчал. Я был неопасен в этот день, снова превратившись в былого безмолвного обожателя.

Иногда я поглядывал на ее брата. Я не уставал поражаться его внешнему шику и лоску, его отточенным манерам и, главное, тому, как с ними он умудрялся смотреться естественно даже в самой непринужденной компании, – по правде говоря, безупречное соблюдение этикета само по себе не так затруднительно, как это редкостное умение. Он выглядел добродушным, улыбался, пожимал руки моим друзьям и иногда некрепко приобнимал сестру; он рассказал несколько простеньких занимательных историй и выпил пару бокалов шампанского. Все было спокойно, но мне все казалось, что он непременно в конце торжества отведет меня в сторонку, и тогда я, счастливый новоиспеченный жених, могу ждать совершенно чего угодно: легких намеков, от сути которых можно похолодеть, прямых угроз, будто безобидных напоминаний о сути «нашей маленькой девочки» – словом, всего того, что должно предостеречь меня от разнообразных неосторожных действий; однако, как это ни удивительно, ничего так и не произошло. Ни одного предостерегающего взгляда не было брошено в мою сторону; я был удивлен, мне даже самому захотелось поговорить с этим человеком, но каждый раз он как-то ускользал от меня, и наедине мы так и не остались, – впрочем, это было и к лучшему, потому что я едва ли представлял, что могу ему сказать. Да и не так это было важно – главное, главное, не стоило забывать про главное – это был все-таки не самый обычный день.

Возвращаясь к теме Набокова, надо признать, литературный герой оставался более честен, нежели я. В Лолите уже восходил росток порока, ее кровь была отравлена интересными детскими играми, в то время как Драгана оставалась чиста и шла на гибель с завязанными глазами, ничего даже не получая взамен за свое падение, – даже самого простого звонкого цента, всегда теплевшего в кармане у маленькой Ло.

***

Мы приехали домой, когда уже совсем стемнело. То болезненное счастье, от которого я почти страдал на празднике, будто бы совсем улетучилось. Она хмурилась. В молчании мы вошли в квартиру, разулись; я потянулся, Драгана у зеркала провела расческой по волосам; наступил самый неловкий момент. Это должно было назваться первой брачной ночью? И что же полагается делать нам в этой ситуации? Я застыл в прихожей, не зная, куда смотреть. Драгана, думал я, ты умнее меня во сто крат, соверши для меня всего одно чудо – реши эту задачу, вновь недоступную моему уму и опыту. Она оглянулась на меня (я старался не замечать испуг в ее взгляде), отвернулась, прошла вглубь квартиры.

Мы спали в разных комнатах. Ее новая спальня была уже завалена разнообразной техникой: по полу змеями тянулись провода, в углу ждала своего часа пара системных блоков; устройства непонятного мне назначения лежали повсюду – разобранные, целые, старые и новые, – я всегда шагал осторожно, боясь наступить на очередную мелкую, но крайне важную деталь. Ее спальня – ее пространство, там я бессилен, не знаю, куда себя деть среди этих странных машин. Она, конечно же, пошла туда. Раздались какие-то шорохи; пару минут помявшись, я направился к ней. Уже переодев-

шись в домашнюю одежду, она сидела на полу и разбирала содержимое какой-то коробки. Домашняя одежда, переодевание, обнаженная кожа – против воли в голове возникают картины: платье на пуговицах расстегивают темные пальцы, нижнее белье, голый живот, платье снимается через голову, затем – колготки, лифчик, на спину и острые лопатки падают черные смоляные кудри. Эта картина может быть более великолепна – от одной мысли об этом кровь в секунды разгоняется до предела. Драгана услышала мои шаги, но не обернулась; я остановился в дверях, не решаясь войти. Постояв так немного, я нашел силы развернуться и как можно скорее уйти в свою комнату, где со вздохом, почти со стоном упал в кресло и замер, откинувшись на спинку.

Какой антураж – противно тикают часы, мрак, герой в отчаянии, в соседней комнате индийская роза предпочитает вычислительную технику его обществу. Полный набор неудовлетворенных, рвущихся наружу желаний, скованных тем, о чем не хочется вспоминать. Господи, думал я. Она не любит секс. Замечательная причина. Как можно любить или ненавидеть то, чего ты никогда не пробовал – это что, демон с левого плеча нашептывает мне на ушко? Почему я не смог полюбить ее как сестру, почему ее красота разбивает любую мою защиту, почему она согласилась на все это? Я дурак, – прежде всего, виноват во всем я, старый баран, будто бы влюбившийся в очередную юную барышню. Мое упрямство заслуживает какой-нибудь премии. Странно, – невозможно не согласиться с тем, что даже подобная тактика, укомплектованная неплохим внешним видом и хорошими манерами, действует далеко не на каждую женщину – как и каждый, я встречал в своей жизни полные отказы, ледяное, как холод Арктики, безразличие, однозначное и железное «нет». Я слышал это слово от женщин много хуже, откровенно глупее, женщин, в которых был немного влюблен когда-то давно, – так почему же мое затасканное очарование сумело сломить именно эту душу? Единственную, с которой мы могли шагать только к пропасти? А я поверил в лучшее, подхватил ее и понес к алтарю. Господи, почему ты создал меня таким дураком?

Что любопытно, в глубине души я до сих пор надеялся, что сейчас она войдет в эту комнату и разрешит мне делать все, что я пожелаю. Мне было очень тесно и неудобно в штанах.

Драгана вошла.

– Спокойной ночи, – неуверенным тоном сказала она. Останется в дверях или уйдет? Уходит, она много более решительна, нежели я. Но тут я уже не выдержал.

– Драгана! – я подождал, пока она обернется. – Только выслушай меня спокойно сейчас! – у меня стоит колом, все-таки тебе действительно нужно быть аккуратнее. – Один раз. Один раз в жизни. Проси, что хочешь. Поклянусь этим миром. Один раз. Видишь, я сижу здесь. Я клянусь всем, что есть на свете, что не сдвинусь с места. Я клянусь богом. Стой там, где стоишь. Запрись потом в своей комнате, я тебя пойму. Клянусь. Один раз. Разденься. Просто разденься.

Мой голос был настолько хриплым, что я сам едва ли узнал его. Я понял бы ее, если бы она юрким зверьком сорвалась с места прямо сейчас, выбежала из квартиры и больше бы никогда не появлялась здесь – я ждал этого, это было так очевидно. Мне нельзя было верить; я дышал, как загнанный зверь, и всего меня трясло от разрывающего желания. Драгана дернулась было, но не ушла. Я видел, как ее взгляд затопил детский, нет, древний страх, словно страх перед смертью. Она отняла руку от дверного косяка, – рядом книжный шкаф, запустить в меня увесистым фолиантом – довольно удачная идея. Странно, она не сделала этого. Я таял, наслаждаясь уже даже самыми мелкими движениями: легкое дрожание ее тела отдается дикой пульсацией в висках, – будто бы сейчас разорвутся вены, чувство, будто я весь состою из взбесившейся крови. Драгана легонько провела по ткани белой футболки – я смаковал один этот путь ладони по животу, короткий блик лунного света на ногтях, полузаметные тени венок, – рука в нерешительности остановилась, пальцы дернулись, и она начала медленно, словно стараясь не сделать лишнего жеста, стягивать майку.

Я действительно впервые видел ее совершенно голой. Из душа она всегда выходила в халате, уже через минуту была в своей комнате, переодевалась за закрытой дверью и только после снова показывалась мне на глаза. У меня хватало совести не просить ее об этом раньше, но я так жадно поглощал взглядом каждый изгиб ее тела – украдкой, таясь, как задыхающийся извращенец, – что мог предсказать все до последней впадинки. Внутри я выл, без всяких прикосновений был готов взлететь на самую вершину. Драгана сняла шорты и трусы, неловко нагнувшись; выпрямилась, не поднимая глаз. Она не знала, куда себя деть, хотела было глупо прикрыться рукой, затем со вздо-

хом бессильно ее опустила. Прошло секунд десять. Она переступала с ноги на ногу, нервно куда-то оглядывалась, снова смотрела на меня – исподлобья, загнанным взглядом; я молчал, сидел недвижимо (боже, ты знаешь, чего мне это стоило) и просто пожирал ее взглядом; наконец она, кажется, тихонько вскрикнув, – я слышал только собственный пульс, не могу сказать в точности, – коротким движением подняла одежду и бросилась прочь.

***

Я был счастлив этой ночью? Нет, это невозможно назвать счастьем. Это был верх всех развратных желаний, которые когда-либо возникали в моей голове, – можно было искать удовлетворения в самых разных женщинах и самых отвратительных актах, но настоящий пик удовольствия до того был недостижим – я вечно бежал вперед, не понимая, чего мне не хватает, и вот – кажется, это именно то, что забралось в самую корку моего подсознания и гнало меня дальше, то, что называется недостижимой целью – оно почти у меня в руках. Это не счастье, это чувство не наполнило меня теплотой и радостью; оно разогнало меня до самого предела, взорвало мои мысли, до самой последней черты искоренило из моих фантазий других женщин. Я остался замкнут на Драгане; и раньше я мечтал о ней, но теперь будто бы все переменилось, – произошло что-то непоправимое, отвратительное, прекрасное. Я не могу подобрать слов, чтобы описать ее целиком, такой, какой она открылась передо мной в ночь после свадьбы; должно быть, я уже тогда любил ее меньше.

Утро было неловким. Драгана молчала, старалась делать вид, будто ничего не было, была со мною боязливо ласкова и учтива, – какой поразительный стандартный набор, еще один аргумент в пользу тех, кто считает, что все мы одинаковы. Мы вместе завтракали, она сидела напротив меня, бездарно пытаясь изобразить непринужденность. Я думал даже не столько о том, что рядом со мной любимая женщина, которой я до сумасшествия хочу сделать больно, а – кристально объективно – личность поразительного строя, гений, человек, рядом с которым мне стыдно называть себя умным (я старше на двенадцать лет, защитил диссертацию, преподаю в одном из лучших университетов страны), – и вот, она, кроме того, молодая девушка, совсем близко и боится меня до дрожи. Эта мысль вызывала странные эмоции: кроме отвращения к себе (это будто бы галочка в анкете, без которой я не могу считаться разумным), приступ бессильной нежности в самом мерзком проявлении – хочется плакать, валяться у нее в ногах, уничтожать себя ради бессмысленных вещей, – и, в самом сердце нервной системы, где-то там, где я уже не контролирую себя – слабые импульсы возбуждения, довольство древнейших инстинктов, осознание полной победы. Тогда это было еще неявным, размытым, словно наблюдаемым сквозь запотевшее стекло, безобидное начало конца – Гумберт позволяет маленькой Лолите сидеть у него на коленках.

Я мог еще долго молчать, уныло ковыряясь в яичнице; в конечном счете, прождав несколько минут, Драгана со стуком уронила вилку в тарелку и сказала:

– О-ой, как мне надоела твоя кислая рожа. Дай-ка угадаю. «Я такой урод, как может она любить меня, почему я продолжаю делать ей больно!»... Эх, ты. Неужели ты не способен на что-то большее, чем трагедии в стиле Карамзина, а?

– А это? – ответил я с неожиданной даже для себя ухмылкой. – Штампованная фраза, абсолютная классика любовной белиберды.

– Тоже не самый оригинальный ход.

– Этой фразы я и ожидал, милая.

Мы немного искусственно рассмеялись. Диалог, призванный разрядить гнетущую атмосферу искоркой остроумия, увял на первой же неуверенной фразе. Мы продолжали завтракать в тишине. Иногда я поднимал взгляд, но мог только наблюдать за полетом ее пальцев с тонкой серебристой вилкой, стрелявшей солнечными лучами мне в глаза. Драгана не отрывалась от своей тарелки, а, закончив свой завтрак, встала неловко и торопливо и поспешно прибрала за собой, двигаясь упруговстревоженными движениями. Мы оба не знали, с чего начать перемирие после ссоры, которая почти не состоялась; в конечном итоге, к следующему утру мы снова были прежними, оставив между собой только легчайшее, как полупрозрачная и липкая паутина, напоминание о тревоге.

***

Поначалу, первые пару месяцев, все шло волшебно. Наш быт был гармоничен, как будто мы всю жизнь провели вместе. Она была не слишком аккуратна, я сам всегда оставался сторонником чистоты и порядка, но мне никогда не бывало лень прибрать за ней, никогда я не злился из-за оставленной в неудачном месте вещи. В ее комнату (к слову, это была моя бывшая спальня – теперь я сам ночевал на диване в кабинете) я старался не заходить по описанным выше причинам; кроме того, она все же слишком часто и много работала, и я опасался отвлечь ее от чего-то важного. Иногда я казался себе бездельником – неполный рабочий день, дома – максимум пару часов за компьютером или книгами, а она будто бы не знала усталости; я поражался и восхищался ее работоспособностью и, более всего, тому, как она умудрялась оставаться свежей и веселой к концу дня. Когда-то это была только неприятная маленькая черточка наших совместных дней: ее любимая работа и увлечения; я убеждал себя, будто бы знал, на что шел, и что это лишь крохотный недостаток для сверкающего великолепия.

Она всегда была ласкова и внимательна; я не знал, что может вывести ее из себя, – наверное, ничего, кроме человеческой глупости. Иногда, возвращаясь с работы, она, по-детски хмурясь, рассказывала мне раздраженным голосом о том, каких дураков носит Земля; я сажал ее к себе на колени, гладил по волосам и говорил что-то легкое и приятное – постепенно она успокаивалась, тон становился размеренным, и она затихала; мне ужасно нравились такие вечера, – как правило, их она проводила не с компьютером, а всё же только со мной. Как я позже скучал именно по этому времени! Вот оборотная сторона Луны, постепенно разрастающаяся тень, которой я поначалу мог только восхищаться: в другие дни, когда я был слишком настойчив и надоедлив, она не отталкивала меня, но постепенно мне самому становилось совестно ее отвлекать, и я уходил, даже немного завидуя этой преданности делам. Когда-то их действительно было мало, она не могла еще предпочесть меня железкам. Иногда мне казалось, что мне чего-то не хватает, чего-то еще, кроме физической близости; в глубине души я понимал, что хотел бы оторвать ее от строк кода и вскрытых системных блоков, но сделать этого мне не позволяла совесть – любовь не была поводом к таким непозволительным переменам, и, в итоге, у меня оставалось столько же свободного времени, сколько и до женитьбы.

Постепенно его стало становиться все больше и больше. Тень на нашей Луне разрасталась, перекрывая мраморно-белесую поверхность. Я не хотел упорно видеть медленное гниение ее любопытства, закрывая глаза на очередной одинокий вечер, сам придумывая ей оправдания: гениальные проекты, усталость, необходимость разом сесть и до последней глубины разобраться в новой задаче. Она ничего не замечала, сохраняя невинность и преданный взгляд маленькой кошечки. Один вид хрупкого, матово-мягкого, будто бы окруженного сиянием существа, склонившегося в пронзительном интересе над грубой техникой, воскрешал разом все чувства, и кощунством казалось прервать ее работу. Я уходил, повторяя – потом, всё потом. Я еще не понимал, как много времени тогда разделяла она со мной – час, полтора в день манной небесной смотрелись бы ближе к лету! «Каждая любовь меняется», – твердил я себе, перед сном читая случайную глупую книгу. – «Все это совершенно нормально».

Кроме того, тучи сгущались и на другом фронте. Казалось, чем больше касался я ее, тем больше хотелось мне открыть ее тело до последней точки, – теперь малейшее дрожание густого воздуха могло вызвать нежелательное раздражение. Мне снились прекрасные и развратные сны, ненасытно сжиравшие мое самообладание, каждый раз я видел ее в красноватой дымке желания. Красота Драганы не теряла новизны, будто лучшее произведение искусства. Под ее внушением, оглушенный, обожествляющий свою женщину, я сам верил в то, что обращаюсь, как оборотень под полной луной, в безобразное чудовище. Моя маленькая святая вежливо-осуждающе смотрела на меня, и я повторял про себя слова нашей Библии: прости же меня за то, что я жалок, как всякий обыкновенный человек. Даже чувство юмора, кажется, чуть было не изменило мне в этот момент.

Однако идеи о бунте не существовало пока даже в преломлении ночных кошмаров.

***

Мои друзья долго не знали, в чем главная проблема моих отношений с Драганой. Для них она была идеалом во всем – умна, спокойна, красива, кроме того, внутренне стыдясь, я врал про то, что у нас прекрасный секс. Они знали, как долго я ее добивался; в начале этой истории они звали меня идиотом, говорили, что к моим годам уже невозможно влюбляться, как в старших классах школы, но позже, когда все произошло – их удивлению и зависти не было предела. Мы любили подтрунивать над любовными похождениями друг друга (кто-то женился из-за беременности, кто-то жил с истеричкой, я пару раз умудрился закрутить роман со своими студентками – в общем, было много чего любопытного), но тут им уже сказать было нечего. Они долго не верили в то, что такое возможно, расспрашивали меня о ней, просили познакомить, и позже им оставалось только сказать – что же, я не знал, что так бывает. Они поздравляли меня, хлопали по плечу, иногда, когда мы замолкали, один после нескольких минут молчания говорил – «счастливый же ты, дружище». Я решил не расстраивать их, оставив навсегда в заблуждении о том, что идеальные отношения и люди встречаются, но все же в один прекрасный момент проболтался.

Это было в один из дней после Нового года. Праздник мы провели вместе – я ожидал, что буду вынужден сидеть всю ночь с ее братом, интеллигентно пить шампанское и стараться поддерживать светскую беседу, – но нет, от этой затеи она отказалась. Это напоминало мне праздники из детства: никакого алкоголя или шумных компаний, в воздухе – запах мандаринов, что-то полуслышно бормочет телевизор. Драгана наконец-то посвятила целый день мне, не отвлекаясь на свои незабвенные коробки с электроникой; под бой курантов, сидя, как пятиклассник, с бокалом сока в руке, я загадал, не зная чего еще пожелать, чтобы все было хорошо. Я так подумал – пусть, пусть все будет и дальше хорошо, и эти слова почему-то застряли в моем мозгу: в последующие дни я периодически вспоминал их, и они были назойливы, неприятны; что-то начало раздражать меня, мне хотелось отдохнуть – от чего, я и сам не понимал. Числа четвертого или пятого, ближе к рождеству, я договорился встретиться со своим лучшим старинным (еще со школьных времен) другом, выпить, выбраться ненадолго из идеально правильного мира моей новой жизни.

Он был женат давно – сам не понимая уже, любит ли он ее или нет. У него была дочка чуть младше подросткового возраста, пятилетний сын, не выплаченный до конца кредит за квартиру и небольшая лысина на макушке. В первом классе нас посадили за одну парту, и с тех пор мы никогда не переставали общаться – нас не смогло разлучить ни то, что учился он в Петербурге, ни его женитьба, ни дети, ни домашние дела, – мы встречались редко, но на протяжении всей жизни он оставался человеком, которому я мог доверять. В студенческие годы мы ездили друг к другу, вспоминали школьные годы, шатались по чужим квартирам, много пили, нам вечно было о чем поговорить, – это было отличное время, мы были совершенно одинаковыми молодыми раздолбаями. Со временем в моей жизни не слишком что-то поменялось – я оставался великовозрастным дураком без особых обязательств, лишь иногда увлекаемый наукой, он становился серьезнее, упорно работал, женился, что называется, обустроил быт, – его жизнь стала скучнее, иногда я замечал, как он завидует мне. Но и это не могло разрушить нашу долгую дружбу, проверенную уже сотни раз; я был рад, что смог наконец-то снова увидеть его, он и сам был счастлив отвлечься ненадолго от вечных обязательств. Мы немного выпили, он рассказал о своих детях, о работе, о том, что, в общем-то, всё по-старому; мы посмеялись, выпили еще, он купил сигареты – не выдержал, хотя минуту назад говорил, что бросил уже как месяц. Он не решался спросить, как дела у меня: кажется, Драгана впечатлила его немного больше, чем нужно, и он стеснялся о ней говорить, но постепенно разошелся от алкоголя; немного даже покраснев, спросил:

– А как Драгана?

– Отлично, – сказал я, вдруг остро вспоминая, что не все так прекрасно.

– Ясно, – протянул он и на минуту задумался. – Знаешь, я не думал, что у тебя все так сложится.

– А что ты предполагал? – со смешком спросил я. Не припоминаю, что бы мы говорили о чем-то подобном. – Давай, выкладывай, что ты там про меня на самом деле думаешь.

Он прокашлялся и посмотрел на меня исподлобья ироничным взглядом – я настолько хорошо помнил эту его манеру с самого детства, что не смог не улыбнуться воскресшим воспоминаниям; мне показалось, что мы оба помолодели. Показалось, что вечер может быть прекрасным.

– Я думал, – начал он неторопливо, – что в итоге очередная красавица от тебя залетит – может быть, одна из твоих пустоголовых студенток, – ты, как несчастный честный человек, на ней женишься, будешь влачить весьма унылое существование, вечно нам об этом ныть и очень неумело и регулярно ходить налево. В итоге, твоя красотка с тобой разведется – правильно, между прочим, сделает, – и оставит тебя старого, потасканного, никому не нужного и – очень может быть – без квартиры. И ты будешь пить на съемной хате, морально разлагаться и оплакивать свое бурное отрочество, молодость и зрелость, а также наблюдать голые женские ноги только на картинках.

Он театрально взмахнул руками, чтобы подчеркнуть драматический эффект своей речи; мы оба громко рассмеялись. Сейчас как никогда он напоминал себя прежнего, ехидного, легкого на подъем молодого человека, разговор пошел так, как надо. Я забыл о своих проблемах и о том, что меня что-то тревожило. Час или чуть больше мы еще проговорили в подобном тоне, непрерывно шутя, вспоминая давнишние истории, разобранные уже тысячу раз, часто обращаясь к событиям школьной и студенческой жизни. Довольно стандартная встреча двух взрослых женатых мужчин, понимаю я сейчас: говорить о нынешнем дне скучно, а о прошлом, сколько бы времени не прошло – совершенно другое дело. Но в итоге интерес как-то сам сошел на нет. Он снова вернулся в свое обыденное бесцветное состояние, я вспомнил о том, что происходит в моей жизни. Повисла пауза. Он взял новую сигарету и после первой же затяжки закашлялся; я посмотрел на его лицо и понял, что, в сущности, он выглядел довольно молодо – не морщины или дряблая кожа делали его старше. Молодость? В связи с нашими разговорами минуту назад это слово все еще смотрелось дико. Неужели мы так быстро успели постареть? Я хотел бы заметить это вслух, но он меня опередил, стараясь заполнить неудобную тишину первым пришедшим в голову вопросом.

– Детей... не планируете? – спросил он, немного запнувшись.

На меня неожиданным образом подействовал этот вопрос. Настроение резко переменилось, я хмыкнул, отодвинул от себя стакан. Дети, понял я только теперь. Черт, я хотел, чтобы она родила мне детей, – в конце концов, мне тридцать семь лет, я женился на ней, люблю ее – почему же, почему она лишает меня даже малейшей перспективы этого? «Скучный» друг показался счастливее меня, а я в собственном сознании стал несчастнее. Немного подумав, я хмуро ответил, внутренне содрогаясь от того, что сейчас выложу ему все начистоту:

– Я-то хочу.

– А она?

– Нет.

– То-то, надо было соображать, – сказал он, посмеиваясь. – Конечно, двадцать пять лет, в голове одна работа. Чего ты ожидал?

– А не в этом проблема, – резко бросил я, ожидая дальнейших расспросов. Он заметил, что что-то не так, нахмурился, даже как будто немного протрезвел.

– У нее... что-то не так со здоровьем?

– С головой у нее что-то не так, вот в чем дело.

Не дождавшись последующий вопросов, я рассказал ему всё. Он с трудом в это поверил; переспросил несколько раз, верно ли он все понял, – я промолчал, уставившись в столешницу. Осознав всё, он протянул «м-да» и замолк. Мы просидели пару минут в тишине. Я был зол; мне хотелось получить все, что есть у обычных людей, пусть не сейчас, пусть через пару лет – я хотел только обещания, что все будет, мне надоело уже это чувство, будто моя женщина мне не принадлежит. Я взял у него сигареты, достал одну и неумело закурил.

– Я правда не знаю, что на это ответить, – кроме того, что так, наверное, бывает, – сказал он после затянувшийся паузы. Мне стало совестно – он пришел отдохнуть, а я так загрузил его своими проблемами; Драгана не заслуживала тех слов, что я о ней сказал – снова стыд. Разговор зашел в тупик.

– Ну, теперь ты не слишком мне завидуешь, верно? – горько спросил я. Он подумал немного, затем ответил – не совсем то, что я мог от него ожидать:

– Почему же? Она прекрасная женщина, ты ее любишь. Тебе не хватает секса – иди к другим, она тебе разрешила, в чем же проблема? Знаешь, а то моя – как собака на сене, ей-богу.

Я не ждал такого совета. Он казался мне приверженцем классических моральных норм, даже не лишенным некоторой жертвенности. Удивленный, я сказал:

– Мне стыдно.

– Эх, – мой друг вздохнул, – кажется, ты еще не совсем понял, с какой женщиной ты живешь. Ей безразлично, как ты удовлетворяешь свои потребности. Все-таки ты не совсем еще вырос, дорогой товарищ. Быть романтиком в сорок – это диагноз.

– Я сам себе эти слова говорил тысячи раз.

– По крайней мере, у тебя все еще кипит жизнь. А я, знаешь, стал забывать, что это такое.

Я пожал плечами. Остаток вечера был скомкан: мы много молчали, я пытался курить и пил, он иногда грустно посмеивался, глядя на меня. У нас снова были свои проблемы, застарелые и новые; готов поклясться, он думал обо всем, что упустил в своей жизни, и, может быть, о том, что не против был бы поменяться местом со мной. К ночи я был пьян до чертиков, он довез меня до дома, извиняясь, передал лично в руки Драганы. Я думал, что она непременно обидится, однако наутро у изголовья дивана меня ждал аспирин и стакан воды, а она только посмеялась, когда я принялся извиняться. Ее мое состояние позабавило, а не оттолкнуло; она только спросила: «это же не будет повторяться часто, да?», и на этом разговор закончился. Как я могу ее хоть в чем-то укорять, подумал я после этого, прости меня, Драгана! Я вновь ненадолго забыл о том, что меня может что-то в ней не устраивать.

Единственное, что изменилось с этого дня – иногда я возвращался снова к мысли о детях, и тогда в сердце становилось немного пусто; передо мной возникало уставшее лицо моего друга, жизнь которого казалась такое скучной до самого недавнего момента, и я завидовал ему черной завистью. Неужели я наконец-то захотел остепениться? Это было непривычное ощущение, но, похоже, что-то действительно поменялось в моей голове. Дети. С ними было бы столько проблем, но я не мог перестать представлять себе такое будущее. Я думал о том, что кто-то мог бы называть меня папой, – кажется, такая нелепая вещь, она едва ли укладывалась у меня в голове. Сын или дочь со своими проблемами, характером, жизнью. Мне тридцать семь лет, господи, наконец-то настал тот момент, когда я это осознал.

***

Через несколько недель, ближе к началу второго семестра, я впервые за время нашего супружества изменил Драгане. Когда-то я боязливо задумывался о том, чтобы снять проститутку или найти еще какую-нибудь девицу не слишком тяжелого поведения, но она была женщина не той категории: ей было немного за тридцать, только что она защитила весьма достойную работу практически по точно тому же предмету, каким и я занимался в то время, – мы были коллегами, и я не мог не признать, что она была неглупа и по-своему интересна. Она не выглядела на свои года и умела умно, как-то немного по-мужски вести беседу (свободный юмор, уверенность, умение перевести разговор в нужное русло); у нее были поразительно рыжие от природы волосы и полное отсутствие всяческих предрассудков. Мы встретились практически случайно; будучи знакомы до этого, переговорили немного о науке, поняли, что нам было бы неплохо иногда видеться – о, эти встречи «по работе», сколько на самом деле эмоций и желаний скрывается за этим абстрактным предлогом!

В итоге, вскоре мы сходили в кафе, она явно заметила кольцо на моем безымянном пальце, как заметила и мой интерес; я плюнул на все и старался себя не сдерживать. Я снова вспомнил, каково чувствовать себя умным – Драгана одним предложением могла принизить мою самооценку до абсолютного нуля, с ней же – дело совсем другое: это уже похоже на равноправную борьбу, победитель в которой не совсем ясен. Довольно быстро всё стало откровенным, хотя она была не так проста и любила поиграть, – право же, несколько лет назад я мог бы серьезно ей увлечься, и она была того достойна. Приходя домой, я старался забыть обо всех «противозаконных» свиданиях, и, поразительно, мне это удавалось: я вижу Драгану, занимающуюся своими вечными делами, и, как всегда, внутри обрывается что-то очень важное, и на второй план уходили любые другие люди. Я не вспоминал о той женщине весь день; если что-то неожиданно напоминало мне о ней (такие же рыжие волосы случайного прохожего, высказывания Драганы, незаметно перекликающееся с нашим разговором, случайным жест, похожий на ее манеры) – я содрогался, испытывая удар холодной волны, легкую панику, тут же старался подальше забросить подальше воспоминания. Моя любовь к Драгане не изменилась ни на каплю: нежность, обожание, горечь от всего, чего между

нами не было – знакомый, не ослабевающий со временем порочный круг, за пределы которого я не мог выбраться. Иногда мне даже делалось немного страшно от того, какую власть имеет надо мною она, – ни одна из предыдущих любовниц не могла до такой степени завладеть моей жизнью, – и вот тогда-то моя рука сама тянулась к телефону, что бы набрать номер новой знакомой. Я пытался внушить себе, что все в порядке, вспоминал все ее позволения и собственные заумные рассуждения, но стоило только Драгане улыбнуться мне своей чистой молодой улыбкой, как я сразу чувствовал себя великим грешником, предателем Бога – и ведь всё это было еще до того, как мы переспали с моей рыжей коллегой, поразительно!

До первого секса это всё действительно было несерьезно. Кольцо на пальце давало мне право отступить в любой момент, и она сама меня не держала. Иногда я делал маленький шаг назад, но на следующий же день позволял себе двусмысленную шутку и легкое касание рукой. О ее готовности к большему я знал, дело было только за мной. Я долго мучился. Думать о сексе с полузнакомой женщиной и о Драгане одновременно было трудно, я не мог принять взвешенного решения. Я искал ответ в глазах моей любви и в собственных желаниях; после нашей памятной первой брачной ночи, если только ее возможно так назвать, другие женщины вызывали во мне странные чувства. Какая-то часть меня уверяла, что это мне попросту ненужно; одна продолжала кричать об аморальности и бесстыдстве, другая уверяла, что все идет ровно так, как и должно идти. Меня бросало из стыда в смелость; во мне вечно горела неутолимая похоть, корень всех наших проблем и страданий.

Я скучал по физической близости, настоящей физической близости с раскрепощенной женщиной, так, как только можно скучать, и мечты о древнейшем удовольствии с каждым днем набирали обороты, невыносимой тяжестью сдавливая организм. Один вид Драганы мог вывести меня из неустойчивого равновесия, – одно объятие, невинный, как всегда, поцелуй, секундное прикосновения, даже – очередное метко брошенное замечание, расцветающее ядовитыми цветами предложение, одновременно задевавшее ум и влечение, – ни одна другая женщина, пожалуй, не могла завести меня с пол-оборота одними сухими словами, философией в контексте резких фактов; горделивость, уникальность, неожиданная легкость – еще пара пунктов для списка вещей, раздражавших мои чувства. Но иногда ей не хватало резкости. Она могла говорить удивительные вещи, которых я не слышал ни от кого, а затем задавать глупые детские вопросы. Только эта наивность могла пристыдить меня. Она так много знала, но не имела почти что никакого практического опыта. Даже в ее точных и острых суждениях прослеживалось в конечном итоге что-то идеалистическое, – впрочем, для нее это было логично, ведь она искренне не понимала, что́ мешает человеку быть совершенным. Я замечал, что временами она тяготеет к книжной, абсолютно классической морали; она не желала видеть несовершенства мира, и, боже, поразительно, ей почти удавалось его избежать – единственным демоном ее жизни был я, все остальное она могла преодолеть, составив из своей судьбы идеальную музейную композицию.

Господи, я ведь писал о той рыжей бестии. Да, в конечном итоге мы действительно переспали. Она привела меня в свою квартиру под каким-то крайне благовидным предлогом, без умолку о чем-то говорила, все еще обращаясь ко мне на «вы». Я подыгрывал ей, стараясь держаться в рамках приличия, постоянно делая при этом легчайшие, острые и двусмысленные намеки; я всегда обожал состязания в остроумии. Она была, кажется, лучшим соперником в подобных развлечениях, с отточенным мастерством заставляя меня напрягать всю свою сообразительность. В ее квартире было чисто и строго, словно в нежилом помещении, и сама она выглядела слишком хорошо для обыкновенной женщины и слишком быстро отвечала на мои выпады. Каждым словом, каждым моментом она будто бы снимала с меня корку морали и здравого смысла, я плыл по реке разговора, все менее и менее ощущая эфемерные понятия ответственности и долга. Она расплывалась перед моими глазами, я переставал уже видеть в ней человека и личность, оставляя место только абстрактному объекту желания. Жадно я следил за тем, как она ходила по комнате, о чем-то рассуждая, пожимая плечами, улыбаясь, хмурясь, – становилось очевидно, что это ее последний шаг, и сейчас уже нас поджидает пропасть – невозможно было ошибиться ни на секунду, и вот, когда я только промолчал в ответ на ее долгую тираду, она подошла ближе и поцеловала меня.

Я долго описывал ее достоинства, но, в сущности, на них мне стало в определенный момент наплевать, – мне было плевать даже не то, как она выглядит, что за женщина вообще стонет в моих

объятиях – если это не Драгана, я не вижу ничего, кроме собственного удовольствия. В этот миг она с новой силой воскресла в памяти, полностью заменив своим образом случайную любовницу. Сконцентрировавшись на неудовлетворенных желаниях, я никак не мог до конца насладиться всем, чего был так долго лишен. В тот момент, когда я по-настоящему дотронулся до нее, мысли о каком-то стыде, страхе и прочих высоких вещах испарились сами собой, – с этой едва ли знакомой женщиной я был не особо нежен и ласков, и всё это время, не испытывая ничего, кроме чистого наслаждения, представлял вместо нее Драгану, и эти фантазии были поразительно реалистичны. Я едва ли мог говорить – единственная причина, по которой я не обидел ее, назвав чужим именем, – и слабо помнил то, что делал. Единственное, что по-настоящему осталось в памяти, – то, что это было великолепно. Я был вне закона, меня не пытала совесть или чувство долга, я получал все, чего только хотел. Драгана оказалась в моей власти, лишившись всех своих странностей, всех лишних ненужных забот. Несколько часов полной вседозволенности и бесстыдства; в молодости со мной случалось многое, но ни один акт не сопровождался таким фейерверком удовольствия, и я не мог бы объяснить это только тем, что почти с самого лета не был с женщиной, – нет, это удовольствие происходило именно из моих мыслей, из полуреальных картин того, как со мной оказывается Драгана, и тогда мой восторг ею (всей, каждой ее частью без исключения) достигает предела. Я явственно слышал, что кричит именно она (ее голос, легкий намек на знакомый тон), я вожу руками по ее смуглой коже, она – нет, ни кто другой, именно Драгана, – становится моей. Всё. Мне казалось, что я покорил Эверест, что я могу теперь умереть со спокойной совестью. Казалось, что я сделал все, что мог, что я выжат до конца, израсходовав всего себя в это время. Я остался без сил; удивляюсь, как я еще сумел взглянуть на нее. Нет, слава богу, я умудрился не переступить черту, даже полностью лишившись самоконтроля, – она была довольна.

Я натянуто улыбнулся этому; она как-то сразу показалась мне чужой, ненужной, неинтересной, было странно, что я так много времени уделял ей. Мне захотелось уйти, едва я успел отдышаться. За несколько минут она уже стала мне противна, начало чудиться, будто мне не нравится ее запах; я снова перевел взгляд на нее – нет, не только он, весь ее вид уже стал неприятен. Я быстро встал, раздражаясь будто бы от ничего, начал одеваться. Она сказала что-то вроде «ты очень красивый», а я не ответил; я мечтал только о том, что бы поскорее уйти из мигом опостылевшей квартиры, больше не слыша от этой женщины ни слова. Она лежала в кровати, улыбаясь в никуда, не желая шевелить ни единым мускулом – тем лучше, подумал я, счастливо оставаться. Быстро собравшись, я пулей вылетел из квартиры, уже разозлившись не на шутку.

Я сам не знал, отчего был зол. Меня выводило из себя всё, чего бы ни коснулся взгляд или мысль, от райского наслаждения не осталось и следа; не в состоянии сконцентрироваться на чем-либо, что-то бормоча себе под нос, я брел прочь, сам не зная куда. По чистой случайности вскорости оказался у метро, совершенно автоматически спустился вниз. Взглянув на схему, я немного пришел в себя. Как же я ехал сюда, как добраться домой быстрее? И нужно ли вообще мне туда? Эта мысль почти полностью отрезвила меня. Сейчас я, только что оттрахав какую-то чужую женщину, поеду домой, поднимусь наверх, открою дверь квартиры и увижу Драгану. Она будет заниматься какими-нибудь своими делами, ей будет безразлично, с кем я провел сегодняшний день, она снова вспомнит обо мне только к ночи, а я – я всё это время буду помнить об этих часах и хранить в себе осколок бесполезного греха. И снова знакомая картина – стыд сытой удовлетворенности, отвращение, желание все вернуть назад, острая необходимость загладить несуществующую вину – знакомые круги ада, в плену которых я находился с самого начала. Кроме того, непонимание Драганы, самое страшное – ее наивная любовь, гармоничный быт, то, что наша любовь действительно может существовать.

Я сел на скамейку на станции, не решаясь пройти в вагон. Я знал, что дальше всё так и продолжится. Сказочная, нереалистичная, приторная любовь, потом – «срыв». Какой поразительный контраст составляют они друг с другом. Когда мне было двадцать восемь лет, у меня были очень серьезные отношения с одной женщиной, о которой я мог бы писать долго, – у нее были тысяча маленьких и уникальных черт, словно кто-то собирал ее из разноцветных осколков, и это можно было почти назвать настоящей любовью, – но это уже даже не так важно, вопрос лишь в том, почему я не остановился с ней навсегда? Я испугался быта. Я посмотрел на своего лучшего друга и заметил, что волосы на его макушке сильно поредели. Дети казались кошмаром наяву. Худшим было то, что она

всего этого хотела, – может быть, не прямо сейчас, но уже через пару лет, она хотела видеть меня вечно рядом, оказаться самой значимой частью моей жизни, но я разглядел в этом только бесконечную череду обязанностей и одну большую, вечную, неизлечимую усталость. Мне начало казаться, что я уже совсем ее не люблю, нашел повод, чтобы порвать, а через пару месяцев ее сбила машина. Мне даже некуда было отступить.

Случилось всё так, что и рассказывать нечего. Я купил ей огромный букет – пошлый и банальный ход, призванный оправдать еще более пошлые проступки. Хмурясь, стараясь не смотреть ей в глаза, я рассказал Драгане всё, о чем думал по дороге домой, обо всем, что случилось. В ответ она тяжело вздохнула и терпеливо, как маленькому ребенку, принялась объяснять в тысячный раз правила игры; я выслушал, кивнул, она добавила, что больше бы не хотела никогда слышать о моих похождениях, и на этом ушла снова в свою комнату, сказав, что ей срочно нужно доделать кое-что крайне важное. Мне хотелось бы удержать ее, остановить, по десятому кругу извиниться самыми убедительными словами, хотелось бы даже, что бы она накричала на меня, выгнала, как-то выразила свое отношение, – но она ушла, отмахнувшись от меня, как от назойливой мухи. До следующего дня она ничего мне больше не говорила.

Нужно было бы быть круглым дураком, чтобы подумать, будто она не обиделась; и ей было обидно не столько оттого, что я провожу время с другими женщинами, а оттого, что я выкладываю ей эти истории, бесполезные и довольно-таки омерзительные. Я был в тупике. Я бы мог досконально изучить устройство компьютера, выучить хинди, совершить всё невозможное, но – я оставался бы при этом собой и больше никем другим быть не мог. Только в самом раннем, самом неосознанном возрасте личность человека пластична и подвижна, далее – это только каменная скульптура, которую можно, пожалуй, поцарапать или раскрасить, но не перестроить. Это тот факт, на который можно обратить внимание, только влюбившись по-настоящему, когда разговор заходит уже не об идиотической силе воли, но о самой глубокой структуре, которая – вечная неожиданность – именно с этим вторым человеком кажется неуместной и неверной.

Делать было нечего – оставалась жить так же, делая вид, будто у нас все в порядке, – и я настолько был еще влюблен в нее, что сам верил в это почти все время. Когда она работала, в очередной раз оставляя меня в одиночестве, я вдруг особенно хотел разделить время с нею, но с каждым днем она все чаще исчезала в своем эфемерном техническом мире, забывая обо мне. Ей перестали нравиться наши посиделки без дела, и мечтательная бездеятельность в хрупких руках перестала быть моей последней радостью; она отвечала мне быстро, быстро целовала, быстро уходила. Мы прекратили вместе смотреть фильмы и гулять. Можно было подумать, будто бы она «наигралась» в любовь, как ребенок, но в действительности происходило не совсем то – снова она была слишком увлечена чем-то сторонним, чтобы вспомнить о том, что и так должно навсегда остаться с нею. Очередной период медленно подходил к концу. Она изучила любовь до конца, пережила пик, узнала, что такое счастье и обида, и теперь это отступило на второй план как очередной тон в фоне к настоящей жизни.

***

Это произошло, конечно, не сразу: наши отношения медленно скатывались в глубокую яму в течение остатка зимы и всей душной весны. Она не испытывала ни малейшего дискомфорта, будто бы все шло так, как и нужно, я же постепенно становился безумным от этого увядания. Поначалу боязливо, затем уже потеряв последнюю каплю стыдливости, я находил других женщин, – просто ради похоти, затем – уже из глубокой скуки чувств. В каждой я без устали искал малейшую черточку, напоминающую о Драгане, выдумывал не бог весть что, думал о них лучше, чем следует. Тогда, после длительного перерыва, в первую близость с «чужой» женщиной, фантазия сама предложила мне прекрасную картину, которую я поддерживал безо всяких усилий; с каждым разом все труднее становилось сделать что-то подобное. Я видел только то, что происходило в действительности. Каждая была по-своему хороша, красива или умна, или даже всё вместе, – но это были лишь тени того, что я искал. Даже никак не могу придумать, что бы такого о них рассказать. Я им нравился, они хотели, чтобы я остался, завел с ними настоящие отношения, бросил жену – поначалу я хмуро молчал в ответ, позже разошелся и начал выдумывать всякие невероятные истории, вроде того, что Драгана больна и я не могу бросить ее из чувства долга, или что на самом деле я женат на старой

неприятной женщине почти анекдотичного типа. Я полюбил такие выдумки, с ними было веселее жить. Впрочем, пару раз я говорил чистую правду, но, помнится, мне так и не поверили.

Я стал раздражительнее, скучнее. С работой были странные отношения – то я занимался ею ночь напролет, пытаясь как бы догнать Драгану, то забывал обо всем на несколько недель. Я читал лекции без особого интереса, только иногда подшучивая особенно язвительно и зло. Радость от чего бы то ни было проходила слишком быстро, с другими я стал вспыльчив, злопамятен. Кто-то даже сказал, что я сильно изменился. Я мог с легкостью и садистской точностью обидеть свою очередную любовницу и не испытывать ни малейших угрызений совести, бросить ее на следующий день, исчезнуть, не оставив следа. Находясь в соседней комнате, я сходил с ума от одиночества или желания, думая теперь о Драгане чаще, чем в период первой влюбленности. Все время порываясь поговорить с ней, я не решался этого сделать, она же даже не думала о подобном – скажите ей, что у нас что-то не в порядке, и она не поверит. Она до сих пор наивно любила меня, господи, хотя так было трудно в это поверить, – хотя, конечно, делала это как умела и как позволяло само ее устройство. Иногда, когда в «загруженном» расписании находилось место для меня, Драгана размышляла о нашем будущем, спрашивала, куда бы мне хотелось поехать летом; мне все время хотелось съязвить или высказать все в одной фразе, но я был слишком еще скован призраком обожания, которое в действительности уже начинало гнить. В квартире был порядок, мы никогда не ругались и были почти до странности учтивы друг с другом. Она улыбалась мне искренне, но я знал, что это только короткая вспышка, после которой она вновь оставит меня, упорхнув в свой мир, – поэтому я мало улыбался.

Я подхожу уже к самому концу. Настало лето. Всё происходило медленно, но почти физически чувствовалось, как неумолимо и ощутимо с каждым днем одиночество становится тяжелее. У студентов началась сессия, работы стало в два раза меньше. Я стал скучать в тысячу раз больше. Жаркие дни были неумолимы, у нее была работа в самом разгаре. Я был словно призраком в собственной квартире, и моя любимая женщина была счастлива без меня. Может быть, черт подери, я преувеличиваю. Да, скорее всего, в основном это были очередные мои рвущиеся наружу фантазии, подавленные реальностью, это неожиданное желание продолжения рода, о котором я попросту боялся с ней заговаривать, недостаток внимания, скука, ревность к ее достижениям – все навалилось сразу, перемешалось с жарой, тупостью моей сто двадцатой любовницы, мелкими обидами, обиженными инстинктами. Я начал часто думать о том, что она зарабатывает гораздо больше меня. Что она намного умнее меня. По сути дела, весь этот год я оставался полностью подчинен и побежден, не получая взамен практически никакой отдачи, считая ее внимание за единственное благо, – впервые явственно осознав всю картину, я скорее мыслил это как сухой факт, не имеющий эмоциональной окраски, но каждый день кто-то будто добавлял в чащу по капле яду, и я переменил настроение.

Я делал для нее все, что только мог. Я предложил любовь – Драгана согласилась и использовала ее только тогда, когда захочет; нужно было уйти и оставить в покое – я уходил, побыть рядом и обнять – я тут же бросал все свои дела. Нельзя было рассказывать о том, что вызывает у нее отвращение, даже если проблема скорее в ней, чем во мне. Откуда она могла знать, что ненавидит секс, если ни разу даже не целовалась до того, пока я не появился в ее жизни? Почему она так просто могла лишить меня надежды даже на самое светлое и достойное – на детей, на нашего маленького сына или дочь? Мысли поражены неспешно развивающейся язвой.

***

Наступил ее день рождения. Я едва ли сдерживался. К этому времени наши жизни почти перестали соприкасаться. Она проводила дни напролет в своей комнате, засиживалась в офисе до позднего вечера, ездила по каким-то конференциям, командировкам; чужие города, чужие страны – ей не было дела до нашей московской квартиры. Я помнил, конечно, что именно с этим праздником был связан перелом в наших отношениях. Я не мог забыть и ту «роковую» фразу, переключившую какой-то неизвестный тумблер в ее голове – «чтобы в твоей жизни вечно было что-то новое», – черт, она начинала звучать насмешкой. Можно было быть абсолютно уверенным, что ее жизнь до меня была абсолютно неотличима от того, чем она снова жила сейчас. Я безумно скучал по ней, хотя, в сущности, не терял ничего – она ни на секунду не изменяла себе, оставаясь искренней и

честной. В преддверии праздника она вновь была улыбчивее, красивее, ярче – это помню я только как образ, основанный на догадках и коротких взглядах. Хотелось бы описать все перемены ее настроения, все маленькие ее шаги и незначительные слова, но мы стали, право, так мало общаться, что оставшиеся крупицы времени не говорили почти ни о чем. Меня бросало из отчаяния в злость и снова в прежнюю нежность; Драгана, как водится, ровным счетом ничего не замечала и только, наверное, сохраняла свою изначальную, тихую, больше углубленную в саму себя любовь.

За пару дней перед Днем рождения она сказала:

– Кажется, скоро у меня для тебя будет небольшой сюрприз!

– Да? Какой же? – спросил я, напрягаясь.

– Если я скажу, это уже не будет сюрпризом, верно? – иронично ответила она и приобняла меня сзади. Я так скучал по ее теплу, что мигом забыл обо всех тайнах и сюрпризах, вздохнул, улыбнулся, начал было возвращаться памятью к прежним дням, но это оказалось только мимолетным обманом – уже через пару секунд она потрепала меня по волосам и убежала, закрыв за собой дверь.

Это маленькое событие подействовало на меня критическим образом. Меня приводило в бешенство всё – то, как быстро она убежала, будто бы ей было противно обнимать меня, то, что она ничего не замечает, и даже этот дурацкий сюрприз – я готов был спорить на что угодно, это окажется какое-то очередное мелкое, эгоистичное, непонятное мне событие, бредовая идея, которая еще больше отдалит нас друг о друга. Она никогда не скажет – знаешь, мы стали проводить слишком мало времени вместе, или же – дорогой, я решила, что была слишком категорична в некоторых вещах, или – что бы ты думал о детях? Нет, нет и еще раз нет, – а я ведь надеюсь на это до зубовного скрежета. Драгана, я уже кое-как научился преодолевать влечение к тебе – мне плохо, до сих пор плохо, когда я думаю о тебе, каждый раз я критическим взглядом оглядываю любую женщину и знаю, что видел кое-что лучше, я ни за что бы не хотел причинять тебе боль, – но, черт, мне бы просто хотелось вернуть хотя бы частичку твоего внимания, пусть даже не любовь – только дружбу, но не то, что творится сейчас.

Она сказала, что не нужно никакого подарка на день рождения, и мне, по правде говоря, не хотелось даже ломать голову над этим. Драгана решила устроить очередной традиционный праздник – брат, пара друзей, тихий вечер, я по давнему обычаю безуспешно пытаюсь выглядеть естественно. Словно зуд, надоедливую боль, назойливое жужжание помню я несколько последних дней июня, и даже писать эти строки мне неприятно почти физически. Я уже хочу пролистнуть несколько страниц. Раздражительность, то, что пару раз мы были на волоске от глубокой обиды, непонимание, – всё кажется таким смешным перед разразившейся катастрофой, что до глупости нелепо останавливаться на этом.

Мелкие детали, на которых я неторопливо заострял внимание раньше, только гонят меня вперед, дальше – полузнакомые песни, разговоры, которых я не понимал, чужие люди в моей квартире, Драгана, вертевшаяся только вокруг них, то, как она была красива, – и то, как это вызывало во мне еще большую нетерпимость. Я оставался мрачен; я убеждал себя, будто бы хочу, чтобы меня оставили в полном покое, и строил недовольное лицо, едва ли не как ребенок; в глубине души клокотало ожидание того, что все, словно в пресловутом детстве, спросят, всё ли со мной в порядке. Меня оттеснили в угол, оставив наедине с шампанским; забаррикадировавшись парой бутылок, я наблюдал за происходящим, распаляясь больше с каждой минутой; я ревновал к вниманию, оказанному этим людям: брат обнимает ее за плечи, она без умолку болтает с одной и внимательно слушает другого. Время растянулось до бесконечности; я не мог уже исправить ничего, – если я вмешаюсь прямо сейчас в разговор, разобью его, словно хрупкий сервиз. Я совершенно не подходил этой компании.

Интересно, думал я, стараясь оставаться в стороне от праздника, все эти люди, осчастливленные ее обществом, хоть раз тосковали по ней так, как это случилось со мной? Допустим, ее брат. Или друзья. Она любит их по-другому или же попросту один я не в силах оставаться самим собою без других? Будто бы их всех подбирали специально: самодостаточные, слишком взрослые даже для меня, – кто-то бросил всё ради карьеры, кто-то физически не успевал тратить деньги; наука, финансы, влияние – всё нереально, словно в кинематографе: я не мог думать, что такое существует. Встреча мира обывателя и людей, достойных увесистых жизнеописаний. И вот он я. Сижу в темном углу квартиры, доставшейся мне от родителей, пью и молчу, мрачно сдвинув брови; в моей голове

нету уже ни черта, кроме никому не нужной ерунды, и впереди меня ждет только тихая старость в чине преподавателя; пока все эти люди едва ли не меняли мир, создавая из себя идеальных, я мог похвастаться только любовными похождениями с московскими красотками. Я никогда не мог претендовать на титул лучшего, вечно оставаясь вторым, третьим, четвертым, пятым, покуда они не могли стерпеть самого мелкого поражения; я знал самые глубокие отношения, различал десяток степеней влюбленности, но ничего не мог противопоставить им. Я был побежден, оставлен в дураках. Каждый из них мог вытерпеть без общества годы, вечность без дружбы и любви; вместо души в них всех были стальные стержни, окруженные неловкой и тонкой пленкой чувств. Неудивительно, повторял я про себя все более ядовитым тоном, что она предпочитает мою лень их твердости; неудивительно, что она отдаляется от меня с каждым днем. Надо за это выпить, говорил я себе, выпить за упокой наших отношений. Господи, как она счастлива, какая у нее красивая улыбка. За это я тоже, пожалуй, выпью. И за ее день рождения – еще раз, и еще.

Только когда гости собрались уходить, стало очевидно, насколько я пьян. Все встали, образовалась случайная пауза; я тоже встал, пошатнулся, едва не упал – меня тут же пронзил взгляд пяти пар глаз, словно меня поймали на месте преступления. Неловко выровнявшись, опустил глаза и прокашлялся. На их лицах не отразилось почти ничего, будто они обернулись случайно, только сама Драгана как-то глупо растерялась, непонимающе глядя на меня. Секундная заминка быстро разрешилась: все засуетились, засобирались, исчезли через несколько минут; я хотел извиниться, сказать что-нибудь остроумное, но все же сумел сдержаться и просто опустился обратно в кресло, схватившись за голову. Мне было стыдно. Едва ли щелкнул замок, я молча встал и торопливо, пьяно спотыкаясь на ходу, пошел в свою комнату; Драгана окликнула меня – или же мне просто показалось, – но я уже задвинул щеколду и остался наедине с самим собой.

***

Первое июля. Бумага в этом моменте мокрая, потому что я, пьяный вдребезги, рыдаю.

Первые мгновения утра были неприметны – ленивая нега, бездеятельность мышц, назойливый жар с улицы, – не открывая глаз, я мог только слышать легкое шуршание в прихожей. Я смутно подумал о Драгане, не до конца еще очнувшись ото сна: она представилась мне в утренних золотистых лучах, торопливая и улыбчивая, и даже одно это зрелище стоило утреннего блаженства – я решил немного полежать и затем сразу же пойти к ней, надеясь перехватить ее у очередной работы, но опоздал на пару приятнейших неторопливых мгновений – несколько секунд сонного бездельного утра и – клац! щелчок замка – она ушла. Снова я оказался один, как в былые годы, – со мной даже не попрощались.

Почему-то именно сегодня это ставшее привычным событие вывело из равновесия последнюю часть моей души, и произошло что-то неожиданное и неуправляемое, словно приступ эпилепсии: будто бы вспышка взорвалась перед моими глазами, и, как животное, ослепленное внезапной яростью, я резко поднялся, слепо схватил с полки будильник и, замахнувшись, швырнул его с неимоверным усилием о стену. Послышался треск и лязг: он разлетелся на кусочки, пластик растрескался, пружины и винтики, блеснув в утреннем свете, как стая маленьких стрекоз, с громким звуком ударились о пол. Я застыл на миг, пытаясь осознать, что только что случилось. Очень осторожно я отступил назад, не отрывая взгляда от обломков под ногами, медленно, будто за мной следили, опустился на диван, по-прежнему только разглядывая поломанные детали. Вокруг них собиралась тишина, без тиканья стрелок обретшая физическую тяжесть; комната обрела какую-то грозовую молчаливость. Тридцать секунд назад я проснулся, а сердце колотится, будто я бежал через всю Москву; в совершенном ступоре я взглянул на свои руки и увидел, что они дрожат до того крупной дрожью, что сейчас я не смог бы взять те злополучные часы; на лбу, кажется, уже выступили капельки пота, хотя все это было не так страшно – гораздо ужаснее (хуже, чем в жесточайших душащих кошмарах), было то, что я чувствовал мгновение назад.

Гнетущая недвижимость, парализованная воля. Сердце нехотя успокаивалось, перестала выстукивать молотом кровь в ушах; я старательно глушил любую разумную мысль, возникавшую в мозгу, не зная, к чему она может привести. Нужно было бы выпить успокоительного, но я боялся встать, нарушая хрупкое, едва достигнутое равновесие. Произошедшее не могло иметь приемлемо-

го объяснения. Только что приключилось нечто большее, чем очередной приступ злости: я не мог подобрать тому описания – до того была каждая клеточка, каждая крохотная венка тела пронизана белой клокочущей яростью; я обернулся на миг то ли сумасшедшим, то ли зверем. Мне было страшно, как детстве, страшно, будто я остался один в неизведанной темноте, полной мистических шорохов; осторожно оглядевшись, я понял, что тишина и одиночество квартиры нарастают, волнами накатывая на меня, и у меня появилось снова столь же безотчетное, инстинктивное желание бежать прочь, куда только угодно.

Лучше бы мне действительно было поддаться этому дикому желанию, побродить по Москве бездумно пару часов и вернуться обратно, но с чего-то я вдруг решил сыграть роль сильного мужчины: вздохнув, я изо всех сил постарался взять себя в руки, встал, стараясь унять дрожь, убрал обломки. Они блестели и переливались в моих руках, словно я держал пригоршню маленьких блестящих жуков с разноцветными спинками. Тихо, думал я. С кем не случается. Я двигался медленно, потому что иначе маленькие звонкие осколки просто бы валилось у меня из рук. Буря страха постепенно утихала; закончив заметать следы кошмарного приступа, я некоторое время просидел без дела и мыслей. Тишина била в уши. Я судорожно стал искать какое-то занятие, с которым я мог бы не думать об этом. О работе не заходило и речи, на улице я только что и останусь наедине с дурной памятью; случайно взгляд упал на телефон. Мигом я схватил его и принялся отыскивать номер своей нынешней любовницы, пару раз пролистнул его мимо, затем нажал красную кнопку вместо зеленой и долго потом не мог заново зайти в адресную книгу. В душе снова загорелась искорка злобы; я сжал пальцы крепче, но на это раз ничего не разбил. Наконец, я сделал все верно. В трубке послышались гудки.

– Алло? – ленивая дура, она до сих пор спит.

– Разбудил, – без вопросительной интонации сказал я.

– Да, – ответила она, явно надеясь, что я принесу извинения и отключусь, но я был не в том настроении.

– Можно я зайду к тебе часа через полтора?

Она недовольно засопела. Она любила спать, сидеть дома целыми днями, не работала и заканчивала какой-то идиотический ВУЗ с невнятным названием: типичная современная дармоедка, кроме обычного, еще мнившая себя интеллектуалкой, – ее спасала в моих глазах молодость и удивительная податливость при показной недоступности; это все в совокупности придавало ей неповторимый старокнижный образ шлюхи, и это было по-своему великолепно. Она испытывала ко мне необъяснимую для таких куриных мозгов слабость: возможно, причиной тому было то, что я не уставал повторять, сколько она остроумна и оригинальна. Меня всегда удивляло, как легко разбудить самый искренней восторг такого сердца банальной и неумелой мужской ложью и несколькими незначительными показными фразами. Подумав немного, она нехотя протянула:

– Хорошо, приезжай.

– Извини, я позже уже сегодня не смог бы, – запоздало и без всякого стыда в тоне отчеканил я. – А затем у меня кое-какие дела. Надолго. Пару недель.

– Хорошо, хорошо.

Я подумал, что пора бы было бросить уже эту идиотку.

Я не спеша собрался, побрился, оделся. В подкорке мозга оставался страх, я силой воли пытался безуспешно рассеять его и только и сумел, что нагнать лишней спеси. Что же, все происходящее достаточно логично, думалось мне. Она (боже упаси произнести ее имя!), она, эта женщина – она совершенно не уделяет мне никакого внимания. Весь день я, вне себя от желания или любви, с воображением, закольцованным на нежности и похоти, не нахожу себе места; каждый миг и действие я проживаю с мыслью о том, что она есть на свете, я согласен от полного принуждения на любые уступки и компромиссы, – взамен получаю только сияющее белозубой улыбкой ничего. Разве я мечтал только об этом? Мечтал, мечтал – думал я, запирая дверь, специально позвякивая ключами громче. Где была моя гордость эти полтора года – не имею ни малейшего понятия.

Я сбегаю вниз по лестнице. Наступало время лжи, возвышения моей фиктивно заниженной самооценки с фанфарами и геройскими слоганами. Напоследок я готов был подписаться под тем, что она безукоризненна, как совершенный механизм, как компьютер с подобием человеческого мозга;

она способна на всё – перевернуть мир, добраться до сути, заработать несчетные миллионы, – всё, о чем мог бы мечтать человек за всю жизнь; на реализацию любой прихоти уйдет максимум несколько лет; я – ничто рядом с ней. И снова мы возвращаемся к началу, – и все же, она не имеет никакого права... – далее фразу можно было заканчивать самыми неоспоримыми и ядовитыми упреками, самыми злобными мелкими недостатками, которые оборачивались вдруг кровоточащими трещинами. Шаг назад, шаг вперед: мысль заперты в одном круге; каждый оборот все больше распаляет ненависть, страх делает выпад вперед, я отвечаю ему вычурно-решительной стеной гордости. Темп ускоряется одновременно от злобы и желания перебороть малодушную сущность, перед самой квартирой я едва ли не перехожу на бег, задыхаюсь ни с чего, дышу, как зверь; люди шарахаются в сторону от меня, и это пробивает еще большую брешь в моем долготерпении.

От глубокой обиды женщины отчаиваются, мужчины – доходят до жестокой ярости. Хорошо, если эта жестокость заставляет только разбивать кулаки о стену в кровь и истязать самого себя, много хуже – когда смесь злобы и страха выплескивается на посторонних. Я взлетел вверх по лестнице, забыв о лифте, по дороге едва не сбил с ног какого-то проходимца. Звонок я жал, пока моя несчастная любовница не подошла к двери. Едва только она распахнула ее, как я грубо ворвался в квартиру и схватил ее, едва успев оглядеть. То, что произошло дальше, длилось недолго. Бунтовавшая гордость хотела видеть в этом акте торжество мужского начала, страх дергал ниточки неуверенности и плохих воспоминаний, и в итоге из меня получилось довольно дешевое подобие отчаявшегося героя. Она недоуменно посмотрела на меня, и даже ее пустующий взгляд приобрел некоторый смысл. Показная жестокость прикосновений могла привести только к некрасивым синякам оттенка разлитого бензина, и я не только не смог удовлетворить свое полуутвердительное желание мщения, но даже и эту молоденькую дурочку, извечно глядевшую на меня снизу вверх. Наступила предсказуемая тишина, гармонично укладывающаяся в общую картину неловкости. Она отвернулась, прокашлялась, поудобнее устроилась на кровати. Я полежал спокойно некоторое время, пытаясь понять, что же стоило бы сделать дальше. Наконец, она сказала:

– Ты не хочешь чаю?

– Знаешь, мне, наверное, уже пора, – торопливо пробормотал я, вставая. Какое позорное отступление это было! – Знаешь, у меня снова проблемы с женой.

– Какие? – спросила она, как бы стараясь поддержать разговор, но меня один звук ее голоса уже едва ли не заставлял краснеть, и потому разговор я резко обрубил неясной фразой вроде «это совершеннейшая глупость, поверь». Я одевался, она, забыв про свой глупый чай, сидела на краю кровати. Через минуту я уже был у выхода, стараясь не оглядываться, бросил ей слова прощания. Боже, от глупенькой маленькой девчонки с самыми мещанскими вкусами я уходил, поджав хвост, подобно бродячей собаке, – а ведь я, кажется, еще по пути пытался рисовать роскошные картины нашего расставания, наполненные театрализованным пафосом. Моя никчемность была теперь будто бы официально утверждена, как совершенно ясный факт; я думал о том, что не умею быть мужчиной.

Итак, первая половина нашей роковой даты прошла. Я унижен собственным страхом, Драгана, красочная свежая пташка, где-то порхает по своим делам, не вспоминая о земных проблемах. Мое желание самоутвердиться и ее невнимательная легкомысленность не спеша подводят нас к полному завершению нелепого союза. Наверное, он неплохо бы смотрелся со стороны, и я бы с удовольствием прочитал чью-нибудь подобную диковинную историю, сидя дома с кружкой теплого чая. Тягу к книжной жесткости легко обнаружить в себе в моменты наиприятнейшего жизненного комфорта и благоустроенности, тогда, когда острейшая волна счастья уже спала, но каждодневная серость еще не наступила. Иногда прекрасными, словно классическая картина, кажутся неоправданная и мучительная смерть или угасание героя, и разочаровывает до глубины души приторно благостный для всех конец; крайне любопытно наблюдать за чужим разложением, будучи уверенным в собственной домашней идиллии. Но стоит ли напоминать то, что ни единый из этих странноватых и пресыщенных читателей не захотел бы никогда поменяться местами со своим любимым «прелюбопытнейшим» героем, повергнутым легкой рукой автора на дно человеческих чувств? Как же все-таки удивителен, в сущности, человек, способный восхищаться красотой чужой смерти, как противоестественно видеть прекрасное в разложении – черт подери, наверное, это одна из моих любимейший, тайно драгоценных и бесполезных человеческих черт.

Не могу представить, где носило в эти моменты Драгану. Работа, где она слышала радостные новости и цветом зависти расшитые комплименты, магазин, где она купила себе изогнувшуюся штормовой волной блестящую скрипку, московские улицы, по которым она бежит куда-то, кафетерий, квартира брата, магазин, – только бы ты не возвращалась домой! Пожалуйста, останься где-нибудь вне нашего мира, там, где я бессилен, там, где за тебя я мог бы не бояться; неожиданная командировка, затянувшийся вечер в гостях у брата, сумасбродная поездка в другой конец мира – посмотри же, какой веер красочных возможностей разложил я перед тобой. Я сам пытался не вернуться, смутно остатками человеческих чувств предсказывая небывалую бурю. Время, словно непослушная тропа, вилось на моем пути, то резво пробегая час, то замирая бездвижно на долгих пяти минутах; память разошлась еще больше, пятнами заволакивая самые произвольные моменты, и почему-то отчетливо записывая только то, как медленно отутюженная голубизна неба скатывалась в карамельно-розовый и бархатистую синь.

Людей на улице не делалось меньше. К вечеру назойливое жужжание заполонило все проспекты. Каждая увиденная физиономия была отвратительна; впрочем, мне всё уже опротивело до самой агрессивной тошнотворности. Во мне горел поначалу какой-то неопределенный больной зуд, затем переросший в оглушительную полноценную ненависть. Каждое событие в мире, каждый встречный и каждый вздох московского вечера раздражали разом все чувства, точно как и утром, но теперь сама мысль о страхе вызывала гневное возражение всего организма: только последние, тончайшие стенки вынашиваемой годами человечности не давали мне сорваться. Я споткнулся, меня толкнула маленькая хрупкая девчушка, еще не выросшая из средней школы, старик впереди идет слишком медленно, жара царапает оголенные руки – и в душе разгорается такая буря, будто бы кто-то причинил мне смертельнейшую обиду. Я чеканил шаги, словно робот, и лишь изредка оглядывался по сторонам, уходя с каждым часом все глубже в собственную клетку смертельных и ядовитых чувств. Если бы в моих руках оказалось оружие, я бы в действительности кого-нибудь бездумно убил.

Мне не хотелось идти домой, мне не хотелось оставаться на улице, мне не хотелось быть где бы то ни было. Какое милое оправдание всему дальнейшему я выведу сейчас – я был на самом дне человеческих чувств, я был поражен в худшем смысле этого определения! До моего вселенского, безбожного преступления остается всего несколько часов, а я, сам замечаю это, спокойнее, чем в начале этих бездельных записок. Я долго бичевал себя, я упражнялся в изящной речи и создавал перед пустыми листами самый трагический образ, а теперь, последние десятки страниц – вдруг обратился в спокойного осужденного, послушно следующего на казнь. Мне уже даже не хочется замедлять шаг и мешать моим честным палачам; более того, скажу, я с неподдельной радостью готов взойти на заботливо приготовленный для меня эшафот и предоставить наконец свою бездумную голову в заботливые и знающие руки. Я не отступаю назад и не пытаюсь остановить время, описывая бездарные московские закаты и плавящую белесую жару, мой взгляд не цепляется за неожиданно обратившиеся «особенными» здания и пейзажи. Пожалуй, даже этот абзац для меня уже делается противным; хочется, наверное, только вспомнить, как несколько минут я стоял во дворе, пытаясь что-то разглядеть в почерневшем, как старое серебро, небе. Я не помню, чего искал в нем, потому что даже чувства мои не тронулись больше с места, оставаясь в прежней трясине; наверху, по привычке, от ярких огней не было звезд, а только висел, накренившись, будто кто-то неаккуратно прибил его молотком, обглодок луны. Нет, ничего, ничего не было в этом моменте – даже мысли повернуть назад. Я насмотрелся на пустоту и зашел в подъезд.

Драгана была дома. Мое сердце пустилось в аритмическое танго.

– Привет, – было ее первое счастливейшее слово. Ну что же, здравствуй, красавица, мой демон. Она улыбалась, как и всегда, даже еще более нежно и открыто, и в черных глазах сияли карие счастливые искорки; она бросилась ко мне, как уже давно не случалась, мягко обвила шею руками и несколько секунд так и простояла. Как же ненавижу я тебя, подумалось мне. Ненавижу и проклинаю тот день, когда увидел, когда понял, что ты не пустоголовая идиотка. Как же мне ненавистны все твои слова, твои мысли, даже твое великолепное тело.

– Почему ты такой хмурый, дурачок? – прервала Драгана мои сладчайшие мысли. Я молчал, не зная, куда деться от сконцентрировавшегося гнева. – Хорошо, не хочешь рассказывать – молчи, – пожала плечами она, упорхнув в гостиную. Какие-то силы вне моего тела потянули меня за ней; я

почувствовал невольную приятную пульсацию в паху. Она быстро нагнулась и показала мне какой-то черный футляр, о назначении которого я не сразу догадался, подавленный яростью и внезапно проснувшимся влечением.

– Что... это? – неуверенно и очень тихо спросил я, пытаясь оставаться на грани человечности. Драгана удивленно ответила:

– Ты что, не видишь? Я купила скрипку.

Я помолчал, пытаясь собраться с мыслями. Какая же, ко всем чертям, скрипка? О чем мы разговариваем? Тем временем она, не замечая моего странного состояния, продолжала.

– Я решила научиться играть, – щебетала она, убирая инструмент куда-то в сторону. – Знаешь, сейчас кое-что изменится, и я бы хотела измениться тоже. Ну, знаешь, новые высоты и все подобное. Ты меня понимаешь?

Я мрачно кивнул, не отводя от нее взгляда. Как всё же, при всем яде, который пропитал мои воспоминания, удивительно пластична и грациозна была точеная оболочка этого чудовища, словно бы вырезанная из темного гибкого дерева; ее движения не были призывны и двусмысленны, но в них сквозила притягательнейшая, необъяснимая сексуальность, словно бы само ее тело, как произведение искусства, было создано притягивать восхищенные взгляды. Или же, – мои тогдашние мысли я привожу последовательно и почти дословно, – для плотской любви. Мои размышления вдруг стали до удивления прямолинейны и просты. Ненависть затаилась на время, уступив место вожделению, и только глухо урчала на заднем плане. Мир поплыл; вспышками менялась картина перед глазами, застывала и снова воскресала в движении. Назойливый зуд возобновился, только теперь я в точности знал, чего мне хотелось; тем временем, Драгана оставалась такой же безмятежной и воздушно-непостоянной: вертела что-то в руках, двигалась из угла в угол и всё не могла остановиться, словно сверкающая птичка по весне. Ее слова били в уши неприятным маленьким молоточком. Кажется, с восторгом она рассказывала о том, что, наконец, завершила с какими-то своими драгоценными «ребятами» долгожданный проект.

–...и знаешь, даже не в этом главное! – тараторила Драгана. – Помнишь, я недавно тебе говорила про сюрприз?

– И что же? – спросил напряженно и хрипло, незаметно придвигаясь поближе, рассчитывая свои движения, как охотник перед добычей. Она остановилась, посмотрела на меня и улыбнулась так, будто бы знала что-то такое замечательное и таинственное, о чем я не мог даже подумать, – как же глупо эта манера смотрелась перед моей настоящей, незаметно надвигающейся грозой. И все же тем прельстительнее делался ее взгляд – я позволил напоследок ей наиграться в верховодящего.

– Ну, по сути дела, их два, – она усмехнулась и, немного стесняясь, опустила голову. – У меня тут образовалось сразу два предложения. Одно – глупость, говорю тебе просто так, – не очень большие деньги, хотя, признаюсь, интересно и сложно, но – Индия! Я, конечно, всегда готова съездить туда отдохнуть, но работать и жить... так что забудь. А второе – второе это просто сказка, знаешь, я не могу себе представить что-то лучше. Во-первых, это какие-то фантастические деньги, во-вторых, сама идея – я сама бы и лучше не придумала, что-то невероятное, и потом, представь – Лондон! Я так давно там не была; знаешь, у меня остались плохие воспоминания, – я тебе рассказывала, – но это все уже неважно, потому что теперь приглашает совершенно другая компания, и там ничего подобного произойти не может в принципе.... Нет, ты только подумай, – она взмахнула руками, радуясь, не замечая моей реакции, – как же наивно ты замкнулась снова на себе сегодня, мой мотылек. – Лондон, какая-то немыслимая зарплата, такое дело... Знаешь, не стоит бояться переезда. Мой брат все поможет устроить. Не думай, что нам там будет одиноко – у меня еще остались там друзья, я тебя непременно с кем-нибудь познакомлю. Боже! Такая удача выпадает раз в жизнь! – от чувств она даже прижала ладони к груди и постояла некоторое время в бездвижной мечтательности; за это время я сделал значительный шаг вперед и медленно начал свирепеть еще больше, больше, чем сегодня утром, медленно, как огонь поглощает бумагу, впитывая ее слова. На меня накатывали мутные волны гнева, похожего на ту утреннюю неожиданную истерику, в которой я разбил о стену будильник, но если тогда мысли как бы отсутствовали вовсе, то в этот раз дело было совершенно иным – никогда ясно я так не представлял себе, из-за чего именно готов прямо сейчас взорваться на месте, и каждое ее слово ловил с жадностью, кивал, не моргая, смотрел вперед и неторопливо, бесшумно, незаметно приближался к ней. – Я не

говорила тебе, – продолжала Драгана, – потому что прежде хотела закончить все здесь, разобраться окончательно, а теперь, когда это уже дело пары дней... Правда, все это какое-то чудо?

И тут она наконец-то заметила – заметила мои нечеловеческие глаза, хищные жесты, застывший взгляд. Это было ей непривычно, она не знала, как расценить мой вид, но совершенно верно испугалась от одного моего внимательного взгляда. Она тут же умолкла, даже слегка прикрыла рот ладонью, огляделась по сторонам, раздумывая, куда может убежать, – но потом, видно, подумала, что ей могла показаться от эфемерных мыслей неверная картина, или, может быть, случилось что-то непоправимое; нервно сглотнув, как-то разом сникнув, обернувшись неподвижной тоненькой струной, она осторожно, будто кралась в темноте, спросила:

– Что-нибудь случилось?

Эта игра начинала доставлять удовольствие. Боже, подумалось мне, сколько поэзии в ее испуге: ничего пошлее, тоньше, хрустальнее ее беспомощности невозможно было вообразить; в черной глубине зрачков будто бы тонкой пеленой появился призрак смерти и ужаса, что так шел к ее побелевшему лицу. Как до приторной, болезненной сладости было приятно наблюдать за страхом величайшего ума, заключенного в слабенькое холеное тело; особенно, особенно практически невозможно страстным и великолепнейшим делала этот момент моя обоснованная, давно выращиваемая ненависть к ней! Мне даже хотелось повременить с расправой, хотя скрытый, притаившийся смысл ее поступка довел меня уже до самой вершинной точки кипения, когда все разумное из меня окончательно испарилось.

– Ничего? Тебе что-то не нравится? Ты не хочешь ехать в Англию? Послушай, можешь не ехать... Ничего страшного... Нет, я не то имела ввиду!..

Все вспомнилось в одно мгновение. Как будто бы не наигранное удивление в тот момент, когда я говорил какую-то глупость о технике. «Нет, мне не хочется сегодня смотреть кино, мне нужно еще кое-что закончить». Невнимательность. Зарплата в разы больше моей как плевок в подсознание. Осознание собственной ненужности. Долгие часы с компьютером, покуда я сижу в своей комнате, изнывая от желания вдохнуть ее запах. Резкое «нет» на все, чего она не удосужилась попробовать. Неприязнь к самым банальным инстинктам. Дети, которых не будет. Мы почти не видимся. Она обнимает меня раз в несколько дней. Холод. Безразличие. Сотни улыбок, которые она рассыпает чаще перед чужими. Злость, весь день преследовавшая меня по пятам. Она медленно исчезает из жизни, успев задумчиво поиграться с моей судьбой, словно бы маленький котенок с клубочком шерсти. Драгана могла кричать на меня, потому что всем известно, что я только жалкое подобие человека, грязное животное, я в ответ только молча сокрушаюсь о своей естественной природе; она может в любой момент сорваться куда угодно, отклонить мое внимание, оттого что ей неудобно, но я вечно остаюсь рядом в полной готовности выполнить капризную прихоть; сейчас она уже планирует переезд в другую страну без всякого моего ведома, преподнося мне его как приятный сюрприз, – таким тоном, будто бы мое согласие заведомо закреплено за ее волей. Англия. Что же, прекрасно. Тебя ждет сюрприз. Чудесно, милая, совершенно прекрасно. Никто еще до такой степени не оскорблял меня, унижал, уничтожал до самой основы, как ты.

– Стой, стой, – сказала она, выставляя вперед руки. – Пожалуйста, не надо, стой же, нет!..

Драгана сорвалась на крик.

Она была не так уж слаба, но во мне неожиданно проснулась небывалая, неизведанная сила, которую прежде не было нужды применять. С нее слетали, как листва по осени, тонкие тряпки одежды. Крики и легкие удары плавились в восхитительности реальной жизни. Теперь не иллюзия была передо мной, а самая настоящая реальность, пряно пахнущая, восхитительно пикантная даже в одежде, реальность, скрывавшая влажные глубины наслаждения. Одновременно это была расплата и мечта; в эти минуты ненависть и наслаждение были смешаны так плотно, что даже самым точным скальпелем их было не разделить – одно проистекало из другого и вновь возвращалось назад. Это было и раем и адом: боль и наслаждение, инстинкты и обида чувств, и, конечно же, это было чудовищным преступлением, преступлением, ужаснее которого я не совершал и совершить не мог. Это был апогей наших жизней, хрестоматийно вписавшийся в общую историю мира как лучшая история под заглавием «не доверяй».

Я думал, что буду до самого последнего держать себя в плотных тисках, в который раз повто-

ряя один приговор, но, смотрите же, несуществующие читатели – описание моего прегрешения вышло скомканным и коротким, будто бы я сам смущался перед собою. Я не думаю, что нуждаюсь в оправданиях, в самобичевании, в бессмысленных извинениях перед человеком, которого рядом со мной нет. Я свободен – потому, что совершил самый тяжкий грех, и теперь уже не могу сделать хуже. Нужно как-то расшаркаться перед белыми одинокими листами, которые, быть может, назавтра полетят с ветром вдоль московских улиц или исчезнут в кишке мусоропровода. Я изнасиловал любимую женщину, – как же коротко и лаконично можно было все это записать, хотя нет же, постойте – такая фраза потребовала бы многих пояснений, и, кажется, я знаю кое-что получше: я предал самым непростительным и мерзким предательством любимого ребенка, ничего не знавшего о жизни. Как детей учат плавать, бросая в незнакомую морскую гладь, так и я резко бросил ее в самую жестокую часть реальности, будто бы взимая плату за беспечно прожитые года. Господа присяжные заседатели, как говорил мой брат Гумберт. Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил. Какое же вышло увлекательное дело, даже я обернулся писателем. Наврал, начеркал, попытался козырнуть слогом. Зачем – неизвестно.

Зачем я совершил то, что совершил? Почему мною правят внезапные желания, почему я не могу быть так же прекрасен, как и она? Почему каждый не может наступить себе на горло и вдруг обернуться прекрасной птицей, подобно фениксу, восстающему из пепла? Какой-то мелкий человечишка, никому не нужный, в собственной квартире слизывает в полном изнеможении чужую кровь с пальцев, впитывая чью-то случайную молодую жизнь, а за окном и во всем мире так тихо, так спокойно, что хочется плакать над долготерпением – чьим, шут его знает, но таким явственным, что отрицать его невозможно. И таких меленьких увечных человек рассыпано по всему миру несчетное количество миллионов, и в каждом уголке, посреди африканской жаркой ночи, зенитного часа в швейцарских горах или на влажно-розовом островке средиземного моря живет трясущийся, мерзотный, нечистый чертенок, творящий однажды в своем убогом домике самые тошнотворные акты звериной жестокости, – зачем, за что? Если дать ему задуматься, он не ответит. Разве что только скажет – от гнева. Я не знаю, какой человечище может осознать разумом эту картину – разломанная напополам жизнь, пролитая кровь, и рядом – виновник пиршества, потупивший взгляд, отвечает – от гнева, от бешенства; для моего маленького мозжечка эта задача непосильна, и я могу только рассмеяться. Как же смешон человек в эту минуту, господи, – хотя, может быть, ты уже можешь понять это и ужаснуться, и тебе не делается так же истерично смешно, как мне.

Прощай, мой первый писательский опыт. Прощай, удивительная история, приключившаяся со мной. Прощайте, листы, которые никто никогда не возьмет в руки. Прощай, Драгана, которую я больше не увижу. Да святится имя твое, как подсказывает моя дружеская память.

Милорад

Сегодня я посадил ее в самолет, подержал за руку и отпустил. Ее дикую красоту невозможно было спрятать даже в платке, который она повязала, подобно мусульманке, но, кажется, эта тряпка делала ее настроение тише. После я пил корвалол прямо в аэропорту, схватившись за сердце, безуспешно пытался успокоиться, рыдал в туалете и просидел в машине без движений с полчаса, прежде чем тронуться. Но при ней я держался. Если бы сдал и я, она бы этого уже не выдержала.

Меньше всего на свете я могу думать о том, что она какая-то неправильная и странная. Для меня существовало сейчас какой-то другой морали и этики, которая говорила бы мне о том, что следует повременить, одуматься и попытаться, возможно, переговорить. Я и так едва сдержал себя, чтобы не убить его, и пусть бог сочтет это самым милосердно-дегенеративным поступком за мою жизнь. Ну, всё, кажется, я уже достаточно спокоен, чтобы не сорваться и не наделать глупостей – поэтому нажимаю на газ и, наконец-то, еду.

Что я мог ей сказать? Ей было двадцать пять. Она обеспечивала себя сама. Она с детства была упряма, как только может быть упрям одаренный не в меру ребенок. Она была самой большой любовью моей жизни, как я понял за эти дни. Я не любил больше ни одну женщину, никого на свете вообще: только она, одна-единственная, оставалась всегда моим идеалом и страшным кошмаром.

Я признался себе в этом пару дней назад, когда мы вместе засыпали на одной кровати, и она едва слышно сопела, уткнувшись мне в плечо. Мне не хотелось бы восхищаться ей прилюдно, я хотел бы спрятать ее как можно дальше от глаз людских и позволить с головой погрузиться в ее удивительную, самой собою выдуманную сказку. Я не смел думать о ней как об объекте желания, и даже не могу сказать, что мешало этому только табу кровосмешения, – в ней словно было что-то священное, чего я не могу трогать даже в мыслях. Это была не любовь брата к сестре, это было что-то гораздо более глубокое, извращенное, засевшее в подкорке мозга. Я в чем-то был так же отвратителен, как ее дружок.

Но я ждал этого дня. Вернее, не так, размышлял я, пролетая на предельно разрешенной скорости на красный. Эта была одна из тех пугающих фантазий, будто бы ни с чего возникающих в голове, странных, причудливых фантазий, в которые трудно поверить, но которые неотступно следят за всей жизнью. Сколько трепета для моих одеревеневших нервов было во фразе – когда-то кто-нибудь окажется сильнее ее. Даже сейчас я по дурости нажал сильнее на газ, безбожно превышая скорость, только бы скорее оказаться у этой квартиры.

Снимите другую, твердил я ей. Ты можешь позволить себя роскошь в центре. Нет, что ты, ему хорошо здесь, а мне безразлично. Я бы хотел окружить ее изысканным, лаком лоснящимся шиком, но она не хотела того. С нетерпением я ждал лифта, и, покуда злости еще не было куда вырваться, я представлял себе, как она, точно так же стоя рядом, беспечно дожидается его вместе со мной.

Вот знакомая дверь. Я отлично ее запомнил, как запоминаю всякую мелочь, окружающую любимых людей, – самые неожиданные детали могут оказаться решающими в будущем. Хочется впечатать кулак в дерево, просто чтобы хоть немного полегчало, но за годы десяток опасных ситуаций превратили мои нервы и волю в стальные канаты. Как я и ожидал, дверь долго не открывали. Я даже начал нервно покачиваться на пятках, как тут наконец-то со скрипом передо мной предстали внутренности квартиры.

Меня всегда немного пугала его внешность. Он был красив неземной, нечеловеческой красотой, напоминая героя прихотливой сказки. На нем были только короткие джинсы и расстегнутая застиранная рубашка, вся в дырах, обнажавшая выступающие косточки и смертельно бледную кожу, крупные грубые суставы и резко выточенные каналы вен. Я долго не хотел смотреть ему в глаза, но чрез секундное колебание поднял взгляд вверх. Его веки были воспалены, спутанные белесые волосы падали на лицо, затемняя еще больше мешки под глазами; он держался своими длинными паучьим пальцами, будто мог упасть в любой момент, и непонимающе шарил по мне взглядом. Если он и был трезв, то совсем недолго.

Самое трудное испытание в моей жизни – не прикончить его прямо здесь, прямо сейчас. Я чуть дернул в нервической усмешке уголок рта.

– О, – хрипло выдавил он, наконец, начиная что-то соображать, – да.

Он просто отступил в сторону, потупив взгляд, как нашкодивший первоклассник. Это вызвало во мне всплеск: я зашел в квартиру, толкнув его плечом, на секунду ощутив его костлявое жесткое тело. Вокруг царствовал вульгарный беспорядок, и я даже оглянулся вокруг, специально задержавшись на секунду: передо мной обыкновенные признаки страха, принимаемые будто бы за отчаяние – пустые бутылки, разбросанные вещи, неприбранные коридоры и комнаты. Со злостью я пинаю один из ближайших зеленых сосудов. Он падает прямо, как пьяница, бьется о стену и разлетается на морозные стеклышки. Рядом лежит какая-то толстая старая книга. Поморщившись, я прохожу в комнату, желая сесть.

Он послушно плетется за мной. На его лице нет определенного выражение, ни покорности, ни горя, ни даже страха, только, как может показаться на короткое мгновение, – зловещая, безумная усмешка, притаившаяся где-то в глубине его прозрачных, диковинных глаз. Его движения напоминают до сих пор, после всего того, что он с собой сотворил, движения хищной большой кошки. Ну и свинарник же здесь. Диван превращен в птичье гнездо. Поборов брезгливость, я сажусь в кресло.

– Ну?

Я знаю, что пугаю его, так же, как и многих людей. В этот момент я не боюсь рисоваться, зная, что всё одно не буду смешон.

Он стоит, прислонившись к стене, чуть выгнув спину. На его белоснежных руках и животе – посмотрите же, отчаяние отчаянием, а про душ он не забывает, – нет ни царапин, ни синяков, и даже

волосы как-то изнеможенно и плавно падают на лоб. Его взгляд становится наркотическим; наконец, он усмехается, лениво выгибаясь еще чуть сильнее, явно с долей самолюбования.

– Ты пришел меня убить?

– Когда она пришла ко мне, ее руки были не такие чистые, как у тебя.

– Я бываю в ванной от скуки, – с вызовом, как курящая девочка-подросток, бросил он, – все равно делать нечего. Лежать на диване или где еще – какая, нахрен, разница?

Я цокнул языком: рассчитывал, что он будет умнее, но эти выпады не могли довести меня до звериного состояния, когда я вправду бы бросился и убил бы его.

– О, я не о том. На твою чистоту мне плевать.

– Я понял, о чем ты.

– Кстати, ей ты уже ничего не сделаешь. Она улетела сегодня. В Дели.

Он замолк и вернулся в прошлое оцепенелое состояние. Я смотрел некоторое время в сторону, зная, что это заставляет нервничать больше, чем прямой сверлящий взгляд. Строить диалог было до смешного просто после всех выдержанных мною словестных баталий, и все движения и слова уже выходили непроизвольными, однако меня до сих пор волнует вопрос – что будет потом? Тишина прозвенела в комнате с полминуты, и вот я протянул:

– Ты же историк. Профессор! – со смешком воскликнул я. – Не глупый вроде бы человек. Сам знаешь, что сам и прямо сейчас я тебя не прикончу, как бы мне этого не хотелось.

– Дипломатия – опасная вещь, – вяло заметил он, снова играя в равнодушие.

– Верно подмечено, мой друг Горацио. Но, конечно, на будущее тебе не стоит сильно надеется.

– Ясно.

– Нигде.

– Да.

– Никакое.

– Понимаю.

– Благодари бога, если я дам тебе сгнить в твоем университете. А лучше переведись-ка в какую-нибудь Бауманку на полставки, и сиди там по тише.

– Хм...

– Если, конечно, с тобой не случится какого-нибудь удивительно неудачного случая.

– Да, да.

Я сцепил руки в замок и чуть подался вперед, предчувствуя, что еще недолго смогу держаться с этой его бравадой.

– И как ты только можешь так мне хамить, а? Честно скажу, у меня бы на твоем месте не хватило силы воли на подобное.

Тут его губы расплылись в самодовольной улыбке, и сам он мечтательно откинул голову назад, будто вспомнив что-то приятное. Я ощутил, что держусь на самом краю. Выдержав мхатовскую паузу, он протянул:

– Я нахожусь уже за пределами морали, и мне можно всё. Больше я уже не согрешу, и нету у меня никакого желания кривляться сейчас перед тобой, дурак.

От его слов я застыл, пораженный; это и вправду прозвучало настолько непристойно, настолько бесчеловечно вкупе с тем, что он совершил, что я не нашелся, что ответить. Его ядовитая, медленно расплывающаяся ухмылочка привела меня в себя, и я встал, выпрямившись деревянно, как кукла, и столь же механическими шагами преодолел разделявшее нас расстояние. Он будто бы не боялся, и под конец выкинул еще один неожиданный ход: вдруг, когда я на долю секунды остановился рядом с ним, почти вплотную, что бы в последний раз увидеть это гадливое выражение, он резко подался вперед и впился своими губами в мои, быстро запустив тонкие пальцы в мои волосы. Сбитый с толку, повинуясь секундным, неосознанным порывам, я отбросил его к стене и сам отчего-то подался вслед, почти не разделив поцелуя: всё это происходило несколько вдохов и выдохов, несколько неопределенных мгновений я ощущал его настойчивый язык у себя во рту. Я почти оцепенел, не понимая, что происходит, и очнулся только тогда, когда почувствовал, как костистая ладонь резко накрыла мой пах, и он сам всем своим худосочным телом пытается прижаться ко мне: тогда я тут же отпрянул и, не целясь, быстро и сильно ударил его кулаком в лицо.

Он схватился за нос, непроизвольно всхлипнул, но устоял на ногах; я исправил это еще парой точных ударов, и тогда он упал, орошая пол кровью. Почти потеряв над собой контроль, я несколько раз пнул его в живот, как никогда ясно видя перед собой картину всего, что случилось. От одного этого реалистичного видения я, злостно улыбнувшись, добавил еще. Наконец, он протяжно захрипел и плюнул кровью на грязный посеревший пол. Мне приходилось драться не более двух раз в жизни, и я не знал, когда можно было остановиться; кажется, мгновение назад, при последнем ударе, послышался хруст, – сломанные кости – верх того, что я мог позволить. Как бы ни хотелось, нужно было, наверное, остановиться. Его скорченное и худое, уродливо насекомое, тело вызывало такое отвращение, что, не сдержав себя, я пару раз еще – как думал, несильно, – пнул его по ноге, только для того, что бы ему было еще больнее.

Он перевернулся, застонал; на паркете расплывались ярко-кровавые пятна, почти такие же, как в фильмах. Рядом со всем тем, что он совершил, это короткое избиение смотрелось убого, и мне самому стало противно от собственной немощности. По рукам и ногам я был скован обязательствами, правилами этикета, своей работой и статусом; за себя я не боялся, но слишком хорошо знал, чем грозит скандал Драгане. Даже если меня просто посадят за решетку, она умрет окончательно. Я не знаю вообще, на каких волшебных спицах держалась ее личность даже в эти совместно проведенные дни.

Я постоял некоторое время над его жалким телом, думая, что сказать; мне казалось, что если я открою рот, то смогу только крикнуть что-то нечленораздельное. На лбу билась злая и торопливая жилка.

– Продолжай в том же духе. Бумаги по разводу я тебе пришлю, – прошептал в конце концов я, думая, что сейчас же решительно развернусь и уйду, но, не успев сделать и полшага, неожиданно и пребольно впечатался боком в письменный стол.

Рассвирепев, не зная, куда бы еще выместить гнев, когда этот кобель уже ноет под ногами, я одним быстрым движением скинул со стола бутылки, которые упали с оглушительным звоном и блеском; за ними показалась беспорядочная стопка бумаги, и я схватил листы, желая разбросать их по комнате или разорвать, но тут совершил единственную ошибку – глянул на плотно исписанные строки и против воли, за крохотную долю секунды, прочитал одно-единственное, огнем высеченное слово: «Драгана».

– Что... что за черт?! – воскликнул я в исступлении, перебирая листы один за другим. На каждом повторялось одно и то же имя в разных обрамлениях; мелькали многочисленные поэтические словеса, вроде «любовь» и «чувства», но я не мог понять фразы целиком, настолько был вне себя. В ответ этот мерзавец только что-то протяжно провыл. – Что это, черт тебя подери?! – я один за другим просмотрел листы до конца и нашел последние, и тут уже смог прочитать горевшие строки абзацев.

– Это... ты?

Он что-то промычал, затем закашлялся, снова пачкая пол багровой жидкостью. Неожиданно мысль о том, что он описал на бумаге все, что произошло, привела меня просто в неописуемую ярость; я повернулся к нему, свирепея все больше, и принялся выкрикивать один за другим вопросы, вновь награждая его все новыми ударами.

– Для кого ты это пишешь?! Зачем?! Ты здесь рассказал обо всем?! Показал это кому-то?! Писал что-то еще?! Отвечай! Как тебя только земля носит, ебаный извращенец!

Он не мог ответить, весь его рот и лицо были залиты кровью вперемешку со слезами и слюной. Он плакал от боли, неясно выл, иногда произнося что-то, отдаленно напоминающее «нет». Краем сознания я понимал, что ничего не добьюсь, но мое безумие не желало отступать, и продолжал изливать свое бешенство. Оказалось, человеческий организм много прочнее, чем думал я до того. Я сбил костяшки, как дворовый мальчишка, и сорвал голос. Он был еле живым, и уже не кричал, не завывал, а только неясно скулил, забившись в угол, весь в синяках и кровоподтеках. Когда я, прихватив исписанную бумагу, покинул квартиру, он, кажется, едва мог пошевелиться, но я только мог жалеть о том, что он не лишился, скажем, бесполезного глаза или руки.

Я хотел прочитать все залпом прямо в машине, но понял, что слишком взвинчен, чтобы пытаться следить за развитием чужой мысли. Скорее, словно боясь опоздать, я погнал домой, нарушая правила, даже не успев подумать о том, что никогда прежде так не ездил – ни разу за жизнь.

Дома я заперся в кабинете и, забыв обо всех делах, принялся читать запоем, страницу за страницей, глотая слова, не думая. Один за одним прочитанные листы падали на пол. Это было похоже

на истерию, даром что я сидел бездвижно. У него был ровный, каллиграфически вычурный почерк и местами грузный стиль; кое-где бумага пошла волнами от пролитой воды или алкоголя, кое-где порвана: это были, пожалуй, мои единственные разумные замечания по поводу прочитанного.

Едва закончив, я понял, что мне нужно выпить. Я ненавидел алкоголь, но всегда держал ради гостей приличествующий статусу набор отравы. Трясущимися пальцами я достал широкую бутылку, стоившую немыслимых денег, открыл, налил до краев. Сделал первый глоток, поморщился от горечи, но внутренне испытал облегчение. «Как же так», – пошептал я, падая назад в кресло. Не могу представить, сколько времени я сидел, пялясь в противоположную стену. Кажется, в комнату никто не заходил, хотя я не мог быть уверен. Было уже совсем поздно.

Неожиданно посерди вековой, пыльной, пустотелой тишины, в которой я потерялся, раздался перелив мелодии мобильного. Я встрепенулся, огляделся вокруг, будто бы проснувшись. Сообразив, наконец, в чем дело, я испустил тихое «о» и поднялся за портфелем, затем долго боролся с застежками, едва не выронил телефон из рук; имя на экране заставило меня снова вздрогнуть, еще даже сильнее. Я почувствовал, как жжет глаза. Едва сдерживаясь, я снял блокировку и прошептал, пытаясь скрыть волны дрожи, бьющие прибоем по всему телу:

– Да, дорогая.

– Привет, – ответил мне возлюбленный голос ровным, гладким, как галька, тоном. Я почувствовал, как по щекам потекли неуправляемые слезы.

– Как ты себя чувствуешь? – сдержанно спросил я, чувствуя, как снова сладко и больно делается на сердце. От паузы тягучее наслаждение и горечь стали еще сильнее, и только через несколько тактов сердца она ответила:

– Все хорошо, знаешь...

Я рыдал все время, пока она говорила. Я плакал от того, как непоправимо и глубоко люблю ее, от того, что узнал сегодня, от того, что был пьян, и еще потому, что ее тон в самой своей глубине, которую мог углядеть только самый преданный слушатель, отдавал пряной, нереалистичной ноткой веселья. Я видел, как она едет в сверкающей машине сестры, какая на улице жара – такая, что бьет в голову, – как она иногда будто безразлично выглядывает в окно, и так ясно мог предсказать малейший ее жест, что делалось почти страшно. Она всё говорила и говорила, будто бы равнодушно, иногда вздыхала, перебрасывалась короткими репликами на хинди с сестрой, замолкала ненадолго; я мог бы вечно с замиранием сердца следить за этими маленькими действиями и слушать этот голос, переливчатый знакомый голос, голос не сломленного человека.

Я вспомнил, как уговаривал (с криками и бранью) ее лететь в Англию. О какой Индии может идти речь, говорил я? Отправляйся туда на каникулы, но работать ты там не будешь – она исподлобья глядела вверх и только молчала, и раз в час, в два, в три почти шепотом говорила, что полетит только в Дели. Я бесился, сходил с ума, думая, что она пропадет в этой прекрасной и диковатой стране; я думал, что ей нужен только абсолютный европейский комфорт. И, что же тут думать, – она снова, снова оказалась умнее, чувствительнее, любовь моя!

– Драгана, – сказал я и услышал, что мой голос почти дрогнул, – я хотел бы извиниться. Ты была права. Насчет Дели.

– Ничего, – я готов поклясться, что она сейчас улыбалась.

– Ты не представляешь, как я люблю тебя, моя маленькая девочка, – сказал я парализованным голосом, пригвожденный приступом безумной нежности. Послышался тихенький фарфоровый смешок, и в мое сердце будто бы ударил молот.

– Ну, что же ты, – только и ответила она. Несколько минут мы молчали. Я слышал разноцветный шум Дели. Как же безнадежно и счастливо я люблю тебя, моя единственная, навсегда единственная радость. Я так надеюсь, что ты выздоровеешь, поправляйся, моя красавица.

Андрей

Я думаю, что не могу желать большего.

Я достиг достаточных успехов в карьере, – конечно, я не получил Нобелевскую премию, но, по крайней мере, у меня есть докторская степень и свои достойные открытия. Помниться, поступая, я

все думал – а не совершил ли я ошибку, собираясь заниматься сложной наукой, в то время как мог попросту пойти на перспективное программирование или на более понятную инженерную специальность, но теперь – нет, я понимаю, что сделал совершенно правильный выбор. Я переехал в Лондон. Мне здесь нравится, и жить в Англии с подобной зарплатой – право, одно удовольствие. Кроме всего прочего, к сорока трем годам я выгляжу еще довольно неплохо и каждое утро все еще совершаю свой рассветный кросс по улицам, – малое достижение, но всё же я горжусь и этим. И, кроме всего прочего, – самое пожалуй, главное, – я нашел ту, ради которой можно совершать всё это.

Драгане тридцать восемь, и она, как ни странно для такого имени, тоже из России. Вообще, у ее семьи удивительная история, достойная долгого описания, – услышав ее впервые, я долго поражался тому, что бывают где-то в мире такие удивительные стечения обстоятельств. В жилах Драганы текла русская, индийская и хорватская кровь, и эта удивительная смесь придавала ее внешности оттенок нереалистичной, сказочной красоты. Все твердят, что она выглядит поразительно молодо – так оно и есть. Один мой старинный, еще университетский друг, приехавший погостить в Лондон, высказался неодобрительно о татуировках, покрывающих ее руки, но мне нравятся и они. Мне нравится в ней абсолютно все. Даже то, что она курит и любит подолгу задерживаться на работе. Мне кажется, она – чудо, которое неожиданно подарило мне небо.

Мы познакомились с ней три года назад на встрече у каких-то общих друзей. Она сразу привлекла мое внимание, но я не верил, что могу заинтересовать ее. Однако как-то так сложилось, что пару раз мы встретились почти случайно, поговорили, поняли, что находим друг друга интересными и постепенно, через полгода дружбы, стали тем, что называют неловким словом «пара». Все произошло очень уж плавно и спокойно, и я даже не успел понять, когда умудрился влюбиться в нее по уши. Поначалу, правда, мне казалось, что в ней не хватает какой-то, что ли, пылкости и страстности, но со временем, к сегодняшнему дню, понял, что большего мне в силу лет уже и не стоит желать. Наша любовь стала спокойной, домашней, мы походим на обыкновенную семью – и этим банальным фактом я, признаться, счастлив, как ничем больше.

Драгана умнее меня. Нет, это не еще одно размышление о том, что женщины сообразительнее и мудрее мужчин – что тоже, в свою очередь, правда, – это простой факт, который не стоит даже доказывать. Она – программист, но может поддержать беседу, кажется, на любую тему. Она знает подробности всех моих исследований, и иногда даже – удивительно! – может мне что-то подсказать. Я не могу не быть очарован женщиной, так хорошо разбирающейся в теоретической физике. Сама она занимает высокий пост в одной известной компании, и горжусь ей так же, как горжусь собой. Представляю, как должно быть, забавно она смотрелась лет пятнадцать назад в России: молоденькая черноглазая дамочка на каблуках, одетая по последней моде – лучший программист во всей фирме.

Драгана знает почти шесть языков. Английский, сербский, хинди, французский, итальянский, а с недавних пор еще начала увлекаться японским. Она старается научить меня французскому, и это ей удается с переменным успехом. Драгана очень много читала, и разбирается в истории так, будто это ее вторая специальность. С ней интересно гулять хотя бы потому, что непременно за прогулку она укажет на что-то своим очаровательным пальчиком и расскажет удивительную, забавную или трагическую историю, связанную с этим уголком старушки Англии. Она отлично рисует – наш дом весь увешен ее карандашными зарисовками и отпечатанными картинами с планшета. При всем при этом, она еще умеет неплохо играть на скрипке. Я думаю, что такая женщина – это дар божий.

Я, наверное, хотел бы провести с ней всю жизнь.

Почти ничего я не знаю о ее прошлом, – но, с другой стороны, зачем мне знать что-то о том, какие отношения были у нее одноклассниками в школе? Меня волнует прежде всего то, какая она сейчас. Я знаю о том, что она была когда-то замужем, но что мне до этого? Я знаю, что после университета она уже жила в Лондоне, работая, впрочем, в совершенно другой компании; потом, кажется, вернулась в Россию, дальше на пар лет – в Индию, совсем ненадолго – в Швейцарию, и теперь – снова в Лондон. Для меня переезд в другую страну был событием всей жизни, для нее, кажется, сменить один флаг на другой – не более чем въехать в другую квартиру. Иногда она рассказывает мне какие-нибудь любопытные истории из своей эмигрантской жизни, и тогда я с увлечением слу-

шаю, потому как и рассказывает она так, что слюнки текут. Два раза мы с ней ездили в Индию – в гости к ее сводной сестре, и я вспоминаю эти поездки с великой радостью. Всю жизнь я представлял себе Индию, как и большинство простаков, весьма однобоко, но она раскрыла мне всю глубину этой страны – я был сражен не столько экзотикой, сколько, напротив – современной стороной этой древней страны, непрерывно развивающейся, медленно встающей с колен. Она осталась в моей памяти сладким, жарким отпечатком, к которому я люблю возвращаться порою.

Недавно к нам заходил ее брат со своим маленьким сыном. Это маленькое очаровательное существо меня уже давно и абсолютно покорило: я не нахожу слов, чтобы сказать, чем именно он мне нравится, но в самой сущности этого создания столько радости и счастья, что я не могу не быть счастливым вместе с ним. Один его вид, неуклюже шагающего по полу, заставлял меня улыбаться. Я любовался им и думал, что хотел бы видеть в нашем доме ребенка.

Да, я говорил, что не стоит желать большего. Но одно маленькое желаньице никому не повредит. Сегодня, когда Драгана придет с работы, я скажу ей всё. Мне кажется, ей самой хочется завести детей, просто пока она мне об этом не говорит. Она любит меня, и я люблю ее. Думаю, из нас получится прекрасная настоящая семья. Думаю, она мне не сможет отказать.

Тогда я совершенно точно стану самым большим счастливчиком на земле.

Олег ДЕМИДОВ

ЖИДОВОЧКА

Рассказ

Мы целовались в метро. Мои губы гуляли от шеи к лицу, от ямочек до бровей и вниз, впиваясь в ее жадные губы. Она давала волю лицу. Я успевал ей шептать какие-то пустяки и благоглупости.

Приёмник хрипел: «Поезд едет до станции Строгино».

Сели мы на «Арбатской» и, не отрываясь друг от друга, неспешно катились в свой спальный район. Напротив нас устроились девочки – молодые и смешливые. Они, похихикивая, сначала считали наши минуты, потом, осознав, что мы заняты всерьез и надолго, переключили свое внимание на кого-то еще, потом опять – с любопытством на нас, потом – куда-то еще и вновь – на нас, с застывшим в глазах вопросом «Как долго?».

Я наслаждался процессом и вспоминал мировые рекорды. Самый долгий беспрерывный поцелуй – чуть более 30-ти часов. Самый же долгий поцелуй в принципе – 17 дней. Нам-то далеко до мировых рекордов, но мы за ними и не гонимся, а просто наслаждаемся друг другом.

Скромная девочка. Милая девочка. Мы с ней провели последние несколько дней вместе – и это было большим потрясением. Редко удается найти человека, с которым можно молчать о многом и говорить так мало о такой ерунде. А молчать, да-да! А вместе молчать о чем-то очень важном. Вместе. Молчать.

Не знаю, о чем она думала. Интересно, о чем вообще люди думают во время поцелуя и думают ли вообще? Хотел спросить ее, но отрываться жуть как не хотелось. Я задумался – дотянем ли до нашей станции? И вот она открыла глаза, вырвалась из объятий и спросила ровно то, о чем я подумал.

– Дотянем! – уверено ответил я и снова прильнул к губам.

Поезд остановился – мы продолжали.

Мы продолжали – в вагон зашли пассажиры.

Приемник хрипел: «Поезд едет до станции Строгино».

– Посмотрите-ка на них, а! – запричитала бабулька, усевшаяся рядом с К. – Лижутся, как щенки! Прелюбодеи!

Поцелуй оборвался на этой самой дурной на свете реплике. Я повернулся к старухе, чтобы рассмотреть, какое же это чудовище оторвало нас от блаженства. Неказистая русская бабка. Серая курточка, бедные джинсики и непременные огромные сумки. Рыжие волосы, крашенные-перекрашенные, деревенским чубом спадали на лоб. Круги под глазами и сетка морщин. Потухшие глаза, будто их давний костер затушил молодой пионер.

– Места другого не нашли, а! – продолжала она надрываться.

Мы отвернулись и, как и любую сумасшедшую, предпочли не замечать.

– Что она сказала? – спросила чуть слышно ранимая К.

– Ничего интересного, – ответил я.

Между тем бабулька брызгала слюной – благо поезд мчался так, что заглушал большую часть ее истерик. Пассажиры с интересом наблюдали за сценой. Такой уж у нас народ: везде надо сунуть свой нос. А што енто там интересненькае, а?

– Жидовочка! – бабулька решила почему-то всерьез заняться испуганной К. – Посмотрите на нее – ну, чистая жидовочка!

Олег Демидов родился в 1989 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского гуманитарного педагогического института. Посещал литературные мастерские Е. Вежлян. Аспирант МГПИ, мариенгофовед.

Я прижал К. к себе и прикрыл ее ушко ладонью. Зачем ей слушать всю эту грязь? Хорошо хоть не вцепилась старуха ей в рукав, например, и не пристает, и не вторгается в личное пространство. Хотя с последним я, конечно, погорячился.

Старухе я что-то ответил. Словами. Руки распускать на женщину – не дело. Даже по такому поводу. Хоть и больно хочется.

Вот, при тебе поливают ушатами грязи твою девушку, а ты не можешь ничего толком сделать. Бесноватая изрыгает проклятья: «Жидовочка! Катись в свой Израиль и там прелюбодействуй!»

Пересаживаться от нее подальше? Принципиально нет. Я вновь ей что-то ответил. Без мата. Без оскорблений. Не смотря ни на что, максимально вежливо, но уверенно и грозно.

Приемник хрипел: «Поезд едет до станции Строгино». Пауза. «Следующая станция Строгино». Как быстро доехали. Из-за этой баталии и не заметил, куда делись «Кунцевская» и «Молодежная». Из-за этой баталии и не заметил, как смолкли смешливые девочки.

Настроение испорчено. К. недовольно и устало сопит на плече. Я же демонстративно достал книгу, поднял ее так, чтобы не видеть, чтобы загородить лицо старухи. Строчки проглатывались одна за одной, а в голове крутились шалости: «Было бы совсем хорошо, если бы собой были «Американские каникулы» Лимонова, где на обложке красуется девушка с обнаженной грудью. Или его же «Великая мать любви» с секс-куклой, которая широко открывает свой резиновый рот. Или...» Было много распрекрасных вариантов, чтобы пуще прежнего разозлить бабульку.

Такое рыжее чудовище могло бы вдохновить Пушкина на образ старухи из «Золотой рыбки». Такой, наверное, представляют себе дети Бабу-ягу – нашему экземпляру не хватает только бородавки на носу да метлы подмышкой.

Яга – костяная нога. Да язык без костей. Да окостенелый взгляд. На мир.

– Последний раз я такое видела, – сказала К., – когда подобная бабулька накинулась на двух «голубков».

– Хорошая ассоциация, – говорю я.

А в моей голове другое – им же глубоко фиолетово, на кого срываться. У людей счастье. У голубых, у простых, у любых – никакой разницы. Любовь есть любовь. Я давно повторяю одну простую вещь: истинная свобода может быть только в любви и в искусстве, все же остальное – фикция и условности.

Я прижимаю к себе К. и думаю: как раз вот эти рыжие старушки и выбирают себе невыносимых царьков. Им все равно. Они рабы по своей ментальности. А всю накопившуюся злость срывают на первых встречных: изрыгают проклятья, лупят локтями, толкаются в метро и так далее. «Россия – тысячелетняя раба», – говорили в 90-х. Я до этого момента как мог сопротивлялся подобным репликам: углублялся в историю, приводил весомые доводы и аргументы, но сейчас понял, что так и есть. По крайней мере, для той части народа, в которой преобладают вот такие странные существа... существа, не знающие ничего о Захер-Мазохе и маркизе де Саде, но впитавшие их культуры насилия.

Приемник хрипел: «Станция Строгино».

Мы вышли из вагона, а вслед нам кричала старуха:

– Жидовочка! Шлюха!

Я не выдержал и обернулся:

– Заткнитесь. Иначе сброшу под поезд.

Дальше мы спешно удалились. К. заметно приуныла. Безмятежно радостная до этого девочка сейчас походила на свою фотографию в паспорте. И все из-за какой-то сумасшедшей в метро.

Жидовочка – ну-ну, уж кто-кто, а сама рыжая бабулька больше всего и походит на... евреечку. У меня даже язык не поворачивается это произнести. Откуда подобный расизм в XX веке? Но тут я понял, что, наверное, уже не стоит выделять никакие национальности, по крайне мере у нас в стране. Остались только социально-культурные статусы, в которых можно уловить какие-то отголоски прежних народностей. Жид и еврей – работящий и преуспевающий человек, которому все завидуют и на которого направлены все бесы фольклора. Русский – человек, способный на минимальные средства выжить в этой стране. Американец – забугорный человек, у которого все как будто хорошо.

Они могут и не быть евреями, русскими и американцами по национальности. Просто так сложилась судьба, и армянин, поднявшийся на торговле фруктами, а потом на торговле девочками, – теперь жид и еврей; а вон тот неудачник из средней Азии, который глушит водку, еле-еле сводя концы

с концами, ругая правительство и вспоминая то Чингисхана, то Александра Невского, – вполне себе русский; а вот этот экземпляр, выросший под Ростовом биржевой брокер, уехавший в Штаты, так забавно воспроизводящий высокие манеры и уже по ту сторону океана растолстевший от бургеров – настоящий американец.

Но все это глупости. Все чушь и суета. Мы идем с К. к ее дому. На улице ураганный ветер – нас легко сдувает. Я крепко держу-берегу ее ладошку и прорываюсь сквозь бурю. Дома нас ждет тепло, уют, горячий душ, ужин и кагор.

Она идет угрюмая и чуть не плачет. Сначала я пытаюсь все свести к шутке:

– Евреечка-жидовочка, это уже что-то новое!

Дело в том, что с такой удивительной внешностью ее принимали и за цыганочку, и за татарочку, и за монголочку. А вот евреечка-жидовочка – в первый раз.

Свести к шутке не получается – она идет как в вакууме. Я путано пытаюсь объяснить ей что-то:

– Этот народ – вымирающий вид. Перегной и, дай Бог, удобрение. Это дерьмо нации. Не интеллигенция, а вот все эти тети Люси с соседнего подъезда со своими спившимися мужьями-козлами и есть дерьмо нации. Что их слушать?

Ответом мне служат редкие косые взгляды К., но я продолжаю:

– Свобод вам? Демократии? А вы ее заслуживаете? Быдло. Самое настоящее быдло. Правильно говорят про вас – э-лек-то-рат!

К. устало выдавливает из себя какие-то намеки на полуулыбку.

– Эти богобоязненные старушки ничего не видели в своей жизни и ничего не знают, – тараторю я. – Они реагируют на сильные чувства и эмоции посторонних им людей. Сильные эмоции дразнят их подсознание. Они беснуются и бесятся.

Она как будто слушает...

– На это и направлено все современное искусство, – продолжал я. – У «Бомбил» была такая акция, когда художник Антон Николаев с девушкой устроился на крыше жигуленка и поехали по Садовому кольцу, – они занимались сексом, демонстрировали... как это лучше сказать? Черт, в русском языке нет эквивалента для этого... Они делали любовь, make love. И это прекрасно!

Я говорил ей что-то еще про Милу Йовович и ее знаменитый плакат: «Make love. Not war». Я рассказывал про имажинистов и их любимое выражение – «дразнить гусей». Я рассказывал ей про арт-группу «Война» и их коронацию третьего президента в биологическом музее. Я ей чего только не говорил, наивно пытаясь отвлечь и поднять настроение. Но – увы...

Дома, пока я согревался душем, она успела переодеться в легкое черное платье и нашла кагор. Когда я, чистый и уже обо всем подзабывший, добрался до кухни, она пела старый романс, небрежно размахивая фужером:

Нет, нет, не зажигай огня,
Целуй смелей.
Раз меньше любишь ты меня,
Сильней тогда жалей.
Мы расстаемся при свечах,
И плачут руки на плечах.
Раз меньше любишь ты меня,
Сильней жалей.

Она пела с закрытыми глазами. Тихо-тихо. Красиво-красиво. Я до этого и не слышал, как она поет. Уже почти полгода вместе, а не слышал. Кагор плескался в фужере. Ее голос, чуть дрожа, доходил мне до сердца. Им-то я и слушал, не особо вникая в слова, но вливаясь в струящийся ручей голоса. Есть непривычные чернобурые лисы, а есть вот такие кареглазые и темноволосые певчие птицы, завораживающие своим тонким и пронзительным голосом, будто сирены.

По-над потолком бегали чьи-то босые ноги, громко шлепая всей ступней, за окном надрывалась расстроенная гитара, а К. все пела старый романс. Я подошел к ней со спины, любуясь столь чудесной картиной. Неслышно сел сзади нее на табурет и приобнял за плечи. Она, не прерываясь, сонно погладила мою руку и сплела наши пальцы в иероглиф любви.

Александр РОМАНОВСКИЙ

После пожара

Недавно весь окрестный лес
Посредством дыма перелез
Туда, где львы и козероги,
Весы, тельцы и близнецы,
Плюс избранные мертвецы,
Ну и оставшиеся боги.

А здесь лишь чёрные стволы,
Которые не так милы
Тому, кто любит шевелиться
И беспардонно щебетать,
Урчать, откусывать, глотать
И не привык сдавать позиций.

И потому вся эта тварь,
Забыв приличия, как встарь
(Ну, то есть, до грехопаденья),
Перебралась в мой малый рай,
В беспечно-влажные владенья,
Где домик, баня и сарай.

И, с наступленьем темноты,
Скоты распахивают рты
И издают такие звуки,
Как будто жизнь зашла в тупик –
Из девок делают заик,
А у старух трясутся руки.

Обглодан бок у башмака,
Повсюду ямы в три вершка,
Тряпьё с помойки, чьи-то перья,
И окровавлена трава.
Выходишь ночью, так сперва
Стучи в кастрюлю, хлопай дверью.

А выйдешь в утреннюю мглу –
На каждой ветке по щеглу,
У каждого свои куплеты,
Они рассеивают дым.
И вот мы слушаем стоим –
Ты голая, а я одетый.

2011

Александр Романовский родился в 1971 году в г. Грязи Липецкой области. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Волга–XXI век», «Подъем», альманахах «Бредень», «Вавилон» и «День поэзии–2000», в антологии «Нестоличная литература» (М., 2001). Пьеса «Бедная Берта» вышла отдельным изданием в переводе на немецкий (Alexander Romanowski: Die arme Berta, Leipzig 2012). Лауреат конкурса им. В. Бурича в номинации «Поэзия» (Кострома, 2000). Живет в Воронеже.

***

А.П.

Вот я приехал на дачу. На даче
Буду сегодня один ночевать.
– Ой, погоди, тут замок заедает,
В скважине вечно вода замерзает.
Вот я приехал на дачу. На даче
Буду сегодня один ночевать.

Вот я вхожу, постучав сапогами.
Пахнет мышами и мёрзлым тряпьём.
– Ну, проходи, подыши тут немного,
Не разувайся пока, ради бога.
Вот я вхожу, постучав сапогами.
Пахнет мышами и мёрзлым тряпьём.

Вот я поленце уже расщепляю,
Комкаю старой газеты клочок.
– Ну-ка, давай, придвигайся поближе,
Скоро согреешься, да не скули же!
Вот я поленце уже расщепляю,
Комкаю старой газеты клочок.

Вот огонёк, наконец, разошёлся,
Брёвна еловые стали стрелять.
– Поосторожней! Давай-ка пальтишко,
Дырку прожечь – это было бы слишком.
Вот огонёк, наконец, разошёлся,
Брёвна еловые стали стрелять.

Где-то здесь было чуть-чуть на растирку,
Если ещё не допил домовой.
– Ну-ка, глоточек прими через силу –
Выдохни, дёрни. Ну вот. Закусила.
Где-то здесь было чуть-чуть на растирку,
Если ещё не допил домовой.

– Глянь-ка, на улице звери лесные
Рысью салазки везут расписные,
Девочкам дарят носки запасные.
Вот они! Видишь? Держи, надевай.
Нет, лучше сам я возьму эти пятки,
С ними сыграю в весёлые прятки.
Вот я приехал на дачу. На даче –
Домик с камином. Забор и сарай.

2012

***

Я одноклассников, бывших детей жестоких,
Вечно смеющихся этим собачим смехом,
Не видел лет двадцать пять.
Лишь существо у киоска, что вечно просит десятку,
Говорит мне: «Я твой одноклассник».

И однокурсников, девочек тонконогих,
Девочек крутобёдрых, полненьких и худышек
(Мальчиков уж не помню),
Я не видел лет двадцать.

Давних врагов, которых поубивал когда-то
(Ну, не буквально, то есть, я их как бы похерил),
Так давно не встречал, что даже обидно.
А мне бы хотелось ещё насладиться давнишней победой.

Женщину, которая прилетала клевать мою печень,
С регулярностью два раза в год,
Я не видел четырнадцать лет, три месяца и восемь дней.
Недавно я встретил её в социальных сетях, но, наверно, ошибся.
Не знаю.

В этом чёртовом городе куча народу,
Но каждый, хотя бы раз в неделю,
Проходит мимо центрального универмага.
То есть, если неделю стоять у центрального универмага,
Не сходя с места,
То повстречаешь всех.

2012

Маргарита ГОЛУБЕВА

***

Красное платье надену ловить быка, чёрное платье надену ловить такси, выходя на воздух из кабака – и руками по небу провести: высок колыбельный месяц, звёздчатый частокол, молочные реки, пшеничный хлебец на поминальный стол. В гробу том твоя невеста.

У страха глаза велики – а на другом берегу улицы бродячие огоньки.

Равнодушно смеются матрёшки, марионетки: какое им дело до весёленькой девочки, детки с головой на шарнире, – такими, видать, торгуют в подземном мире.

Семь пятниц в неделю да четырнадцать снов. Накрапывал дождик, да прошибал озноб, стемнело, натёрли туфли на каблуках, но вовремя ангел унёс меня на руках – и это кончилось, я закрыла глаза, и чуть вдалеке забрезжила розовая полоса. Как будто день ещё длился, и детский смех во дворе, как выписка из больницы в солнечном октябре. Катится яблочко по золотому блюдцу, время кончается – молча и в никуда. Долго ли стёкла плавятся – быстро стаканы бьются, и наступают первые холода.

Ante lucem

Ф.М.

святой Маргарите, укрощающей люцифера,
подобна вера.

колесница горит, и со всех сторон
тебя обступает небо.

«не пора ли нам, братия, всех собак
спустить на розовопёрстую Эос?»

колесница уже позади,
в сухом остатке – душа,
мы легко-легко улетим,
кошки Божьи, игрушки,
деточки-побегушки.

мчатся по небу бешеные собаки.
Эос погасла во мраке,

а они всё бегут, как на пожар.
нас обступает вьюга.

моргенштерн, мой друг, последний кошмар.
и больше ни звука.

Марагрита Голубева родилась в 1993 году в Москве, где и живет по сей день. Учится на филологическом факультете МГУ, участвует в работе семинара Леонида Костюкова. С 2011 года входит в товарищество поэтов «Сибирский тракт». Публикуется впервые.

Ноктюрн Cis moll. Ноябрь

червячок ночами сердечко сосёт:
пани не спится ночь напролёт.
а время идёт.

а не понял – так не жалей,
не понял – бей.

ты Шопен, за грудиной твоей –
вместо сердца – серебряный соловей.

темнота поцелует оконные веки,
колыхнутся под ветром ветки.

«а иной раз войдёшь в спящий дом –
я одна оставалась в нём, –

откроешь мою комнату,
положишь ладонь
на жаркое темя...

точно так сегодня
сердце моё
остановилось время.

теперь мы будем вдвоём».

Антон ПОМЕЛОВ

***

Все влияет на все
Человек выветривается за несколько часов
Кристальный храм разума не охраняем
По внутреннему телевидению идет лебединое озеро
У разных девочек отличаются песьи головы
Верхи не могут низы не хотят
Ночь проплывает в окне коринфским ордером
рождественская звезда мерцает под гимн нашиды
культура избавленная от фрейдизма
искусство, разжиревшее на отжитых мифах
заполненная карта памяти
красуется на белой стене ощущений
все на своих местах.

Хиппи хипстеру гринвуд

Посвящается Артему Логинову

Хипстер хипстеру сообщает, что нового в новой коллекции в бенетоне, интересуется, что нового в новом айфоне четыре жи, по сравнению с его айфоном и поругивает новый альбом рэдиохед.

Кажется, один из них читал в википедии, что старые хиппи были теми еще террористами-маоистами, взрывали местные администрации, не уподоблялись яппи, ели мясо, клали на будду, верили в христа, организовывали коммуны. Текст на вики, кстати, написал второй хипстер, который прочел про старых хиппи в новом романе Харуки Мураками, но для достоверности прочитал еще и новый роман Дэна Брауна и Макса Фрая и фильм норвежский лес, и там было что-то подтверждающее помимо хорошей музыки. Но на самом деле, когда он писал, его больше занимало, сильно ли отличается CS 5 от CS 5.5 и долго ли он еще будет встречаться с Мариной, у которой рожа что жопа, но она учится на виолончели, а также, что ему должны заплатить завтра за его фотосессию снятую на последнюю марку Кенона с длинным объективом, а также про зеленых и антиглобалистов, про медведева, и что оппозиция, судя по последним действиям на манежке, как сообщает оупен спейс, поднимается с колен, немного терпеть осталось и еще много-много о чем думал.

Антон Помелов родился в 1985 году. Окончил НГТУ им. Алексеева по специальности «Технологические машины и оборудование», живет в Нижнем Новгороде. Участник фестивалей «Стрелка», «Речет», «Молодой литератор». Лонг-лист поэтической премии ЛитературРентген (2009). Публикации в интернете и коллективных сборниках. Участник музыкального проекта «Kernherbst».

Sladenky

Сладенькому горько
Сладенькому х.ево в этом ё.ном на реке городе
Нигде не скрыться от*
Вернее это городу негде скрыться
Сладенький отдал бы фабрики рабочим
Богатым их деньги
Нищим их свободу
Каждому по делам
А нищим духом,
Таким как Сладенький,
Что положено что положено?

Ницше говорил, нужно жить рискуя;
Быть морем, чтобы принять в себя все потоки
И остаться чистым
Взять в рот всю скверну мира, проглотить всю боль, пройти насквозь
И очистится...
Да п.дит Сладенький,
А вы уши развесили
Ему и меньшее не под силу
Шнурки на ботинках завязать сам не может
Только хнычет жалобно по ночам, мол
*Анечка, Анечка
А х.йли толку
Да еще эту боль эксплуатирует,
Чтобы чувствовать, хоть что-то чувствовать
Правильно говорят, мудак Сладенький,
Каких мало

От редакции: *Издание в последние годы трех книг Павла Улитина (1918–1986)* и серьезные журнальные публикации его прозы привели к возникновению – через четверть века после его смерти – чуть ли не культовой атмосферы вокруг имени Улитина среди молодого поколения читателей и критиков. В связи с публикацией в майско-июньском номере «Волги» полного текста книги «Татарский бог и симфулятор» (1975) Зиновий Зиник, близко знавший Улитина с шестидесятых годов и много писавший о нем, любезно предоставил нам свой текст: отклик-воспоминание-комментарий – безусловно, важный для понимания феномена возрождения прозы этого писателя в наше время.*

Зиновий ЗИНИК

БЕЖЕНЕЦ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЭПОХИ

О современных попытках комментирования прозы Павла Улитина

История публикации прозы Павла Улитина – это, до некоторой степени, история отношения интеллектуальной элиты России к эпохе 60–70-х годов. Эмигрантские журналы того времени (свободные от солженицынского диктата) – с опытом литературной «двуязычности» и отделенности от метрополии – тут же, с первого взгляда, как это ни странно, угадывали актуальность для себя улитинской интонации, не очень вдумываясь в стилистическую загадочность и сложность текстов. Даже журнал «Время и мы» (Тель-Авив – Нью-Йорк), с его репутацией литературного балагана, еще в 1975 году сразу ухватился за публикацию коротких текстов Улитина. Журнал «Синтаксис» в Париже (он издавался на деньги из Сорбоннской зарплаты Синявского) в 1980–90-е годы напечатал – с распространенным предисловием – большой текст «Бессмертие в кармане» и главу «Собака трижды героя» из книги Улитина «Разговор о рыбе». А фрондирующий и эпатажный журнал «Мулета» в Париже (сплотивший вокруг себя поклонников Эдуарда Лимонова) в 80-е годы сделал замечательный набор – с воспроизведением улитинской полиграфии – «Разговора о рыбе», но на издание не хватило денег.

Провальный – для репутации прозы Павла Улитина – период с конца 1990-х годов был связан не с тем, что Улитин был «никому не известен», а с крайне негативным, чуть ли не враждебным отношением российской литературной элиты к той эпохе эмигрантского инакомыслия. На целое десятилетие, вплоть до середины «нулевых», восторжествовала эпоха «нового патриотизма» – единства интеллигенции и правительства, фальшивая аполитичность, апологетика успеха и размаха, православия и славословия, презрения ко всем тем, кто не попал на личную яхту и вертолет современности. Следует лишь восхищаться героическими усилиями (и в первую очередь, Михаила Айзенберга и Ивана Ахметьева) в публикациях Улитина в ту «нулевую» эпоху. Судя по всему, это время – с фунтом (или долларом) презрения и нулем внимания ко всему «диссидентскому» – себя, вроде бы, исчерпало. Температура перевалила за «ноль», и, пока поднималась с колен путинская Россия, возродилась и новая кружковщина – вся эта «диссидуха и демшиза», как и круг новых поклонников «лузера» Павла Улитина.

Я впервые увидел Улитина в 1964 году (то есть, ему тогда было 46, а мне 20 лет, если не ошибаюсь) в небольшой группе друзей – в ожидании Асаркана у газетного киоска на Пушкинской площади рядом со зданием «Известий». В этом киоске по пятницам продавался свежий выпуск

* *Разговор о рыбе. – М.: ОГИ, 2002;*
Макаров чешет затылок. – М.: Новое изд-во, 2004;
Путешествие без Надежды. – М.: Новое изд-во, 2006.

«Недели» (оплот либерализма той эпохи, на закате смещения Хрущева), где Александр Асаркан – театральный критик, резонер на подмостках жизни, автор почтовых открыток-коллажей и бродячий философ – подрабатывал короткими эссе про кино и театр.

У всех на шее были одинаковые шарфы, и все мерзли у киоска в очереди за «Неделей», но это уже было в книге «Макаров чешет затылок»[*].

«Кто это?» – спросил я на следующий день Асаркана, впервые услышав у газетного киоска иронический монолог Улитина. Он завораживал своими перескоками и одновременно парадоксальным комментарием всего, что происходило в тот момент прямо у тебя на глазах. Асаркан, мой ментор, которому я подражал буквально во всем, ответил мне с поразившей меня тогда скромностью: «Это великий человек, мой, можно сказать, литературный учитель, наш Джеймс Джойс».

Завсегдатай библиотек, подрабатывавший частными уроками английского, по манерам и в одежде (старый пиджак и галстук) Улитин напоминал скромного британского университетского человека той эпохи. Джеймса Джойса Улитин, естественно, изучал и цитировал. Но проза Улитина – это вовсе не «наш Джойс». В «потоке сознания» Джойса акробатически плавают вполне узнаваемые каждым дублинцем характеры, тут есть драматические столкновения персонажей и повороты сюжета с аллюзиями на древнегреческий миф. Ничего подобного в подборках улитинских текстов не найдешь. Тут нет динамики традиционной прозы. Это поэтическая логика, выстроенная через повтор, ассоциацию идей, по музыкальным принципам рефрена и отзвука в подтексте. Этот подтекст рождается спонтанно, самим процессом чтения, как при слушании музыки. Это была школа угадывания на ходу случайной логики и законов хаоса в словесном шуме. Но, тем не менее, голос автора – его облик – вполне отчетлив: это голос человека, как во сне проходящего через эпохи и поколения, вслушивающегося в театр человеческой речи с огромным опытом прошлого, чей иронический ум невозможно обмануть. В наше время – новой волны фальшивого патриотизма и демагогии, полной разрозненности и желчного недоверия друг к другу, – мы ищем голос, в чью чистоту интонации, независимость, в чью *свободу* мы способны поверить. Именно таков голос Улитина. Мы доверяем этому голосу, потому что мы знаем: этот человек больше не боится ничего потерять – ни своей прошлой репутации, ни своего фиктивного будущего. Остается лишь «психоз маниакально-депрессивный превращать в ликующий театр» (я цитирую пародийные вирши Александра Асаркана).

И это был театр в движении, ставший для Улитина «работой в движении»: WORK IN PROGRESS (такие вывески появляются на британских улицах или учреждениях, где идут ремонтные работы) – так называл свою позднюю прозу Джойс. Это была работа в движении разговора – движении в буквальном смысле тоже. Под предводительством Асаркана мы обычно двигались по знакомому маршруту вдоль улицы Горького с заходом в разные заведения, с уходами в сторону. В Москве было несколько точек и маршрутов, по которым и курсировал Улитин (и его проза) в те годы. Встречи у киоска «Недели» заканчивались «пятницами» у шелкографа и знатока женщин-народоволок Виктора Иоэльса. По воскресеньям собирались у Яна Кагана, специалиста по землетрясениям. Уже позже, когда мы сблизились с Улитиным, он садился за мою пишущую машинку «Олимпию» и отстукивал стенограммы – наполовину выдуманные – в хаосе галдящих голосов под звон стаканов с монологами Асаркана прямо во время «четвергов»: сначала у меня в комнатушке коммуналки на Пушкинской улице (угол Копьевского переулка, в этом доме сейчас новое помещение Большого театра), а позже в квартире на Преображенке. Когда встреча с ним происходила в кафе (не только в отживающем свои дни «Артистическом», но и в «Лире», где потом возник Макдональдс, или даже в забегаловках, вроде кулинарии «Москва» или магазина «Чай», куда нас таскал Асаркан), рядом на столике всегда были наготове несколько записных

** Курсивом в этом тексте даны цитаты из книги Павла Улитина «Татарский бог и симфулятор» (1975). – См.: «Волга», № 5-6, 2012.*

книжек, сложенные вчетверо странички, вырезки из газет, английские книги с закладками. В начале семидесятых годов Улитину подарили на год абонемент (на двоих) в бассейн «Москва» (сейчас – храм Христа Спасителя), и я стал получать от него мистические приглашения по почте: «Четвертый четверг каждого месяца у четвертого павильона». Так начались странные литературные сессии во время плавания, а потом с бутылкой пива на лавочке в парке рядом. В этом была не то чтобы игра – это было создание у тебя на глазах другой реальности, из твоих же собственных слов. Записанные на ходу реплики, цитаты, идеи складывались, как в игре в *буриме* (в «чепуху»), в некий занимательный текст, где твои слова мелькали в самом невероятном окружении. По опыту я знаю (я просто видел, как создавались эти тексты): Улитин подсказывал своими репликами еще неосознанный собеседниками смысл хаотического разговора, рождающийся (как направление ветра в прогнозах погоды) в ходе импровизации. Это были шпаргалки, суфлерские подсказки и заготовки к монологу. Из них создавался импровизированный текст – тут же непосредственно для вас, но еще и для другого личного собеседника на следующей неделе, где фигурировали те же фразы, но в другом окружении. Эти тексты предназначались не просто для чтения. Они озвучивались голосом автора. Их надо было слышать.

В гостях, вне личного разговора, эти монологи-импровизации были театральным актом, перформансом. Его поза менялась как бы с каждым абзацем – он откидывался на стуле, выпрямлялся или лениво откидывался, клал ногу на ногу или наоборот склонялся над столом. Он снимал и надевал очки, откидывал челку, складывал губы бантиком, вытягивал их в трубочку, поджимал губы, кривил рот диктаторской агрессивной щелью. Вместе с этими метаморфозами внешности менялась и интонация, тембр голоса в подаче этих текстов, и постепенно до тебя доходило, что он разыгрывает – имитирует – маньеризмы и ужимки общих друзей и знакомых, чью пародийную речь он в тот момент (абзац) воспроизводил в своем монологе.

«Разговаривая со мной, он разговаривает с кем-то еще, а с кем? Это я никак не пойму». Похоже. Похоже на открытое письмо. Обращаясь к одному, он еще пишет другому и имеет в виду кого-то еще, Вы сами знаете кого. Я получил ответ на «До нас все доходит». Но вот вопрос: когда захочется писать ответ?

Вы можете сказать: я персонализирую – персонифицирую – Улитина. Да, конечно. Когда я вижу цитаты из самого себя, само собой понятно, что он провоцирует меня на диалог – он ждет от меня письма, реакции на неожиданный контекст моих же слов. Я же не утверждаю, что все его книги имеют отношение исключительно к моей персоне. Для разных читателей одной и той же фразы придумывался новый контекст. От этого такие пересечения общих текстов в разных книгах – потому что одни и те же тексты по-разному воспринимались разными людьми в разном окружении. Смена контекста для одного и того же мотива в прозе Улитина это и есть сюжет.

«Запомни!» – кричал мне (кричал!) Асаркан, выскочив на улицу после очередного скандала с Улитиным в кафе «Шоколадница» на Пушкинской улице. «Запомни: сущность этого человека, – он ткнул пальцем в сторону Улитина, – продавать!»

«Я бы готов продать, – пробормотал Улитин, – только никто не покупает».

Но если бы вы заглянули в эти страницы, так возмутившие Асаркана, ничего «продажного» по отношению к нему вы бы там не вычитали. Скорее, обнаружили бы там цитаты из самого себя – и не самые лестные. В какой-то момент, в конце шестидесятых, Улитин стал относиться ко всему, что он пишет, с фатальной легкостью. После арестов и обысков своей жизни, он был уверен, что пропадет все, что не останется как личный документ. Это как открытки Асаркана: у него коллажи-заготовки выдерживались месяцами под прессом, к ним добавлялись разные детали, приписывались фразы разными фломастерами, пока, наконец, он не понимал, кому, на самом деле, имеет смысл отправить тот или иной почтовый коллаж. Каждая подборка изначально предназначалась конкретному читателю, а этот читатель должен был сначала стать личным собеседником. (Такой вариант Facebook.) Зная это, постоянные собеседники Улитина воспринимали все его подборки



Слева направо: Улитин, Айхенвальд и Асаркан
на платформе после освобождения из ЛТПБ (1954?)

чисто лично: вычитывали, не без основания, лишь свои собственные слова, интимные секреты и инсинуации (будем называть их аллюзиями) на свой счет.

Она умеет внимательно слушать. Она умеет играть и слушать. Когда вдруг: «Тут все про меня!»

«Читать Улитина сложно, его тексты кажутся непроницаемыми, зашифрованными, это обращение к самому себе, а не к читателю, это головоломка, чуть ли не каждая фраза которой нуждается в комментарии» (Дмитрий Волчек). Но эта сложность и интригует, поскольку «сложное понятней им» (Борис Пастернак). Его проза выдается за загадочную, чуть ли не мистическую шифровку, хотя там все конкретно в цитатах из личных разговоров как ответы на ходу в общении с ближайшим своим окружением. Сюрреалистичность, надмирность, незавязанность текстов Улитина в реальности – иллюзорна, если отказаться от традиционного понимания «связности» текста. («Иллюзион» – так назывался кинотеатр повторного фильма напротив библиотеки Иностранной литературы, куда регулярно ходил Улитин.) Я знаю, что методика анализа текста с попытками разгадать некий мистический механизм словообразования – с описанием законов «поэтики» этих текстов и «оптики» видения автора (как бы изнутри и вне политического контекста вещи) была крайне распространена в просвещенных московских кругах восьмидесятых годов. Тут повинны и Шкловский, и Деррида. В разговоре об Улитине очень легко впасть в эстетизацию его фигуры – якобы чудака-одиночки, непонятого современниками из невероятно уникальной манеры письма, стилистической революции в русской прозе. «У нас многие начинающие авторы так пишут», – сказали ему в «Новом мире», отклонив его рукопись в эпоху хрущевской оттепели. «Я не начинающий – я кончающий», – сказал в ответ Улитин. Или так, по крайней мере, он мне рассказывал о той единственной попытке публикации в «Новом мире». У этой истории существуют разные версии, но одна и та же мораль: Улитин прекрасно осознавал, что принадлежит к некой школе прозы, чьи имена и традиции были явно неведомы редакционной даме старого советского мира.

Комментаторы справедливо (с моих же, собственно, слов) упоминают, что Улитин иронизировал над гражданственным пафосом неофициальной литературы той эпохи и, в частности, сво-

его друга поэта Юрия Айхенвальда (Улитин, Асаркан и Айхенвальд сблизились во время заключения в начале 50-х годов в Ленинградской тюремной психбольнице). Тут следует уточнить. Над поэзией Айхенвальда никто не иронизировал. (Многие ранние стихи знал наизусть даже главный «заклятый друг» поэта – Асаркан, а строчки «Как сообщает сводка погоды: завтра не будет чудес природы...» цитировались как поговорка в этом кругу.) Улитин мог эти стихи пародировать в цитировании, но считал эти пародии комплиментом Айхенвальду. Кроме того, следует добавить, что ирония эта исходила от сообщника по этой самой «гражданственности». В досье Улитина – антисталинская записка лектору и членство в самодельной Ленинской партии (первый арест и тюрьма), жизнь на оккупированной гитлеровцами территории, где его чуть не расстреляли, безумная попытка в начале сталинских пятидесятых пройти в американское посольство с авоськой рукописей, притворяясь иностранцем (второй арест и тюремная психбольница), обыск в эпоху Хрущевской оттепели (Улитин никогда сам не подходил к телефону в коридоре коммуналки в Савельевском переулке, потому что всю жизнь ожидал звонка из КГБ о судьбе своих рукописей). Одним из клана личных читателей Улитина и регулярным интеллектуальным собеседником в шестидесятые годы был для Улитина Александр Есенин-Вольпин – парадоксальный гений математической логики, поэт не менее гражданственный, чем Айхенвальд, но в пародийном ключе («Как-то раз в разгар террора, я читал Томаса Мора...») и патриарх диссидентского движения в России, автор легендарной «Памятки»: о том, как вести себя на допросах. И Улитин, и Асаркан действительно иронизировали над гражданским пафосом – но не столько самого Айхенвальда, сколько его окружения, активистов, которых – вслед за западной журналистикой – стали называть диссидентами (религиозный, кстати, термин). В Москве политические активисты из интеллектуальных кругов изначально фигурировали как «инакомыслящие». Ирония Улитина была каламбурной: инакомыслящие в своей массе говорили с враждебной (всем нам) системой на ее же языке. «На том же языке тем же языком» – вот чего не принимал в идеологии протеста Улитин. Этот отказ говорить с врагом на его языке и приводил к «театру для себя» – у Асаркана в жизни и в его самодельных коллажах-открытках с хроникой ежедневного быта, а в прозе Улитина – в его стенографическом макароническом стиле «абстрактной прозы».

Это вовсе не школа «советского подполья» или «андерграунда», «контр-культуры». Подобные современные дефиниции подразумевают существование официальной культуры, точнее, что эта культура представляла собой нечто органическое, чему можно принадлежать или быть ею отвергнутым. Но вся эта советская потусторонняя официозность существовала лишь постольку, поскольку периодически в нее можно было протащить нечто реальное: стихи Шаламова, роман Булгакова, перевод Тёрбера. Нового знакомого, называвшего себя при встрече поэтом или прозаиком, ты принимал как поэта или прозаика; ты не спрашивал, где этот человек был напечатан, в каком официальном органе. Ты мог «слышать» о нем от друзей или «не-слышать», встречать в публикациях самиздата или нет. И даже это не являлось критерием качества прозы или поэзии: это было открытое пространство, где каждый день мог привнести в твою домашнюю библиотеку самиздата новое имя.

У меня вызывает внутренний протест иллюзорный образ Улитина как одинокого чудака чуть ли не из довоенной эпохи, исключенного из литературного общения своих современников, натерпевшегося при сталинизме, отвергнутого редакционной элитой даже в хрущевскую оттепель и совершенно забытого в эпоху брежневского застоя. Это плакатное отношение к прошлому: вокруг размахивали лозунгами диссиденты, гебисты заводили на них дела, а конформисты отсиживались в учреждениях. И только Улитин, мол, отгородившийся от политической суеты цитатами из иностранной литературы, смог остаться ироничным мыслителем, одиноким певцом личной свободы. Но это не совсем так, а может быть, совсем не так. Традиция, в которой работал Улитин, была хорошо известна в «малых кругах» Москвы той эпохи. Был круг близких читателей, собеседников. Только полуграмотная толпа создает легенду об одиночестве гения, о неповторимости его героизма – чтобы как-то оправдать свою бездарность и политическую пассивность. Франц Кафка в ежедневной жизни был интеллектуально и литературно не менее общителен, чем Пуш-

кин. Гений может быть и одинок, но не в том смысле, в каком это понимает интеллектуальная чернь.

В связи с этим я считаю, что название замечательного мемуарного эссе Айзенберга об Улитине (Айзенберг стал регулярно встречаться с Улитиным после моей эмиграции из России в 1975 году) «Учитель без ученика» – при всей своей запоминающейся афористичности – ошибочно: оно подчеркивает именно этот образ одиночки и несколько дезинформирует читателя, пытающегося разобраться в атмосфере общения тех лет. Сама фраза из названия возникла в связи с цитатой из Бернарда Шоу, где драматург настаивает, что он, мол, не учитель, он лишь дорожный указатель – он указывает направление в дороге жизни. Именно эту цитату прислал мне Улитин где-то после первых же встреч с ним. Он довольно быстро стал обыгрывать в своих разговорах и текстах мои метания между школой итальянского языка Асаркана и его, Улитина, английским. (Оба говорили на этих языках свободно.) Случайным образом, получив открытку Улитина, я наткнулся на цитату из Сталина (не могу ее сейчас отыскать в архивах), где вождь отрекался от звания Учителя, поскольку он сам – лишь скромный Ученик (Ленина). После этого и пошли бесконечные вариации этой темы в почтовой переписке между нами. У Улитина может быть и не было учеников, но всегда были (и есть) те, кто работал в том же стиле. Я бы не называл себя учеником Улитина, хотя в эпоху сознательного подражания улитинской стилистике я произвел на свет три трехсотстраничных тома: «В ожидании Похлебкина», «Четвертая чашка чаю» и, перед самым отъездом на Запад, вполне читаемые «Четвергазмы». Эти книги-подборки я никогда не пытался печатать, потому что, оказавшись на Западе, сознательно «переродился» в другую стилистику и в другие сюжеты. Однако из этой коллекции хроник-стенограмм той эпохи я периодически краду у себя самого целые страницы.

«Но я не коллекционирую четвергазмы». – «Напрасно. В этом Ваша ошибка». (Я имел в виду «Вы останетесь в истории только благодаря ЧЕТВЕРГАЗМАМ».)

Нельзя к этому привыкать, будет трудно бросить. Это как новый богдыханский чай. Человек, отведавший такого чая, уже не может возвратиться к старому напитку. Сказки брата Похлебкина, вы ему не верьте. Это он все сам придумал. Ну хорошо.

Я не верю, что Улитин чувствовал себя учителем без учеников. Он не был одиночкой по своему литературному темпераменту: он всех приглашал в со-авторы. Он не был Сталиным «советского андерграунда». И дело даже не в конкретных учениках и последователях из круга его интенсивного общении в Москве. Улитин, ежемесячно, если не еженедельно посещавший библиотеку Иностранной литературы, не мог не знать о существовании Нью-Йоркской Школы Почтовой Переписки (The New York Correspondence School). Практически в то же десятилетие, что и мое близкое общение с Улитиным (с середины 60-х до середины 70-х) создатель этого движения, Рэй Джонсон (Ray Johnson) занимался именно тем, чем занимались Асаркан с Улитиным – рассылкой друг другу почтовых коллажей и стенограмм ежедневного общения друг с другом. (Улитин любил цитировал Рэйя Джонсона, говоря о собственном статусе в литературе: «Самый знаменитый из совершенно неизвестных».) Эту корреспонденцию каждый из получателей должен был передавать дальше по цепочке. Это был своего рода американский самиздат, но только вместо четырех копий на пишущей машинке использовалась копировалка (Xerox). Улитин упоминает в текстах и имя Уильяма Бэрроуза (William Burroughs). Бэрроуз разрезал классические тексты и свою собственную прозу, а затем склеивал кусочки в другом порядке, часто произвольно, как бы разрушая диктат классических канонов.

Ничего нового не надо придумывать. Ляпать клеем и шить белыми нитками старым испытанным способом. Километрами заготавливать черновики и пудами писать прозу в жанре «в сумочке можно хранить».

Меня поразило распределение абзацев у книги Сартра про войну и мир: как будто нарочно клочки бумаги, маленькие клочки, были в разных местах, а соединял не он, а машинистка. Подумаешь, ритуальное соображение, но оно и должно входить в ритуал.

Недавно я видел документальный фильм о дешевеньком парижском отеле, вошедшем в историю как The Beat Hotel, где на несколько лет (в конце пятидесятых годов) обосновались битники – Гинзберг, Орловский, Бэрроуз. Главный рассказчик в этом фильме, английский фотограф Гарольд Чапмэн (Harold Chapman) – он создал легендарную серию фотографий битников в Париже – лично наблюдал, как возник этот метод «разрезок» (cut-ups) Бэрроуза. Его приятель-художник Брайен Гайсон (Brian Gyson), монтируя свои картинки, подкладывал для разрезки на столе толстую пачку газет. Однажды, взглянув на вырезанные «окна», возникшие под монтажным ножом в кипе газет, он увидел, как газетный текст из одного слоя сливается с текстом из другого, верхнего слоя. Случайное сопоставление двух текстов из разных контекстов создавало новый завораживающий своей парадоксальностью текст. Бэрроуз тут же взялся тем же методом перерабатывать Шекспира и свой собственный роман Naked Lunch. Улитину – с его опытом переплетчика – эта метода явно была близка.

Стенограмма разговора (в большинстве случаев по памяти или собранная из записей на клочках, ресторанных счетах, салфетках) разрезалась на кусочки, а потом заново склеивалась в другом порядке. Это и называлось «уклейка» (была такая мелкая рыбешка – отсюда, отчасти, название одной из книг Улитина: «Разговор о рыбе»). К перепечатке этой «уклейки» на машинке в смеси с другими цитатами добавлялись от руки новые цитаты, а потом эта рукописная книга-коллаж перепечатывалась в единые тексты, и уже из них составлялись подборки. Может быть со стороны, изнутри московской жизни, это казалось цирковым номером и домашним театром, но Улитин знал, что он – стилистически – часть некого процесса, некой школы мышления, известной в истории литературы как Situationism, Neo-Dada, Mail-Art, Fluxus, Neoism. Были, конечно, предтечи этого метода и в российской литературной традиции. Улитин многие годы не расставался с «Письмами не о любви» Шкловского (с его техникой монтажа), в той же степени, в какой Асаркан культивировал «Театр для себя» Николая Евреинова.

Проза Улитина чуть ли не полувековой давности удивительным образом – по ритму – совпала с современной эпохой обмена короткими (как в диалоге) обрывками идей и эмоций в электронной почте или текстами по мобильнику. Такое можно без труда проделывать сейчас с клипами и выхваченными с экрана компьютера текстами из собственных архивов (copy&paste). Сам Улитин занимался этим с помощью ножниц и клея. Без компьютерной техники издание книг Улитина с их игрой в композицию текста на странице было бы в сотни раз дороже. Но шестидесятые-семидесятые годы были сами по себе эпохой новой технологической революции и, вместе с этим, поэтизацией новых доступных средств размножения собственного слова. Допотопность этой техники лишь обогащала сюжетную канву общения. Однажды в его комнате в Савельевском переулке мы не смогли сесть за стол, потому через всю комнату была протянута черная лента, шириной чуть ли не с ладонь. Где Улитин достал ее, не помню, но занимался он разрезкой ножницами этой ленты на две части: лишь урезанная чуть ли не втрое лента подходила для его нестандартной английской машинки. Так они и стояли – бок о бок, в параллель: слева машинка с русским шрифтом, рядом, на другом столе – английская машинка. Отсюда и возникла русская фраза, напечатанная латинским шрифтом на английской машинке: АСАРКАН НЕ АРЕСТОВАН. Я был настолько заворожен этим открытием, что тут же на месте, на улитинской английской машинке, сочинил целый мини-текст этим методом, начинающийся с фразы: ЕВРЕЕВ В КОСМОСЕ НЕ ХВАТАЕТ. (Эти русские фразы латинскими буквами – мои упражнения из серии «Четвергазмы» на его английской машинке – и воспроизводит в своем тексте «Татарского бога» Улитин.)

КОЕ-КАК ОНА НЕ ВРЕТ. Just what I told you. ВРЕМЕННО. But what do I get out of it? САМОВАР НЕ АРЕСТОВАН. Thank you very much. As if I didn't know. No news for me. КОЕ-КАК, НО ОН СЕЕТ

СЕМЕНА. And what I told you? But I told you the same 7 years ago. ВАС НЕ ХВАТАЕТ В КОСМОСЕ. I don't know what it means, but I didn't mean it. Silly old tart. КВАСА ХВАТАЕТ. А у Вас? 20.11.75

Большинство пишущих машинок в Москве 60-х годов были немецкие – награбленные («трофейные») из Германии. Шрифт переделывался на русский. Таким образом у русского текста был иностранный подтекст. Как у венгерских кофеварок, возникших в Москве в конце шестидесятых, был подтекст последствий венгерского бунта против советской империи. Об эксцентричных выходках и прихотях своей пишущей машинки Асаркан сочинял длинные монологи в почтовых открытках. Серия открыток Асаркана (и текстов Улитина) той эпохи обыгрывает и проблему регулирования давления в кофеварке домашними методами как политический кризис в СССР. После эпохи первых венгерских кофеварок была эпоха чая – с японской методологией заварки зеленых чаев («Японский бог!» – восклицание Улитина). Вместе с появлением первых магнитофонов возник устный самиздат – вся культура гитарных бардов. У меня в конце концов появился в комнате на Пушкинской улице магнитофон. (Вместе с Александром Меламидом и Владимиром Ивановым мы придумали фиктивного барда по имени Зиновий Воас и сочинили его репертуар: так я и познакомился с Асарканом, а через него с Улитиным в начале 60-х.) Это была революция. Можно было взять катушку с пленкой и записать на ней весь текст, вместо того чтобы просиживать днями за пишущей машинкой. У меня осталась запись – на несколько часов – надиктованных Улитиным книг. Он был загипнотизирован этими возможностями – как, впрочем, и их тотальной эфемерностью: стоит нажать кнопку, и весь твой труд, вся твоя жизнь мгновенно исчезали, превращались в ничто, в пустую пленку. Ты как писатель мог быть уничтожен в любую секунду.

Все эти технические чудеса копирования, размножения, распространения сводились для Улитина к одной идее в его прозе – мотиву имитации (копия и оригинал), повторяемости, вторичности, и – эхом к этой теме – к мотиву двойников. (Сам Улитин, с его методом цитирования чужих книг, обладал еще и даром каллиграфически имитировать чужой почерк.) В легендарной истории знакомства Улитина с Асарканом в столыпинском вагоне поезда на пути из пересыльной тюрьмы в Ленинградскую тюремную психбольницу (в 1952-м году), многих комментаторов Улитина поражает тот факт, что его монолог в поезде продолжался (со слов Асаркана) без перерыва целые сутки. Но дело не в самом этом поразительном по своей продолжительности монологе, а в концовке этой встречи. Асаркан сказал Улитину: «Я все это запишу. Это звучит как новый роман». На что Улитин сказал: «Спасибо. Записывайте. Я все это возьму, скопирую и буду использовать в собственных книгах». В том же духе Улитин вклеивал в свои рукописи страницы моей (и других «учеников») подражательной прозы. Иногда трудно понять, кто тут автор, кому принадлежат те или иные слова. Потому что в общем разговоре это неважно.

«Где у Гудзия сказано, что Бесы – это роман номер один?» Разговор через 22 года тоже. Когда он сказал? Это сказал не Гудзий, это сказал Павел Улитин, но из скромности в 1944 г. приписал это Гудзию.

Ладно. Асаркан – это псевдоним Улитина. Герцен кончился, теперь главный – Огарев. По ком звонит «Колокол» в Лондоне.

Когда в начале семидесятых годов в Москве начались полуграмотные религиозные диспуты и первые серьезные разговоры об отъезде из России, я стал интересоваться неведомой мне библейской тематикой. Тогда я впервые и увидел страницу Талмуда. Каждая страница еврейской Библии окружена комментариями, разъясняющими текст. Талмуд – это комментарий к этим классическим комментариям. Мистический комментарий к Талмуду и Библии стал Каббалой. И конца этому процессу комментирования не видно. У меня, в ту эпоху совершенно неосведомленного об истории еврейства, страница талмудического текста с комментариями вокруг одной строчки Библии вызвала не ностальгию по подсознательному иудейскому прошлому, а более конкретную

радость узнавания: так выглядели машинописные тексты Павла Улитина. Улитину сравнение с Талмудом страшно понравилось.

Асаркан предупреждал меня, что автобиографическим историям Улитина следует доверять с разными оговорками. Улитин сопоставлял, пересочинял, соединял чужой опыт со своим собственным в единый гипнотизирующий монолог в разных вариантах в зависимости от ситуации и собеседника. В свою очередь я, в разных своих мемуарных сочинениях и разговорах о московском общении в ту эпоху, пересказывал со слов Улитина ключевые эпизоды его жизни*. Не то чтобы я откровенно что-то присочинял в пересказе этих историй, но память инстинктивно отсеивает – отбирает – в зависимости от индивидуальности рассказчика определенные детали и интонации. Мы, как всем хорошо известно, заглядываем в прошлое через очки настоящего. Мои эмигрантские эссе-истории об Улитине, как и, лет двадцать спустя, московская эссеистика Айзенберга о нем (я в Иерусалиме 1975 году получал гениальные отчеты-стенограммы от Айзенберга и Лены Шумиловой об их встречах с Улитиным – без меня) цитируются без ссылок как некие само собой разумеющиеся биографические факты об Улитине; или же как собственные интуитивные догадки комментатора. Или же тот, кто их цитирует, скорей всего знает оригинальную версию из вторых уст, из пересказа, а сам ничего не читал; или же считает, что эти идеи и соображения об улитинской прозе – нечто само собой разумеющееся. Люди, никогда не знавшие Улитина, интерпретируют эпизоды его биографии в своем духе, что вполне закономерно: с этими историями произошло то, что происходит с рассказами о всех наших легендарных современниках. Память о человеке отражает и характер того, кто вспоминает. Фотография пулеметчика включает тень фотографа. Надо быть благодарным этим теням и искажениям. Это хорошо. Так и надо. Так рождается миф. В моем последнем разговоре с Улитиным перед отъездом из России я спросил: «А что останется?» И в ответ мне было сказано: «Останется легенда». (Именно легенда, а не миф. Слово миф по-русски – это двусмысленное слово.)

Главным образом книга про Улитина. Но для этого Улитин должен умереть. Он так и сказал Улитину. А Улитин ему опять: «Не хочу чтобы ты умирал». А он ему: «А я хочу». Но это же было на четверге, как же ты не помнишь?

Он будет делать свои собственные ошибки. Он может быть напишет «Павел Улитин как зеркало европейской революции».

Бессмысленно формулировать «о чем» тексты Улитина, но можно прояснить мотивы и мотивировки конкретной боли и обнаженности его прозы. Со школьных времен мне всегда интересней был разговор: положительный ли герой Евгений Онегин или отрицательный – а вовсе не вопрос о роли синекдохи в пушкинской просодии. Ряд комментариев в обсуждении прозы Улитина – и в частности И. Ахметьева и О. Рогова в публикации «Волги» – уникальны. Совершена огромная работа по розыску источников улитинских цитат и скрытых аллюзий. Есть, конечно, и тут упущения и промахи, но они поправимы. Однако и здесь, как и в новой эссеистике об Улитине вообще, игнорируется нечто крайне существенное: а именно, разъяснение контекста, в котором создавалась та или иная подборка текстов Улитина. Диккенса до сих пор увлеченно читают в Англии не только потому, что он создал занимательных персонажей, но еще и потому, что сама викторианская эпоха хорошо знакома современному читателю: мы знаем, что обыгрывает в своих эксцентрических жестах Диккенс, какие табу нарушает, где нам подмигивает. Российский ужас состоит в том, что тут всё надо периодически начинать сначала и всё повторять заново для каждо-

** См.: Приветствую ваш неуспех («Синтаксис», №32, 1992);*
Личное дело врачей («Синтаксис», №34, 1994);
На пути к Артистическому («Синтаксис», №35, 1995);
Кочующий четверг (в книге П.Улитина «Путешествие без надежды», М., 2006).

го поколения. Из восприятия Улитина его недавними интерпретаторами убирается контекст его прозы. В случае «Татарского бога и симфулятора» – это эпоха семидесятых годов, пик «третьей волны» эмиграции из России – конец моих «четвергов» (я уехал в январе 1975), где Улитин бывал каждую неделю.

Даже под конец оттепели, в эпоху ужесточения хрущевского режима и в начале эпохи брежневского застоя, все еще была надежда – возникшая в революционные (и в СССР, и в Европе) шестидесятые: надежда на то, что коллективными действиями и письмами протеста (как и сейчас, в эпоху ужесточения путинского режима) можно договориться с властями, переубедить их, направить по правильному пути. Это была эпоха гражданского неповиновения. Выход поэтессы Горбаневской к Лобному месту с детской коляской в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году был столь же провокационен и концептуален, что и недавний панк-молебен в храме Христа Спасителя: тут было эхо студенческих баррикад Парижа и американских маршей протеста против войны во Вьетнаме. Письма протеста с сотнями подписей шли по почте в Политбюро с копией в ООН или на Би-Би-Си параллельно с мэйл-артом Рэя Джонсона и коллажами Асаркана. К семидесятым годам все попытки диалога с властями потерпели крах, и в кругах интеллигенции утвердился или конформистский пессимизм, или же пародийное отношение к тотальности отжившей идеологии (соц-арт). Альтернативой к этой политизации жизни был уход в религию или уход вообще (эмиграция). Это была эпоха интенсивного личного общения в каждом из дружеских кланов – и полной разобщенности, конфронтации на идеологическом уровне разных кругов. Это была эпоха отъезда в самом широком смысле слова: в христианство, в иудаизм, за границу – за границу постылого ежедневного быта. Надо было что-то делать. Оставаться нейтральным было больше немыслимо.

Да, она, конечно, пойдет. И ее конечно встретят. «Сахаров ест». «Григоренко освобожден». «Литвинов вынужден уехать». Список пропущенных телеграмм. За одно число 962 страницы, это такой мировой рекорд, он никому не нужен и никогда не повторится. Андрей в Ватикане по веревочке бежит. В Вене, сказать откровенно, ему было еще лучше. Валютный спектакль. Для нумизматов сенсация. Но тут на набережной толпились марочники, а не нумизматы. Стершийся пятак я подарил автору русской сказки.

Тут следует прокомментировать название книги Улитина в июньской «Волге»: ТАТАРСКИЙ БОГ И СИМФУЛЯТОР. В этом заголовке, скорей всего, действительно содержится аллюзия на Демьяна Бедного в тюбетейке из записных книжек Ильфа и Петрова (так считает Айзенберг – и ему следует доверять). Но в литературном словаре Улитина «татарский бог» – это в первую очередь аллюзия на онегинского «русского бога» («Барклай, зима иль русский бог») и на стандартную – в ту эпоху – интеллигентскую подмену матерного *твою мать* «японским богом». (У Улитина есть текст «Японский транзистор».) А еще прямее – это татарский бог пророка Магомета с его полетами во сне и вознесением на небо над Иерусалимом. Согласно легенде на мотивы Корана, пока из опрокинувшегося стакана с водой вытекала вода, Магомет успел побывать во всех царствах за семью морями. (Эту легенду где-то пересказывает Достоевский.) Потому что «симфулятор» – второе слово в названии – происходит от английского технического термина simu-flite: full flight simulator – то есть, симуляция (искусственное воспроизведение) условий полета. Речь идет о полетах в уме, во сне, в ходе воображаемой эмиграции.

Заказное для Гудкова. Нет такого. Где же этот гражданин? Он уехал в Тель-Авив. Его увезли. Утечка мозгов. Размягчение мозга. Почему у вас так много математиков? «А он им сделает кислородную бомбу». А они взорвут всю атмосферу. Теперь ведь нужно беспокоиться за всю Солнечную Систему. С точки зрения Венеры холодная война, с точки зрения Юпитера – горячая. А на Луне ни холодно ни жарко.

«Скорей уедешь». Видали? Чем скорей уедешь, тем скорей приедешь. «Я в ваши игры не играю». Еще не то было. «Я в твою игру не играю и следов не оставляю». На Пушкинской улице была какая-то другая машинка.

Услышав о моих идеях отъезда «на Запад», Лариса Аркадьевна (жена Улитина), сказала мне как бы от имени самого Павла Павловича: «Поверьте старику: все внутри нас. От себя не убежишь». Сколько было драм: я оставлял любимую женщину и дочь, круг друзей, родину, язык. Слезы, ночные бдения, объятия, проклятия. Вот было разговоров! Во всем этом эмоциональном грохоте я хорошо помню спокойную реакцию самого Улитина: «На вашем месте я бы ни с кем не советовался, а получил бы визу и отбыл в неизвестном направлении. Проблемы с языком? Но ведь можно писать по-русски, а потом переводить, не так ли?» Для него Европа, Англия, Америка не были мистическим континентом. Он ментально *как будто* жил в этом мире многие годы. Он жил в кабине «симфулятора». Он знал, что пока он сидит перед своей пишущей машинкой в Москве, его проза читается по другую сторону границы: в январе 1975 года мне удалось вывезти (с его ведома) – через голландское посольство – в огромных, коричневого картона учрежденческих папках с веревочками несколько томов прозы Улитина и всю мою московскую переписку с ним.

В таганрогской гимназии уезд в Москву приравнивался к побегу в Америку или уходу в казачество.

Но возмутительная постановка вопроса насчет БЕЗ НАДЕЖДЫ? Веревочки надо разматывать и читать давно написанное. Ему, видите ли, нужно еще раз. Это для чего? Порадовать двух бездельников на берегу Мертвого моря? Как будто у нас не хватает других забот, нет, Вы ему так прямо и скажите. Читать – мы все читаем, но чтобы отвечать на все вопросы – это уже слишком. Он забыл. 14.10.75

И вообще чего ему еще нехватает? Плавательного бассейна и чтобы плавать с Иисусом Христом, на меньшее он не согласен. Но он правильно заметил – «казнят навязчивых предтеч».

В «Татарском боге и симфуляторе» нет, как и в других текстах Улитина, открытого сюжетного движения, но тема и ее вариации есть, и высказана эта тема ясно и отчетливо. Это постоянный контрапункт двух мотивов: сквозь словесное кружение (и кружево) московской болтовни – сплетен, идей и личных катастроф, репутаций, путаницы между оригиналом и двойниками-подражателями, страхов перед арестом или обыском; и сквозь все это параллельно возникает и уходит, чтобы снова всплыть эхом из прошлого автора, детство на Дону, казацкая станица, тюрьма, гитлеровская оккупация, сталинская Москва. Несовместимость этих двух миров создает трагикомическое напряжение в голосе рассказчика: тут и подавленное отчаяние и одновременно ирония в связи с комической повторяемостью этих тревог и забот в разные эпохи. Рубежи между этими двумя мирами так же непреодолимы, как и советская граница с ее железным занавесом. Парадоксально, но эти два мира – две страны – невосстановимое прошлое, с отобранными во время обысков рукописями и искалеченной жизнью; и ежедневное настоящее в Москве (самой веселой, я бы сказал, тюрьме на свете) – все это Улитин был способен соединить лишь через другой язык – язык английской литературы.

Много лет назад (я переехал в Лондон в 1976 году) я стоял у билетной кассы за заранее заказанными билетами в Лондонскую синематеку (на южном берегу Темзы, у моста Вотерлоу). Дама передо мной – сама элегантность с лихим «бобом» серебристой седины эпохи двадцатых – назвала свое имя в билетное окошко: «Нина Хиббин». Это была та самая Нина Хиббин, чьи короткие афористичные рецензии в коммунистической газете *The Morning Star* так культивировал Улитин. Я решился заговорить с ней. Она давно перестала сотрудничать с этой газетой по цензурно-иде-

ологическим соображениям, сказала она, да и газета давным-давно закрылась, как и вся коммунистическая система. На мои попытки рассказать ей о ее поклонниках в Москве 70-х годов, она отреагировала вежливым «How interesting...». Но для меня это было превращение улитинских слов в реальность – то, что у Шкловского называлось «материализацией метафоры». Я до сих пор сталкиваюсь в своей лондонской жизни с ожившими цитатами из прозы Улитина и разговоров с ним. Об всем этом мне периодически хочется срочно написать в почтовой открытке Улитину. Но его уже нет на этом свете. Ощущение потусторонности, загробности в общении было и тогда. Мы забываем сейчас, насколько драматизирован был процесс контакта с московскими друзьями в эпоху «железного занавеса»: телефонные звонки осуществлялись через оператора с многочасовым ожиданием, письма шли через цензуру иногда месяцами, и живой контакт был возможен лишь через «гонцов» – заезжих иностранцев. Связь была виртуальной. Не могу не привести записи Улитиным своего сна в декабре 1975-го года (я перепечатываю его с рукописного варианта из своего архива), то есть практически через год после моего отъезда:

Конечно, такой удивительный сон.

20 декабря 1975 г.

Нужно было подмести пол в огромной комнате общежития. И я чему-то радовался, что не имело непосредственного отношения к важному сообщению. Дело в том, что одновременно была надежда на вертолет, с которого можно удочкой ловить карпов на озере в жаркий день. Мне дали знак. Холодная вода не была страшной и холодной. Вдруг кто-то сказал: «Сюда доставят Зиника». В контейнере тайно на два часа на один четверг. Огромная стеклянная комната приземлилась справа, и я увидел Зиника. Он вышел из комнаты, и рыжая бородка и рыжие усы были как бы приклеены к чужому лицу. Я шагнул к нему, а он как бы не смотрит и не узнает. Он дает себя рассматривать.

2

Кто это? Он был похож на молодого Петрищева из старого романа: одет в японский мундир польского атташе зеленого цвета с золотом; кроме того, он так изменился, что его нельзя было узнать. Это не он? Но мне сказали, что его привезут; это он. Я подошел к нему и положил руку на плечо со стороны спины. Он повернулся, улыбнулся странной японской улыбкой и сразу стал что-то говорить. Нет, он меня узнал, но говорил что-то такое, что не похоже на Зиника. То есть, ни то, что интересно для него, ни то, что важно для нас.

Кто сидел с вязаньем посреди комнаты в общежитии? Кто-то из старых знакомых.

20.12.75

суббота

«Прошлое как другая страна: люди ведут себя там совершенно иначе» – это одна из классических цитат английской литературы, из романа «Посредник» (Go-Between). Улитин этот роман хорошо знал. Надев свои «английские очки», Улитин видел и слышал, что люди сталкиваются с определенным психологическим давлением вне зависимости от эпох и географии, что все ссылки на особые исторические обстоятельства, вообще попытки найти самооправдание личной неудачи в фатальности судьбы, уникальности национального прошлого и истории – это фикция, туфта. Все это уже было. На всех стихиях человек тиран, предатель или узник. Однако каждый, говорит нам Улитин, выбирается из этой стихии предсказуемости своей судьбы по-разному.

Значит нужно иметь хотя бы один сон под барона Мюнхгаузена, чтобы церковь крутилась занесенная снегом, а мы вышли на дорогу в старом пиджаке. Вместо кремнистого пути блестел «Иллюзион», а звезда с звездою говорила на языке романа Апдайка.

Николай АРЖАНОВ

ПОЛЕТ И ПОИСК

Альманах-альбом «Дирижабль», выпуск XVII, антропный. – Н. Новгород, 2012. – 64 с.

Обложка семнадцатого выпуска «Дирижабля», по сравнению с предыдущими номерами, выглядит почти аскетично – горный пейзаж в духе Н. Рериха, составленный из горизонтально расположенных профилей человеческих лиц. Выпуск на этот раз – «антропный». Антропному принципу Брэндона Картера и антропологическому способу познания в разных его вариантах посвящена короткая, в пять абзацев статья (или заметка) Сергея Трунёва («Антропный принцип»). Краткая же, как и большинство материалов издания, – минимализм есть традиционный формат и «изюминка» альманаха – беседа «О морали и не только» Ивана Лимбаха и Евгения Стрелкова вместе с «Антропным принципом» задают тон выпуска. А открывают журнал, предваряя философские изыскания, прозаические миниатюры Михаила Бару и Сергея Тиханова. Проза в «чистом» виде (в издании преобладают тексты, более напоминающие, а зачастую иронично имитирующие эссе и научные статьи) представлена «Cat chisme» Рене Домаля (1935, пер. с фр. Валерия Кислова), «Занимательной антропологией господина Бэмса» Александра Капернаумова, текстами Игоря Иогансона и продолжением цикла «Ниже Нижнего» Эдуарда Абубакирова, Евгения Стрелкова и Вадима Филиппова. Близки к художественной прозе очерки – в борхесовской манере Марианны Гейде «О суккубах» и «Барахтаясь в барокко» Дмитрия Замятина – впечатления от городских ландшафтов – очень поэтичный, живой текст.

Почему-то кажется, что стихов в номере меньше, чем в прошлых выпусках, хотя и объём и авторский состав (в шестнадцатом и в нынешнем, семнадцатом, присутствуют Айвенго, Игорь Сорокин, Георгий Авдошин, Алексей Борисов, Иван Миньо) почти не поменялись; возможно, дело в некоторых существенных изменениях структуры альманаха. Кроме упомянутых поэтов, есть новые авторы: Анна Инфантьева, Алексей Веселов и Алексей Кац, интонационно вполне вписывающиеся в сложившуюся поэтическую линию издания. Из этой «линии» – рефлексирующей, эстетствующей –скорее выламывается прекрасный в своём весёлом хулиганстве постоянный автор Айвенго:

мчится двоица коней
на поляну выезжает
в санях купчишка удалой
деву страстно обымает
телефон его звонит
к уху он трубу подносит
то жена его звонит
видно стерва денег просит...

Все публикации номера, за исключением статьи Дмитрия Селивановского «К природе Троицы или о сонолизе воды, насыщенной воздухом» из физико-химической области, так или иначе связаны, как и заявлено в теме выпуска, с человеком. Имеет место миниэссе об онтогенезе и филогенезе «Четыре сюжета из антропологии повседневности» Андрея Стрелкова. В «Геноме Буратино» Андрея Ваганова папа Карло предстаёт демиургом, и проводятся параллели между алхимией и современными биотехнологиями; Денис Скопин размышляет «О понятии протеза у Бернара Стиглера»; социальные и культурные процессы осмысляются в интервью Александра Маркова «Две эволюции», правда, непонятно, кто у кого интервью берёт. Сознанию посвящены «Романтик – властитель – блоггер» Сергея Трунёва, «В поисках собеседника» Максима Кронгауза и «Сознание» Игоря Козина. Игорь Макаревич раскрывает мистификацию прошло-

го выпуска «Избранные места из записей Николая Ивановича Борисова или тайная жизнь деревьев», рассказывает об истории возникновения персонажа и продолжает публикацию, теперь уже как «открытый» проект (похоже, это один из лучших материалов двух последних номеров).

Несколько особняком стоит краеведчески-культурологическое исследование Андрея Балдина «О затылке Москвы и Льва Толстого», не столько о человеке, сколько о русской ментальности, выраженной в топографии Москвы и осмысленной Толстым.

Арт-проектов в номере два: Андрея Суздалева «Зыбь» – неустойчивость, неукоренённость, тревога, но при этом, возможно, и счастье; и группы «Куда бегут собаки» – «Земля родит»: огромный беременный живот из асфальта, под асфальтом плодородная почва – надежда на то, что «что-нибудь когда-нибудь прорастёт. Предлагается ждать».

Визуальный ряд: три страницы отданы замечательной графике Игоря Колесова из серии «Memory prints» (тушь, палочка) – московские бытовые сценки прошлых десятилетий; Леонид Тишков двумя листами из серии «Мешки» иллюстрирует «Антропный принцип» Сергея Трунёва; также в качестве иллюстраций использованы старинные гравюры и фотографии. И вот здесь-то и заметно изменение в характере альманаха-альбома: визуальный ряд стал иллюстративным, тогда как раньше он в информативном плане был даже более значимым, чем текст; похоже, что редакция отходит от концепции альманаха-альбома. Поиск новой формы чувствуется и в подборе текстовых материалов, движение здесь происходит в сторону научности (точнее, традиций научно-популярной периодики конца восьмидесятых, но с некоей постмодернистской иронией). Возможно, что следующий номер «Дирижабля» будет совершенно иным. Уверен, что не менее интересным и насыщенным, но старой, столь удачной формы, уникального сплава прозы, поэзии, графики, философии, арт-проектов, будет не хватать.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ЧТОБЫ ТЬМА НЕ СМОГЛА ПЕРЕСТУПИТЬ

Дмитрий Чернышев. Розовый шар. – Таганрог: Нюанс, 2012. – 32 с.

Есть ли ученики у Виктора Сосноры? Сам мастер, кажется, не уверен. Во всяком случае, получая премию «Поэт», он говорил: «Тридцать лет я вел в Ленинграде разные ЛИТО, их было, кажется, не меньше десяти. Зачем приходили юные поэты? Кто-то внушил им, что на ЛИТО они научатся писать стихи. Научились? Нет. Пошли на филфак. Научились? Нет».

Однако в городе Санкт-Петербурге число вполне состоявшихся авторов, относящих себя к школе Сосноры, чрезвычайно велико. Парадокс? Опять-таки нет. Свидетельство успешности мастера, хоть это может и странно прозвучать. Настоящий учитель ведь старается вырастить не близкого себе, но равного. Или хотя бы сопоставимого по уровню. И тогда их пути с необходимостью расходятся.

Дальнейший выбор – за учеником. И тут возникает сложность особого рода: куда двигаться в поэзии после Сосноры, автора, учинившего, по выражению (на мой вкус, кстати, малоудачному) Александра Скидана, «аутодафе, холокост языка»? Как вариант – возврат к традиции: благо выбор этих самых традиций немал. Как лучший и куда более сложный вариант – попытка создания новой традиции.

Именно так поступил Дмитрий Чернышев. Конечно, поэтическая школа «Синкагерю», организованная при его активном участии много лет назад, содержит в себе существенный элемент игры: всё-таки абсолютно серьёзное восприятие и воссоздание японских реалий в русской поэзии выглядело бы комичным. Представьте, например, сколь потешаются японцы над самураями нашего отечественного кинематографа? Уж точно не меньше, нежели мы над «русской мафией» в продукции Голливуда. Тем не менее, определенные культурные коды, традиционно соотносимые у нас с японским

способом бытования культуры, в его поэзии читаются отчётливо. В этом смысле новый сборник лирики (Чернышев принципиально разделяет написанное им на «книги» числом четыре и «сборники лирики» – тут «Розовый шар» стал третьим) кажется весьма цельным.

Весьма существенный элемент японской поэзии – диалог во времени, связь со всем, написанным ранее. У Чернышева контекст гораздо шире: соотносимость с мировой культурой как единым целым. Естественно, через, казалось бы, мелочи:

Ожидая, ободрал <себе> ногти на
Невском,
что не успел, обгрыз в подземном
переходе.
«nail service»

Мы – не взойдём на корабль мёртвых

_____
Nagflar
отчалит без нас!

Вывеска маникюрного салона вызывает довольно жуткий каскад ассоциаций с кораблём, везущим рать зла на Рагнарёк. Но вспомните: скандинавы отрезали ногти, потребные для постройки фантасмагорического корабля, у мертвецов. И тогда начало стихотворения воспринимается совсем иначе: понимаете, чего (кого?) ждал лирический герой?

Вообще, отношение к реальности в стихах Чернышева весьма стоическое и честное. Одновременная фиксация окружающего мира, собственного состояния и некоторых бытовых реалий, порою сатирически-обыденных:

Колбаса из конины. Колбаса из
привокзальных собак,
тех, что любили,
в случке накрытых, уловленных сетью
дурного времени
и убитых –
вкусная!..
Чебоксары, 25 марта
2012,
местная кулинария

Текст начинается с вполне общепринятого зубоскальства по поводу гастрономических изысков беззвёздного общепита, затем, казалось, почти соскальзывает в дурной сентиментализм, а финал вдруг похож на удар палкой от мастера дзен.

Постоянным переключением между устоявшимся культурным пространством и авторским «здесь и сейчас» автор напоминает донецкого поэта Игоря Бобырева, однако, у последнего, на мой взгляд, всё же доминирует попытка соотнесения канонической «тоски по мировой культуре» с просодией русской поэзии, а у Чернышева, в абсолютном большинстве случаев, – личное начало (впрочем, было б странным ждать иного от сборника лирики):

Балтийское море № 11

А ночи и вечера пусты и страшны

что мне осталось: лишь ходить с обходом
на вверенном участке берега

с залива
к нам не пройдут!..

спокойно спите, дети,
пока я бдителен
и не сошёл с ума.

Объективной неясностью может показаться цифра в заголовке, но это лишь порядковый номер текста в цикле. В остальном же всё довольно прозрачно. Читателю, конечно, могут быть неизвестны обстоятельства авторской биографии, в частности – факт его работы в охранном агентстве, но кто из нас не наблюдал сотрудников частных силовых структур там, где вроде бы их присутствие и не нужно? Чего они там делают? Вполне разумный вариант: рискуя сойти с ума, обороняют нас от популярных недавно в интернете созданий Говарда Лавкрафта.

Так или иначе, но «зоны непрозрачного смысла», чья функция, по Дм. Кузьмину, «верификация эмоциональной и психологической подлинности текста одновременно с указанием на невозможность для читателя

полностью проникнуть во внутренний мир лирического субъекта, поскольку индивидуальный опыт последнего может быть выражен и воспринят, но не может быть прожит другим заново», в стихах Чернышева непрозрачны лишь с большой долей условности. В этом его существенное и принципиально различие с многократно вспоминаемым при чтении «Розового шара» Геннадием Айги. Чаще непонимание отдельных лирических высказываний определено иным по сравнению с автором культурным опытом читателя. Точнее – недостаточностью такового опыта, так сказать, размытостью фона. Например, никто, конечно, не обязан знать про Аполлона Сминфея, но тогда и смысл следующего текста ускользнёт:

какая радость!

а у меня-то мыши пляшут
почти автоматически
то в вальсе кружатся – кружатся!
то перебегают
зигзагами
по асфальтовой дорожке

Впрочем, сам автор, кажется, мало дорожит вниманием публики. На одном из недавних выступлений в Петербурге он сказал: «я, естественно, не люблю ни своих читателей, ни своих слушателей. Меня интересуют только мои адресаты. А вот почему меня ещё кто-то публикует и слушает, так это их проблемы». Действительно, большинство стихов книги «Розовый шар» имеют конкретного адресата, даже в тех случаях, когда формального посвящения нет:

«19 августа»

а она! На средней площадке –
(трамвая)
на Петроградскую сторону –
через мосты! –
дребезжащего дико
единственного того, 21-го нумера,
голубого,
который «уносит меня»
а в руке у неё подтекающий(ая)
порция мяса
там не было, не было крови,
только вода
австралийское мясо,
нет, не кролики, не кен-
гу-ру, ка-шру-т
оно расползается из бумажного пакета

_____

19 августа незапамятного года
вечер
купаю ученицу
она плещется голая у
Трубецкого бастиона

Как ни-в-чём-ни бывало

Такое вот обращение к любимой; «поздно мы с тобой поняли»... Но и документ эпохи. 19 августа 1991 года – дата в истории страны не из последних. И кенгурятина по талонам тоже вспоминается легко. А как уж потом времена сопрягутся, о том говорит в том числе и синтаксис стихотворения.

В стихах порой встречаются меж собою и более далёкие эпохи, тоже вполне внятным образом:

1918

...голодно, милый, голодно,
только у нас чуть попроще,
чем у вас «на Москве».
Головы кказзннённых не заспиртовывают –
спирт слишком дорог.
Кстати, купи немного, несколько литров.
И не ревнуй,
я тут познакомилась с одним поэтом
по фамилии Кканнеггиссер.

И ещё один вполне «японский» аспект надо отметить в стихах Чернышева. Стихи подразумевают некую ответную реакцию, возможно, неявную, но обязательно оставляющую тому, к кому обращены (а адресат, напомним, почти всегда определён) пространство для манёвра. Деликатность, необходимая для того, чтобы объект посвящения ни в коем случае не «потерял лицо»:

А дом – лишь коробка – бетон и цемент,

заиндивевшая,
если
не наполнен
твоим дыханием
...
как та, картонная, где тыкаемся
на рынке, мы,
слепые котята

Или с отсылкой к одному из самых известных и кровавых библейских сюжетов:

Mir zur Feier, Artaxerx!

как он любил её
эту маленькую Фиру
как я
тебя

Впрочем, для полноценного восприятия этой, редкой в русской поэзии и важнейшей в поэтике Дмитрия Чернышева, коммуникативной деликатности рекомендую прочесть «сборник лирики» «Розовый шар» полностью. Да и собственно поэтическая состоятельность автора становится отчётливо видимой именно на уровне цельной книги.

В завершении хотелось бы привести ещё одну небольшую цитату из Виктора Сосноры. В достаточно давнем, случившемся за 15 лет до получения «Поэта» интервью Галине Зябловой на вопрос «Есть ли у Вас ученики?» Маэстро ответил: «Это должны спросить у учеников». Кажется, книга «Розовый шар», самим названием указующая на один из самых известных текстов Сосноры, даёт вполне ясный ответ.

Олег РОГОВ

ВТОРАЯ КНИГА

Борис Лихтенфельд. Метазой. Стихи 2002–1010. – Спб.: Юолукка, 2011. – 152 с.

Эта книга Бориса Лихтенфельда – вторая. Первой была «Путешествие из Петербурга в Москву», которую я читал дважды, но написать о ней так и не решился, – огромный поэтический замок с башенками и тайными переходами, ложными окнами и просторными залами. Мы еще должны этой книге, но срок кредита, видимо, не истек.

В своей автобиографии на персональном сайте (http://borislichtenfeld.narod2.ru) Борис Лихтенфельд так рассказывает о создании «Путешествия» и подступах к «Метазою»: «В конце 1982 года я написал (буквально на одном дыхании) довольно большой и не вполне ясный мне самому ямбический текст, который назвал “Лета подо льдом”. На одном из вечеров в музее Достоевского я решился его прочесть. Тогда я предварил своё выступление кратким изложением возможного сюжета, в который этот текст должен вписаться. Как оказалось, это было началом многолетней работы над большим произведением. “Лету подо льдом”, как и некоторые другие части, в конце пришлось переписать заново. Собственно говоря, вся работа так и шла: два шага вперёд, один назад. Название “Путешествие из Петербурга в Москву...” возникло ближе к концу и стало скорее всего чем-то вроде жанрового определения (понятия «романа в стихах» я всячески избегал). В моей жизни это было удивительное время: все внешние обстоятельства активно мешали и одновременно подсказывали, выводили из всех затруднений; все попадавшиеся книги оказывались кстати, все события подпитывали твёрдое намерение от них оторваться. На 15–17 лет я был просто выключен из литературного процесса, а результат, как теперь очевидно, не имел никаких шансов в данный процесс вписаться. <...> После выхода книги в 2000 году (Издательство Виктора Немтинова в Санкт-Петербурге) я почувствовал себя в каком-то вакууме, долго не мог писать, утешая себя тем, что одного “Путешествия”, в общем, достаточно». В начале 2000-х «стали появляться первые после перерыва стихи. Постепенно они сложились в книгу, названную по одному из стихотворений “Метазой”. Если в “Путешествии” я старался максимально оторваться от реалий времени, то в “Метазое” позволял себе откликаться даже на сиюминутное. Возможно, это как-то связано с моим участием в Мар-

шах несогласных, в результате чего я весной 2007 года угодил в больницу и в политические хроники. Стихи всегда были для меня фактором противостояния – политического, этического и эстетического. Кажется, и в новых реалиях я внутренне мало изменился».

«Метазой» тоже производит впечатление цельного «поэтического куска», это тоже путешествие, где дорога – связь от текста к тексту, а сами они – остановки в пути. Значение слова «метазой», кроме сугубо терминологического, еще и таит в себе спряг «мета» и «зой»: «мета-жизнь», и уловить ее смысл можно с помощью стихов. О чем бы ни шла речь (снова она куда-то идёт...) – об истории, политике, метафизике, слова выламываются из значений, занимая друг у друга дополнительные обертоны, сверкающие только в этом соседстве. Ну да, в этом и поэзия, что ж тут нового? Ничего, кроме того, что новое возникает каждый раз по-разному, и это не устает завораживать.

Лихтенфельд щедр на игры подобного рода, но ему удается уйти от сугубо формальных приемов, в какие бы глубины «внутренних форм слова» он ни погружался и каких бы морфологических экспериментов ни ставил. Удивительно, но все смысловые наращения возникают органично, как будто они ждали именно этого момента своего проявления.

Небо уходит из-над головы
Всепоглощающее увы
жизнь обесценивает без кавы-
чек предъявляя к оплате
Сбросив заботы побочные с плеч
тянется ввысь неспрямимая речь
обращена в никуда бесконеч-
на полувнятном закате

Что ни захватит сведет к одному
то есть с ума истерзает изму-
чает что суть а окажется му-
тьмою протяжно мычащей
Но и во тьме не смыкает уста
гонит и гонит словесное ста-
до глухома- никогда не уста-
нет ни просвета за чащей
Век промелькнет невидимкою-век-
шей не щадивший фальшивейший век-
сельской дорогой меняющей век-
торными тропами в хвое
Небо затягивает как боло-
то и другое замкнут моноло-
где остановится на полусло-
веретено мировое

Формальная изощренность соседствует в «Метазое» с образцами гражданской лирики, жанра вновь актуального и многообещающего. И здесь, каким бы прямым ни было высказывание, тоже есть свои замки и отмычки. Так, в начале стихотворения «1968»:

Вольнодумцев, как новорожденных котят,
топит Время в своём нержавеющем стиле, –

есть скрытая отсылка к противоположным по смыслу строкам Александра Миронова:

Я и знать не хочу, как Центрального Пса
будет время топить в его красной блевотине.

Эти отголоски и переклички с текстами питерской «второй культуры» пронизывают всю книгу. Обратимся снова к автобиографии: «В сущности, ни одно ЛИТО не могло дать того, что дала вторая культура. Это была подлинная независимость, жизнь как бы вне советской власти и вне советской поэтики. <...> Можно было жить, как бы не замечая советской власти (чего нынешняя власть не даёт), а вторая культура (в своей изначальной установке) "воспитывала" пренебрежение к участию в официальном литературном процессе и была сильна именно своим противостоянием. То, что она всё-таки изменила этой установке, может быть, и погубило её как явление».

Памяти этого незабываемого времени с его особым воздухом, посвящено одно из первых стихотворений книги:

Тот литературный мир
был без направлений, но
был некий ориентир,
мерцавший, когда темно.

А школа была, была! –
хоть вряд ли судить о ней

возможно, минувших дней
оценивая дела.

Науке тайной сродни
труды были те и дни.
Нет прока от прочих школ
тому, кто эту прошёл.

Сплетались в один клубок
и дружба в ней, и вражда.
Но след её в нас глубок.
Театру была чужда.

На орден иль монастырь
похожа была скорей.
Нос высунешь из дверей –
пустошный кругом пустырь.

А там – только хлам да глум.
В ушах – только бам да бум...
Но было открыто нам,
что вечность цветёт не там,

где вечны лишь прыть да сныть, –
и благодаришь фартком
за то, что выпало слыть
последним учеником.

Акустику вспомнишь ту
и как чуть-чуть голова
кружилась, когда слова
не падали в пустоту;

окликнешь мысленно всех,
чьи боль, сумасбродство, смех
в душе откликались вмиг,
как правда запретных книг, –

и чувствуешь до сих пор,
какая же благодать
была в тот нестройный хор
свой слабый голос вплетать!

Андрей ПЕРМЯКОВ

ИНАЯ МЕЛОДИЯ

Геннадий Каневский. Поражение Марса. – New York: Ailuros Publishing, 2012. – 80 с.

В предисловии Николая Звягинцева к этой книге присутствует сентенция почти шокирующего свойства: «Для меня он вообще совершенно естественным образом раскладывается на всю русскую поэзию прошедшего столетия... сначала прочитайте эту книгу. Потом закройте глаза и представьте себе свою поэтическую библиотеку, все прижатые тесно книжки разного цвета и размера, новенькие и затрёпанные, глянцевые и вовсе без обложек, свёрстанные на компьютере и набранные вручную... А теперь то и другое заново, с самого начала. Длина шага – лет десять или как получится».

Будучи воспринятыми вне рефлексий, сугубо в прямом своём значении, такие слова способны исполнить роль идеальной антирекламы: поэзия не терпит дайджестов, и, если мне, например, захочется прочесть стихи Константина Вагинова, то я буду читать именно их, а не краткое переложение.

К счастью, предисловие содержит значительный элемент игры – как, впрочем, и многое в рецензируемой книге. Стихи Каневского напоминают фильм с довольно сложным монтажом, где чёрно-белые панорамные кадры вдруг сменяются пристальной фиксацией малозначительного объекта, а потом в объективе оказываются некие абстрактные фигуры. Однако этот фильм оказывается вполне цельным благодаря саундтреку. И саундтрек этот легко опознаваем:

люди выпьют и вскоре поют,
завершая полночный уют,
закрепляя разреженный воздух
на гвоздях этих слов идиотских.
(ткут их тайные текстовики –
лепетальные крестовики).
отрешась от истерик и сцен,
кто строители призрачных стен?
состоя из воздушных полотен,
материал их так рван и неплотен,
им вольно попадать мимо нот –
их иная мелодия гнёт.

Мир книги «Поражение Марса» во многом определён застольными песнями, исполняемыми в приятных компаниях. Естественно, не без подтекста исполняемых: вот поют люди про очень условную Москву, Москву из совсем другого времени, поглядывают друг на друга с иронией. И в то же

время небольшой мирок их компании в этот момент как никогда един и тесен. Получается такая странноватая ирония, уже не знающая о себе, ирония ли она. Нет, «для своих» всё ясно, но человек со стороны получается в этот мирок почти невхожим. Хорошо это или плохо? Скорее, двояко: с одной стороны, достигается упомянутая цельность, и, кроме того, появляется возможность сказать некие вещи, разговор о которых напрямую потребовал бы другой тональности или вообще иного жанра:

в подвалах твоей лубянки
весёлых цветных подвалах
меня защекочут насмерть
когда я приду сдаваться
<...>
жизнь моя третий лишний
смерть легка и мгновенна
эти дурацкие вирши –
государственная измена

Вопрос «как возможны стихи после Лубянки», конечно же, не менее легитимен, чем знаменитая фраза Адорно о стихах после Освенцима. Что же, можно и вот так: через оптику «блатных песен интеллигенции».

Кстати, заметим: говоря о песенной составляющей, мы не имеем в виду «песни советских композиторов» – в компаниях пели и поют совсем другое. Более того, ритм и мелодика стиха у Геннадия Каневского иные. Способ бытования его поэзии включает в себя многие практики современных авторов. И, увы, худшие стихи книги написаны именно так: «общеактуально», с пониманием текущей поэтической ситуации и отсылками к ней:

даже если
у тебя не было
ни одной
женщины
смерть
придёт к тебе
значит –
любит.

Всегда б мы ходили исключительно к тем, кого любим. Например, вот в немецком смерть это Герр Тодт... Конечно, «неконвертируемость» этого стихотворения – дело десятое, поэзия, как известно, есть то, что исчезает в переводе, но поэзии в этом тексте изначально и не было почти.

Парадокс, однако в гораздо более интересных стихах также присутствуют отсылки к современной литературной ситуации и её персонам:

выпивает, не утирая рот,
но ему положено быть счастливым:
вот сейчас он медленно запоёт
про грозу, прошедшую над заливом,
про слепящий никелем бензобак,
про литое солнце из пушки в полдень,
как умеют юрьев и, может, порвин –
тарантеллу пальцами на губах.

Что, собственно, и требовалось доказать: дело не в приёме. Тогда в чём? Отчего в пределах одной книги (повторим: весьма цельной книги) встречаются тексты совершенно разного качества? На мой взгляд, одна из главных причин этого – тщательное «самовычитание» автора. Подход не новый. Ещё Т.С. Элиот писал: «Поэзия – не высвобождение эмоций, но побег от эмоций, не выражение личности, но устранение личности...». Однако, уход автора в тень в сочетании с восприятием действительности, опосредованным чужими мелодиями, создаёт странный мир, где всё невсерьёз, даже смерть:

умираешь? – впрочем, ты всегда мельчил,
сочинял ненужное, кривлялся сзади.
сложными движеньями достают мечи –
лучший балетмейстер год их учил.
дай на церемонию взглянуть. не кричи.
не спугни забвение, бога ради.

Строфа «зеркальная»: неясно, произносит её лирический герой или напротив – именно к нему она и обращена. Или это он, един в двух лицах, наблюдает собственную гибель?

Иногда возникает ещё один уровень самоотстранения. Например, через использование фантастических образов. Опять-таки, метод по нынешним временам ходовой,

и небезуспешно используемый, к примеру, Марией Галиной или Фёдором Сваровским. Но, кажется, у Каневского здесь иная цель – не отчуждение ради приближения, но отдаление во имя максимально подробного разглядывания и эстетизации объекта:

славно поют мертвецы стимпанка,
выпуская в медные трубки нагретый воздух,
укрепив оболочку на круглой раме,
поскрипывая шестернями и штуцерами,
поигрывая клапанами,
<...>
местные жители замерли в напряженьи,
с медными лбами,
с открытыми ртами.
чудо! – как они воздух секут винтами.
чудо! – как стреляют на пораженье.

«Никого не жалко, никого...» – снова вполне застольная песня. Ну, в общем, да: чего её жалеть – Матрицу-то. Мир нереален. В нём, кажется, небольно и комфортно, но в этом ли счастье? Этот видимый, сделанный мир хочется покинуть, и, стало быть, с точки зрения мира совершить предательство. Мотив предательства в «Поражении Марса» занимает одно из основных мест. Эссе Марианны Гейде «О красоте предательства», собственно, и завершает книгу. Это, кстати, ещё один момент игры, опять-таки не самый новый: послесловие и предисловие поменяны местами.

Но порой неэффективно и предательство:

я продам свою родину
за прокачку до третьего уровня.

Виртуальная родина меняется тут на виртуальный уровень – эка важность. Порой предательство вырождается в невнятность:

где будет можно, я тебя предам.
не зря же я, оставленный при родах,
пел гимны деревням и городам
и получил «спасение на водах»

Да и вообще, оправдание предательства и возведение его в идеал тоже есть ветхость необычайная. В повести Леонида Андреева об этом сказано очень много. А в статье Иннокентия Анненского «Иуда, новый символ» – ещё больше. Скучное дело это ваше предательство. Впрочем, тут наличествует зазор.

По крайней мере, один сорт предателей весьма романтизирован и в культуре, и в общественном мнении. Речь, конечно же, о дезертирах. Нет, бывает всякое, но традиция поэтического оправдания дезертирства тянется без особых разрывов от поэта Архилоха, обитавшего в Греции двадцать восемь веков тому назад:

Щит, украшение брани, я кинул в кустах
поневоле,

до, к примеру, замечательного фильма «Набережная туманов». Дальше сложнее, дальше – уже политика.

Тем не менее, лучший из предателей, по крайней мере, не воюет за ненужное дело. Это в обыденном мире дезертирство – уголовно наказуемое деяние. Автор же, покидающий общепоэтический окоп, хоть и рискует немало, но в перспективе будет оправдан. Если он, конечно, не перебежчик из одной Матрицы в другую, но именно дезертир. Метод явлен:

если медленно опуститься вниз,
мимо тебя проплывёт твоя тихая жизнь.
только не закрывай глаза.
только не закрывай глаза.

Только не закрывай глаза. И в таких вот стихах, написанных с открытыми глазами, обнаруживаются главные удачи книги «Поражение Марса». К счастью, не единичные:

я буду последним из тех, кто возился с вами,
читал вам книги, сражался в двадцать одно.
когда меня вынут отсюда вперёд ногами,
откроются люки, и судно уйдёт на дно.
размытые буквы всплывут из дальних отсеков,
солёная рыба, секретный боезапас,
и если кто-то напишет «ловец человеков»,
то это будет не про меня – про вас.
и вот вы стоите передо мной, как будто
от шага до шага – звонкая тишина.
вы водите пальцами по облакам над бухтой,

и вся их цепочка становится нежива.
ходили до ветра. сухим сохраняли порох.
держали руки скрещёнными от беды.
(пейзаж. фотовспышка. звук. тараканий шорох.
колодцы света. каменные сады).

Покинуть Матрицу ведь можно оставаясь в пределах мира текстов, вроде бы этой Матрицей усвоенных. Или, по крайней мере, для неё важных. Вот сколько в последнее время ведётся споров о роли Пауля Целана в актуальной русской поэзии? Диапазон мнений – от полного отрицания, о чём неоднократно высказывался Леонид Костюков, до убеждённости в том, что Целан нашим стихосложением уже воспринят, или, по крайней мере, приход его вот-вот неизбежен. Об этом аргументировано говорят, например, Олег Юрьев и Алёша Прокопьев. Только вот попытки сказать о Целане собственно поэтическими средствами раз за разом оказываются малоубедительными. По крайней мере, в девяти случаях из десяти. У Каневского же получилось:

Памяти Целана

утонуть
наоборот:
медленно
отделиться от дна
подниматься
сперва лёжа
безвольно
затем
встать на ноги
робко
повернуться
вокруг оси
раз
другой
быстрее
быстрее
вынырнуть
из омута
удивлённо вдыхая
и взлететь
наискосок
стеблем
травинкой
зелёной закладкой
перечеркнув
небо

Кроме очевидной поэтической состоятельности, в этом тексте явлена полная и абсолютная противоположность «смерти автора», более или менее явно декларируемой в некоторых других стихах сборника. Вообще, Ролан Барт, когда писал о смерти автора, подразумевал ведь его умирание в читателях! Зачем же ещё и самому добровольно удалять себя из своих строк? Совсем, кажется, незачем. И поэтические удачи книги «Поражение Марса» вполне убеждают нас в необходимости авторского присутствия. А иначе – Матрица.

Сергей ТРУНЕВ

ЭПОС СТАРОГО ОСКОЛА

Дмитрий Зарубин. Лицом к лицу. Сборник повестей. – Старый Оскол: ООО «Оскольская типография», 2012. – 255 с.

Книга состоит из двух повестей, а ее название – «Лицом к лицу» – как нельзя лучше отражает содержание. В одной из сцен повести «Благо войны» первый секретарь Курского обкома ВКП(б) Доронин, едущий по делам на служебной «эмке», попадает под лобовую атаку немецкого штурмовика. И он, судивший внутренних врагов не поднимая глаз от разложенных на столе бумаг, впервые увидел перед собой реального «внешнего» врага: «А это был другой враг – бесстрашный, непобедимый, недоступный, мощный и коварный, прошедший всю Европу, который пер взглядом на взгляд, лицом к лицу, не скрывая намерения убить, уничтожить, растоптать, размазать в слизь, несмотря ни на какие звания, награды и почести». Далее следует описание волны животного страха, с головой накрывшей Доронина.

Однако название можно трактовать и несколько иначе, а именно как попытку автора встать лицом к лицу с советским прошлым, описать весь спектр его палитры: от низо-

сти до геройства, от предательства до непоколебимой твердости. И именно поэтому столь характерными для авторской манеры письма являются неимоверно развернутые описания, занимающие подчас несколько страниц и оттого не вполне привычные для натоптанного диалогами и экшеном глаза. Описания настолько своеобразны и избыточны, что, читая повесть, не можешь отделаться от ощущения праздника, по настроению более всего сходного с первомайской демонстрацией. Текст непрерывно движется, пенится, бурлит, играет яркими красками; одни образы тотчас же сменяются другими; действующими лицами становятся не только собственно лица, т.е. люди, но также реки, облака, животные, птицы, машины, вещи и все, все, все. Эта всемирная праздничность производит странное впечатление, когда повествование касается, например, военных действий. Благодаря ей, с одной стороны, автор достигает порой поистине эпической панорамы, но, с другой, описываемые им действительно страшные сцены перестают таковыми казаться, если угодно, эстетизируются, отдаляясь от сознания читателя на достаточную для получения эстетического эффекта дистанцию. Позволю себе привести пространную, но показательную цитату: «Из тамбура пассажирского вагона вырвался, отбиваясь от рук санитарки, полураздетый солдат; Дубровин со страхом увидел, что повязка, перехватывающая его плечевой пояс, была мокрой и алой, грудь раздута, бинты врезались в отечную синюшную кожу. Отек распространялся на шею, грудь, поясницу и имел вид бронзового загара, нарастал прямо на глазах, переходя на живот, ягодицы. На поверхности тела были видны трупные пятна от тромбированных сосудов, в обрушившейся на перрон тишине слышался хруст лопающихся газовых пузырьков в подкожной клетчатке». И ни чувства страха, ни ощущения трагедии, ни банальной брезгливости не вызывает у читателя газовая гангрена.

Ближе к середине текста театральность приглушается, доминирует, скорее, литературно-публицистический стиль, в котором лирические отступления строго дозируются, перемежаясь жесткими историческими справками. Судьбы героев переплетаются, одним из наиболее ярких становится образ человека-животного. Убегающего и преследуемого животного, загнанного животного, одержимого страхом и источающего терпкий запах страха животного. Животного – сфабрикованного советской властью, невзгодами, лишениями, войной, обнажившими в людях первичный инстинкт самосохранения, выживания любой ценой.

У каждого своя война. И «благо войны» у каждого свое. Для тех, кто находится у руля, война – это лишь один из способов насладиться властью, подняться по карьерной лестнице, упрочить свои позиции; кому-то она дает возможность покинуть «это несчастливое место, и переселиться, начать жить заново»; а если смотреть в глобальном масштабе, то война дает надежду на то, что из ее огня «вновь возникнет народ, который найдет основы для продолжения своего бытия». Лишь тираны одинаковы во все времена и во всех странах, и именно поэтому с приходом в Старый Оскол немцев остановленный войной проект изготовления восемнадцатиметровой фигуры Сталина находит свое продолжение в проекте памятника Гитлеру, а с приходом красной армии завершается уже реально изготовленным барельефом Сталина.

Как я уже сказал, «Благо войны» эпично, и оттого в нем присутствуют и эпические персонажи, и переходящие из рук в руки священные предметы. Остановлюсь немного на персонажах. Из них наиболее четко прослеживаются линии двух фигур: бегущего из Польши старика-еврея с русским ребенком в заплечном мешке и местного, старооскольского юродивого по прозвищу Будильник. В конце концов, старика все-таки убивают (сбываются его мольбы о смерти как окончании скитаний), ребенок обретает счастливое существование за границей; убивают и юродивого (симптоматично попадая пулей в место буддистского «третьего глаза»), незадолго до этого успевшего предсказать полицаям исход войны.

А в самой России ничего не меняется: советскую номенклатурную власть, направляемую НКВД, сменяют новые русские, контролируемые ФСБ, тихая гражданская война продолжается, не затухая ни в огне Великой Отечественной, ни в период новорусских «нулевых». Новой России посвящена вторая повесть – «И немного музыки», – значительно более короткая и, на мой взгляд, более пафосная. Пересказать ее содержание достаточно сложно, и я не стану этого делать. Оговорюсь лишь, что она также имеет явные черты эпоса и завершается поистине апокалипсической битвой переодетых в русских ратников (для съемок фильма) старооскольцев, «братков» и батальона внутренних войск. Так, на городской площади театрализованное прошлое встретилось с новой реальной властью – властью бандитов и силовиков, делящих между собой настоящее.

Остается добавить, что в обоих текстах Дмитрий Зарубин ставит еще один важный, объединяющий их вопрос – вопрос о месте «властителя дум», «инженера человеческих душ», «творческой личности» в истории. Советская власть не оставляла творцу альтернативных ответов, возводя в статус врагов народа всех, кто не желал участвовать в формировании облика нового человека. В современной России призрачная, на уровне шутки, альтернатива все же присутствует: «От городского центра гражданской обороны взлетел запущенный озорниками из ресторана большой воздушный шарик с транспарантиком: «Мастера культуры сами за себя».

Иван КОЗЛОВ

НАШЕ

«Мишень»: опасности неоювенильности

Фильм Александра Зельдовича снят по сценария Владимира Сорокина (многим памятен предыдущий проект этого удачного тандема – фильм «Москва»), и благодаря этому фильм получился таким же, как и его проза – блестящим, холодным, без проблесков старомодного гуманизма. А зачем, собственно? Кажется, уже давным-давно этот реликт культуры списан в архив, кто-то изредка сдувает с него пыль и ловит блеклое отражение некогда ослепляющего сияния, с тем, чтобы оживить пойманным лучиком запущенную в работу мелодраму или лирическую комедию.

Действие фильма происходит в 2020 году, практически в наше время. 8 лет – ерунда, мало что изменилось, разве лишь уточнилось. Теперь у нас «экологическая демократия» с более четким классовым расслоением, те же телешоу, только иначе декорированные, та же неизменная экспортная составляющая. Герой ленты – министр недр (Максим Суханов), царь горы, как он себя именует. У него нет эмоционального контакта с женой, и он собирается поправить это дела, слетав в некую «зону», которая дает пилигримам вечную молодость. С ними направляются к чудесному месту ведущий идиотского телешоу и крутой таможенник. На месте они встречают еще одну путешественницу – преподавателя весьма популярного на тот период китайского языка и странных жителей, чей возраст зафиксирован на точке их соприкосновения с космическим излучением. У пилигримов все получается, но кроме физического облика герои обретают свежий взгляд на мир, свойственный юности, что неизбежно вступает в конфликт с их теперешним статус-кво.

Фильм набит ироническими киноцитатами. Фаустианские и дориан-греевские аллюзии соседствуют с отсылками к «Солярису» и «Сталкеру». А пир нищих в имении министра должен, очевидно, напомнить бунюэлевскую «Виридиану». Как мы помним, в том фильме массовка замирала в позах леонардовской «Тайной вечери». Здесь же сам герой становится пародийным Спасителем – сначала читающим проповедь о добре и зле на открытии выставки (что стоило ему карьеры), а затем погибающим от рук одного из «званых» на свой праздник отбросов общества.

Но жертва напрасна. Жизнь несется прочь от смысла и цели, которые остаются в потенциале лишь у расставшихся влюбленных, которые, как и прежняя парочка, встретятся через несколько десятков лет у Большого театра – такие же молодые и красивые.

Фильм был показан на 61-м Берлинском кинофестивале; Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый Слон» отметила работу оператора, художника и композитора (Леонид Десятников) как лучшие в 2011 году.

«Охотник»: минималистский неоклассицизм

Первый полнометражный фильм Бакура Бакурадзе «Шультес» получил приз Кинотавра. Второй, «Охотник», демонстрировался на разных кинофестивалях, а в Каннах был показан в программе «Особый взгляд». Взгляд, действительно, особый – выпускник студии Марлена Хуциева, Бакурадзе выработал узнаваемый киноязык – медитативный и пронзительный.

Как и «Шультес», новая лента рассказывает о людях, сквозь которых течет жизнь. Если в

первой ленте героем был аутичный карманник, то в «Охотнике» перед нами предстает хозяин небольшого свиноводческого комплекса, который берет на работу женщин-заключенных. Однообразный труд «на лоне природы», нехитрый лесной и водный промысел делают дни неотличимыми друг от друга. Какие-то вешки – поездка с сыном-инвалидом в санаторий, созерцание мемориала Александру Матросову, роман с зэчкой – лишь отмечают этапы жизни, которая идет своим чередом, и что с ней делать – неведомо. Выбор героя перед лицом неожиданных вызовов судьбы – жить так же и там же, неся свой крест и выполняя свой долг по отношению к семье, работе, этому богом забытому месту. Перед нами по-левитановски депрессивный пейзаж, молчаливые люди, едва обозначаемые эмоции (так, затылок героя, моющегося в семейной бане, говорит о его решении красноречивее любых слов). Звуковой ряд «играет» наравне с визуальным – визг забиваемой свиньи, шум станков, скрип машины, плеск воды воспринимаются особенно отчетливо в отсутствии музыки в этом фильме.

На «Кинотавре» «Охотник» получил награду за лучшую режиссуру, приз Гильдии киноведов и кинокритиков, а Татьяна Шаповалова, сыгравшая влюбившуюся в героя зэчку, – приз за лучшую женскую роль. Любопытно, что ее профессия – администратор творческого центра, а Михаил Барскович, сыгравший главную роль в фильме, – тоже не профессиональный актер, а лесничий из Белоруссии.

«Жила-была одна баба»: женский эпос

Фильм Андрея Смирнова («Белорусский вокзал», «Осень») рассказывает о жизни крестьянки Варвары (Дарья Екамасова) с 1909 по 1921 год. Замысел ленты возник еще в конце 1980-х, сценарий был дописан в 2004 году, потом были поиски финансов и, наконец, съемки, большей частью, в Тамбовской губернии.

Актеров учили особому говору, который современному зрителю иногда напоминает иностранный язык. Речь персонажей, равно как быт и семейные отношения тех далеких лет выглядят жестокой экзотикой. Всё кануло в небытие, как появляющаяся в начале фильма затопленная церковь, где между размытых икон плавают косяки рыб. Да и название фильма имеет сказочный зачин...

Волны энергии, питавшие жизнь ушедших поколений, стремительный выброс насилия, таившегося под покровом архаичного быта, перестает быть замкнутым в семейной оболочке и выплескивается в социум с его разломом привычных связей. Эпический размах картины сочетается с удивительно проработкой кадра, напоминающего то ненаписанные полотна передвижников, то экспрессивную манеру модернистов.

Это не очередной эпос-блокбастер на сезон, этот фильм – надолго. История страны, вплетенная в жизненные перипетии Варвары, еще раз напоминает нам о столь далеком и столь недавнем прошлом, которое еще живет в нас, вопреки всем модернизациям и всем стабильностям, и тихо поскребывает время от времени. Выпустить ли на волю, еще сильнее задавить? Или договориться, глядя прямо в глаза? Впрочем, это требует времени, а у нас его нет. Значит, когда-нибудь время потребует нас. Об этом и фильм.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 20 августа 2012 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.